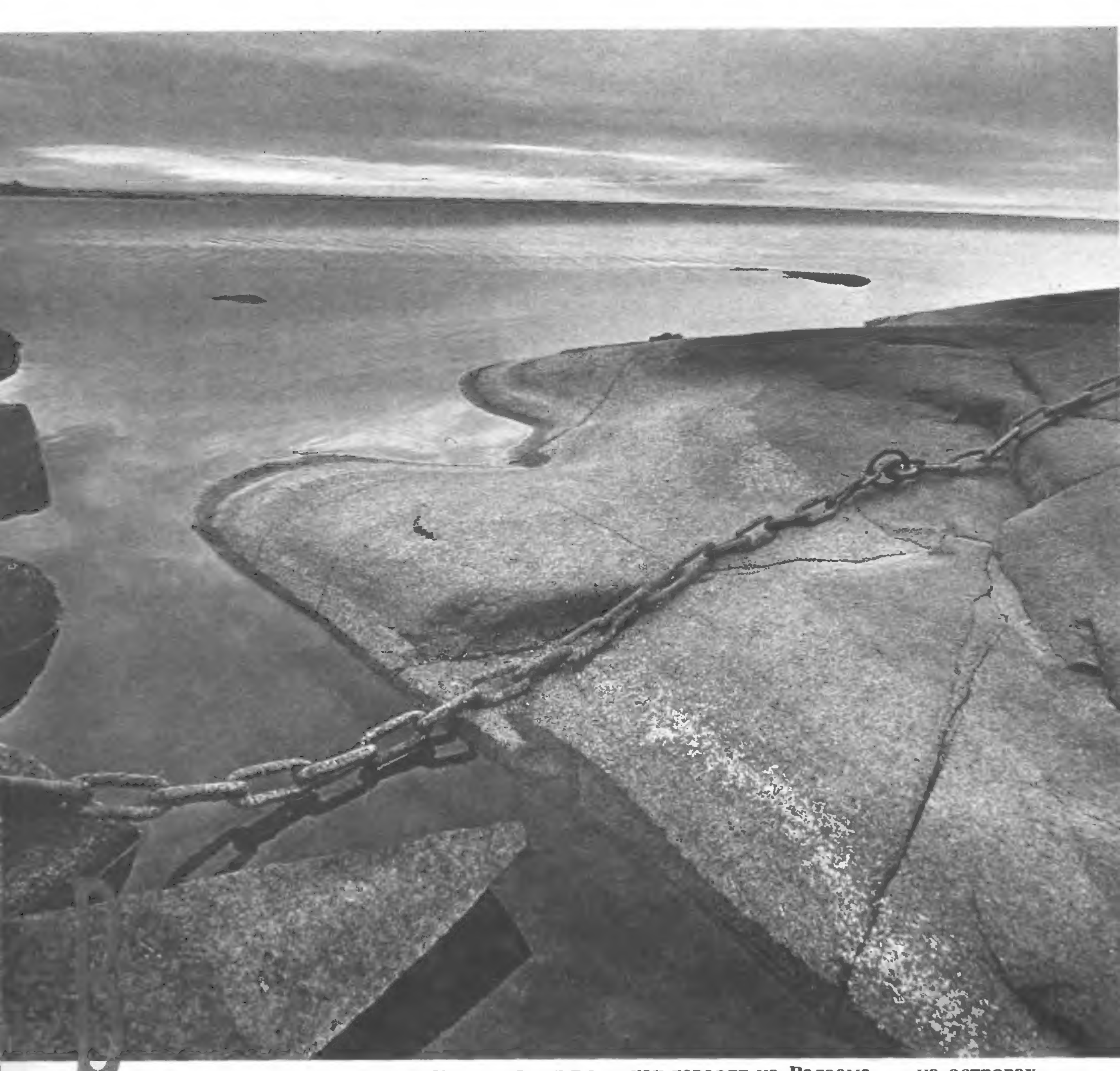


СЛОВО
7 1990
ISSN 0321-056



Валаам остался на своем граните, — «на л у д е», как говорят на Валааме, — на островах, в лесах, в проливах; с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных дорогах, с великой тишиной в затишье, с гулом лесов и волн в ненастье, с трудом — Для Господа, «во Имя». Как и св. Афон, Валаам, поныне, — с в е т и т. Афон — на Юге, Валаам — на Севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся «ночь мира», — нужны маяки.

Я вспомнил светлую страницу — в прошлом. Недавно, как бы в укрепление себе, узнал, что два послушника, кого я мимоходом повстречал на Валааме, пометил в книжке, совершили за эти годы подвиг. Узнал, что стали «светом миру», что они живут. Валаам дал им п о с л у ш а н и е. И вот, живые нити протянулись от «ныне» — к прошлому, и это прошлое мне светит. В этом свете — тот Валаам, далекий. И я подумал, что полезно будет вспомнить и рассказать о нем: он все такой же, с в е т л ы й.

Иван Шмелев..«Старый Валаам» (главы из повести, стр. 2)

**Фото
ПАВЛА КРИВЦОВА**

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ



Картина СЕРГЕЯ СЮХИНА

Нам все труднее становится видеть мир глазами очарованного странника, не ведающего о Чернобыле и Арале. Разве только мальчишка на рисунке Сергея Сюхина, помещенном на первой обложке журнала, еще сохранил это удивительное чувство в неприкосновенности. А мы уже вряд ли сможем избавиться от ощущения боли, беды, нависшей над вечным покоем Сибири или Алтая, Селигера или Байкала.

Хотя, конечно же, и ныне есть немало увлекательных туристских маршрутов, способных поразить воображение, насытить свежими впечатлениями. И ныне можно совершить увеселительное турне по Волге или Днепру, побывать на Валааме, в Соловках, в Оптиной, отдохнув от привычных забот, утолив свое любопытство.

И все-таки мы приглашаем Вас в путешествие, которое, надеемся, принесет духовное обновление. Мы приглашаем вслед за авторами очерков познать Россию и самих себя.

«Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитанья не оттолкнуло друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетен, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Все это сбило и спутало до того у каждого его мненье о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнать, нужно проездиться по России...»

Трудно поверить, что все это было сказано не сегодня и не вчера, не о нашем разладе, не о наших глупейших слухах и поверхностных выводах о России. Но именно так в 1845 году — ровно 155 лет назад — в пророческой и трагической книге «Выбранные места из переписки с друзьями» призывал Николай Васильевич Гоголь проездиться по России, увидеть ее собственными глазами. Сегодня нам остается лишь повторить эти гоголевские слова, добавив из той же исповеди-переписки: «Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней состраданья. А состраданье и есть уж начало любви».

Это чувство любви-состраданья привело С. В. Максимова на сибирскую каторгу, А. П. Чехова — на сахалинскую, Константина Леонтьева — в Оптину, а М. М. Пришвина — в Выговскую пустынь и Светлояр. И оно же помогло писателям-эмигрантам преодолеть в себе ненависть к окаянным дням, почувствовать, что все они, оторванные от родной земли, «подземно навсегда связаны с Россией» (Б. Зайцев). Так появилась «Митина любовь» Ивана Бунина, «Куликово поле» и «Старый Валаам» Ивана Шмелева, «Сергей Радонежский» и «Валаам» Бориса Зайцева. Хотя их любовь и звалась ностальгией, считаясь едва ли не душевной болезнью. Неизлечимой и необъяснимой, как, впрочем, и всякое явление духа. Но разве ныне, совершая путешествие по святым местам, будь то духовным или литературным, мы не ощущаем это чувство ностальгии и одновременно — душевной муки за «мерзость запустения» на Валааме или Сахалине, за процветающий химический завод рядом с погибающей Ясной Поляной!

А потому, приглашая вслед за Гоголем «проездиться по России», мы надеемся, что чувство сострадания положит начало любви и созиданию...

КУЛЬТУРА

Традиции. Духовность. Возрождение.

ИВАН ШМЕЛЕВ



СТАРЫЙ ВАЛААМ

приглашение к путешествию

В поминальном очерке — «У старца Варнавы» — рассказано, как, сорок лет тому, я, юный, двадцатилетний студент, «шатнувшийся от Церкви», избрал для свадебной поездки — случайно или неслучайно — древнюю обитель, Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла бесследно: я вынес много впечатлений, ощущений, — вышла книжка. Эта первая моя книжка, принесшая мне и радость, и тревоги, давно разошлась по русским городам и весям. Есть ли она за рубежом — не знаю; вряд ли. Перед войной мне предлагали переиздать ее, — я отказался: слишком она юна, легка. Ныне я не писал бы т а к; но с у т ь осталась и доныне: с в е т л ы й Валаам. За это время многое переменилось: и во мне, и — вне. Россия, православная Россия — где? какая?! Да и весь мир переменился. Вспомнишь... — а Троице-Сергиевская Лавра? а Оптина Пустынь? а — Саров? а Соловки?!... Валаам остался, уцелел. Все тот же? Говорят, все тот же. Слава Богу. Ну, конечно, кое в чем переменился, — время, новая судьба. Говорят, — туристов принимает, европейцев. Это не плохо, и для него не страшно: «да светит миру». Как-то я читал в «Матэн» о Валааме. Журналист-француз, конечно, многого не понял «в Валааме», но — уважением проникся. Помню, писал: «своей идее служат... мужики-монахи». Неплохо, если «мужики» — и д е е служат. Сколько перевидал французский журналист, что может удивить его? А Валааму удивлялся. Неплохо это. Да, стал другой немножко Валаам. Но жив и ныне. Раньше — жил Россией, душой народной. Ныне Россия не слышна, Россия не приходит, не приносит своих молитв, труда, копеек, умиленья. Но он стоит и ныне. Светлый. Его не разрушают, не оскверняют, не — взрывают. Суровая Финляндия к нему п р и в ы к л а. Ведь и в прошлом он был в ее границах: природа их объединила. Помню, сорок лет тому, «полицейский надзор» над ним держали те же финны. Валаам ч у ж и м им не был: такой же, как и они — суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, — крестьянский. Валаам остался на своем граните, — «на л у д е», как говорят на Валааме, — на островах, в лесах, в проливах; с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных дорогах, с великой тишиной в затишье, с гулом лесов и волн в ненастье, с трудом — для Господа, «во Имя». Как и св. Афон, Валаам, поныне, — с в е т и т. Афон — на юге, Валаам — на Севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся «ночь мира», — нужны маяки.

Я вспомнил светлую страницу — в прошлом. Недавно, как бы в укрепление себе, узнал, что два послушника, кого я мимоходом повстречал на Валааме, пометил в книжке, совершили за эти годы подвиг. Узнал, что стали «светом миру», что они живут. Валаам дал им п о с л у ш а н и е. И вот, живые нити протянулись от «ныне» — к прошлому, и это прошлое мне светит. В этом свете — тот Валаам, далекий. И я подумал, что полезно будет вспомнить и рассказать о нем: он все такой же, с в е т л ы й.

— На кладбище. — Сады. — О. Николай.

На высокой скале, над «Монастырским» проливом, покоится старое валаамское кладбище. Так и сказал нам кто-то из монахов: «покоится». Отделяет его от святой обители каменная белая ограда. В обители глухая тишина: дремлет Валаам под усыпляющий шепот сосен, под всплески Ладоги; а здесь уж не тишина, а глуше и глубже тишины: п о к о й. Так и подумал тогда: «могильная тишина». И стало понятно мне книжное это выражение. Старые клены, липы, в золоте и багрянце августа, роняют листья на бугорки-могилки, поросшие травою. Весь Валаам из камня, много гранита и мрамора у него, но не видно надгробных памятников. Не любят иноки валаамские надгробий: память — богоугодное житие. У Господа — все на памяти. Круглые камушки на травяных бугорках кой-где.

«Послушник Василий. Преставился лета 1871, апрелия

Из книги Ив. Шмелева «Старый Валаам». Париж, 1958. Полностью публикуется в № 9 журнала «Москва».

в 26-й день, 23 лет от роду», — читаю я на кругляче могильном. Кто он, откуда родом, зачем пришел на это глухое кладбище в такие годы? «Меня еще и на свете не было, а уже он...» — пробегает в душе печалью, и заливает радостное сознание, что я жив, молод, а впереди... сколько же впереди, в с е г о! Я смотрю на мою жену, юную, как и я, и говорящие глаза наши встречаются в одном чувстве: какая радость, и сколько же впереди — в с е г о! Нам тесно на этом кладбище. Уйти бы... Но провожающий нас монах смущает: сразу уйти неловко, надо взглянуть «на схимонахов».

Вот, вдоль дорожки, под тенистыми кленами и липами, лежат голые каменные плиты. Все одинаковые, — как и те, что лежат под ними. Это могилы схимников, обитателей дебрей валаамских, скитов, пустынек. Одиннадцать их покоится, молитвенников, подвижников, молчальников. Самому старшему 95 лет. Я знаю, что все эти подвижники — отдали свои жизни на служение «идее», что все они люди могучей воли, но непонятно мне, юному, студенту, зачем оставили они жизнь и близких, ушли в леса. И что же от них осталось! Только надгробные плиты да «жития». Я говорю монаху. Он вздыхает.

— Как можно... — говорит он, — а сколько же людям утешения от них было! А в Евангелии у Господа как написано? Да оставит тленная мира и возьмет крест свой и по Мне грядет. Благое иго избрали себе. Как же так — для чего! Вот я вам скажу, какое дело. Вы как же душу-то, за пустяк принимаете? А в ней все дело, ее сохранить надо, воспитать для вечной жизни, как ей назначено, в приуготовление. Как так, не может быть? Нет, вы над душой подумайте. Вот послушайте. У нас здесь глухо, а все-таки народ доходит до самых глухих пустынек, до дебрей самых, желает от святого человека-подвижника благословения и молитвы... душа его желает. Вот один схимонах у нас и возревновал, надумался, в соблазне: надо мне душу спасать, очищать, а тут мне развлечение от людей. А жил он на дальном островке, туда раз в год к нему народ добирался, требовал утешения. Он и возревновал: хочу совсем от мира отрешиться. И вот, глядите, какое произволение над ним, какое ему было указание. Значит так, будто подвижник ты, а про малых сих памятуй. И вот, благословился у о. игумена, у настоятеля, и ушел в пермские леса, в самую глушь глухую, где только одни медведи проживают. Ушел в Пермский край. В лес глубоко забился, поставил себе келейку, вроде конурки в ямке, землей прикрылся-пришипился, и живет, молитвы правит. И было ему первое предостережение. Пошел он на ключик, водицы взять, приходит в свою пустыньку, а шалаш его весь разметан, и сидит на пеньке медведь, будто. Ну, он убоялся того медведя, схоронился в кусты. Ну, медведь посидел — ушел. Поправил свою келейку отшельник, опять молиться стал. И уж тут, будто тот медведь, подумаешь-то, дорожку к нему и указал: пришли к келейке страждущие, ищущие утешения, стали досаждать ему нуждами, советами — благословения просить. Он еще дальше ушел, в самую-то разглушь глухую, оградою оградился, ставенки к оконцу навесил... — и туда дорожку к нему нашли. Станет он на молитву, а в ограду-то стук-стук народ ломится, через ограду перелазят, в оконце стучат, утешения-благословения просят. Тут уж ему и открылось: сколько же горя непокрытого кругом, жалко народа стало. Может ему Господь на мысли так послал. А он-то — схимонах простой, не иеромонах, не может благословлять, не в праве, благодати неподоблен. Уж тут ему даже горько стало, так проникся слезами приходящих. И вот, во снисхождение мирской скорби и ему в успокоение, разрешил ему преосвященный благословлять. Вот как взыскуют у нас подвижников. А вы говорите — зачем из мира уходить! Для подвига, для утешения, он уж выше мира обретается, подвижник-то, души ведет... как можно! Поглядите, как к нашим схимонахам влекутся. Значит, душа желает очищения, а вы говорите — для чего такое. Нет, недаром они на подвиге стояли. Поживите — узнаете.

Пожил я — и узнал, многое узнал. И как бы хотел теперь, через десятки лет с того августовского утра, найти крепко на подвиге стоящего, отрешившегося от всего земного, — благословиться. Где Россия, творившая светлых с т а р ц е в, духовников народных? Есть ли они теперь, на новом Валааме? Сердце мне говорит, что есть, в необъятных родных просторах, неявные, может быть прорастающие только в великом народе нашем. Придет время, — и расцветут редкостные цветы духовные: Господний посев не истребится.

Тут же, у плит, из пня столетней липы мудрый монах устроил кресло, дабы пришедший сюда присел отдохнуть возле этих одиннадцати подвижников, поднявшихся над суетою мира, и поразмыслил над бренностью преходящего. Мы присели. Желтая бабочка покачалась на стебельке, выросшем из плиты, и полетела, порхая, за ограду. Падали бесшумно листья кленов, ровно плескала — вздыхала Ладога под скалой, медленно проплывали облачка... — все говорило о движеньи, о времени, ускользающем... куда?

На краю кладбища — длинная, травою обросшая плита. Говорит на ней надпись, что здесь покоится ... король! Невероятно. Магнус II Смек, краль Шведский: «быв в короне, и схимою увенчался». Был такой, но едва ли бывал на Валааме. А может быть... Жизнь творится легендами, творит легенды.

Высокий гранитный крест осеняет покой отошедших, — схимонахов, трудников: «Со святыми упокой, Христе Боже, раб Твоих...» У его подножия — аленький запоздавший мак, в росе еще. Жена робко его срывает, — можно ли... з д е с ь? И, взявшися за руки, с облегчением мы выходим за ограду, на вольный воздух.

По краю скалы — чугунная решетка. Внизу, глубоко, — пролив. Солнце ярко горит, плющится на волнах, слепит. Скалы на той стороне пролива не так угрюмы, лес на них в солнце, повеселел. Видно, как бредет там берегом по камням, монашек с берестяной корзинкой, сходить по грибы благословился, для братии; красная лодочка с монахами-гребцами плывет к островку в Проливе. А вправо — вольная Ладога, спокойная. Редко вспыхнет на ней барашком сизая волна, плеснет на камни у Никольского островка. Скит на островке — пустыня, ни единой не видно ряски. Прямо, против него, на той стороне Пролива, как другой страж безмолвия лесного царства, светится над островерхими елями солнечным золотым крестом среброверхая колокольня Большого Скита — Всех Святых.

Я гляжу вниз. Под скалой раскинулись монастырские сады, а по самой скале тянутся могучие клены, шелестят под ногами у нас вершины, багряные и золотые. Нет земли под ногами, а каким-то чудом висишь над океаном листьев. За краем его, внизу — сады. Слава трудников Валаама, слава — чудо. На камне, — л у д о й называют на Валааме этот камень, — взошли сады. Правильными рядами идут раскидистые яблони, груши-дули, сквозные вишневые деревья — радость. Вон и любимые ягодные кусточки смородины и крыжовника, взятые чинно в жерди, — видно отсюда блистающие грозди ягод — сквозные яхонты красной смородины, тяжелые сережки крыжовника. Прижавшись к скале гранита, чернеет деревянная беседка, вся в зелени, в черемухе, в сирени и жасмине. Весной-то какая красота!..

— Садиком любопытствуете? — спрашивает старичок-послушник в скуфейке. — Да, по весне рай у нас. Соловушки, ангельское дыхание воздухов, цветики Господни. Голову даже заливает, не отойдешь. Яблока у нас на весь год братии хватает. А какая антоновка...! На благовещенье мочеными яблочками утешаемся. А с чайком-то заваришь... И подумайте то: ведь на камне произрастание красоты такой! Двадцать лет трудился тут монах Гавриил, землю таскал на луду плешивую, все сам насадил. А вон, поправей, у моста через овраг, другой сад. Там у нас лечебные травы произрастают. Там на каждой яблоньке, может, десятка по два сортов родится трудами о. Никанора премудрого. Награды имеем за яблочки, медали золотые. А цветов-то сколько, какие и — аргины, и... чего-чего нет! Иконы убираем, и Крест Животворящий, на Воздвиженье, и на хоругви, на крестный ход когда... Ли-лии произрастают даже, белые, чистые, вот архангел-то Гавриил пишется, с лилиями... самые такие, все трудами. У нас по озеру в июнь-месяце льдинки еще похаживают, а уж сады цветут — благоухают, дыхание

ангельское тако-е... вон куда уидешь, а все слыхать, как черемуха подает себя... по всему-то монастырю, томит даже, окошки уж прикрываем, размаривает душу.

Поедут по скитам-то? — спрашивает знакомый богомолец, извозчик питерский, ехали с ним на пароходе.

Поедут беспременно. Вишь, пароходик-то наш дымит, пары разводят. А куда ездить изволили?

К «Коневской» ездили, к Александру Свирскому... А теперь куда повезут?

О. казначей возвестил, чтобы к Андрею Первозванному, часовенка там, на высоте, очень живописная красота расположения. Бывали?

Как не бывать, мы каждый год все скиты объезжаем, завсегда уж по скитам, душу радуем. Когда еще и парохода у вас не было, так на лодках ходили, годов тому двадцать. Мы старинные богомольцы, тогда билетов этих не выбирали. А теперь по билетам, за денежки.

А как же-с... пар-то развести надо? То на своем пару возили, на веслах, а теперь надо пароходик оправдать. А с бедного богомольца мы не взыскиваем. Кто побогаче — за него мзду и положит, вот и ладно выходит, по-Божьи. Не правда разве? А не от корысти мы. Мы для богомольца всякое удовольствие предоставляем. Стих даже для богомольца поют, монашек наш придумал. «Пречудный остров Валаам» — называется, — «обитель избранных людей».

Видно сверху, как на пристани, у пароходика, чинно расхаживают в долгополых рясах и острых шлычках, перетянутые кожаными поясами, мальчики-монашонки, отданные родителями в духовное наставление на год — другой. Ведут они себя чинно, солидно даже, как настоящие монахи. На их лицах, — присматривался я к ним подолгу, — залегла несвойственная их летам сосредоточенность, вдумчивость, сознание некоего подвига. Пожалуй и хорошо это. О. Антипа все говорил, бывало: «от святого не будет плохого, молитвами силы набирают». Невольно улыбнешься, когда услышишь, как мальчуган, серьезный не по годам, входя к вам в келью с видом смиренного брата, напевно тянет: «Молитвами святых отец, Господи Иисусе Христе. Боже наш, по-ми-луй нас...»

Неподалеку, вижу я коренастого старика в священнической шляпе. Он стоит у решетки и смотрит к Никольскому скиту. Загорелые кулаки его постукивают по решетке, будто от нетерпения. Оттуда с Ладоги приходят пароходы. Но там еще ничего не видно. — «Пароход!» — слышу я хриплый возглас, тревожный, возбужденный, и вижу, как рыжий сапог старика бьет по гранитному столбику решетки. — «Слышите... гудит?» — тревожно говорит старик, сам с собой. Я посмотрел к Ладоге — нет никакого парохода. И услыхал: «и сегодня нет».

Я спросил: «вы ждете парохода...? вы из богомольцев?» Он махнул рукой, устало, — безнадежно, так показалось мне.

— Прислан сюда, под начал, на исправление, указом. Прошли все сроки... все жду... три года здесь...

Он говорил отрывисто и, показалось мне, раздраженно. Взглянул на нас и улыбнулся растерянно, словно хотел сказать: «видите, какое положение», — жалобно както улыбнулся, виновато. И я смутился: священник, старый человек и — для исправления, как мальчик! Мне было стыдно спросить его — за что же он под начал, на исправление. Но он сам начал говорить:

Знаете, господин студент... т а м, ведь у меня семья, шестеро ребят, попадья горюет, поджидает, а о н и забыли! Далеко, под Поневежем, Олонецкой губернии, глухое место наше. Ну, провинился, каюсь, пил. Да пора бы уж... Господь простил, видит мое раскаяние. Трудно попадье, просвирней в селе стала... дочка в селе учительствует, парни мои в семинарии...

— Что же вы не едете, если пора...?

Нет консисторского указа, да и приход мой занят. А у попадьи моей денег нету, чтобы хлопотать. Все и жду, — вот пароход придет, указ пришлют, приход дадут... письмецо попадья напишет.

Тихо, словно на колесиках подкатился, подошел мальчик-монашонок и бухнулся в ноги священнику:

— Благословите, батюшка о. Николай.

Старик истово благословил его и дал поцеловать руку.

— Что, парнишка, не скучаешь? — потрепал он монашонка по щеке. — Отец его привез, по обещанию, потрудиться на монастырь. В бабки, чай, хочется сыграть, с мальчишками подраться, а?

— Не-эт... — смиренно-грустно сказал мальчик, — греха много...

— Ишь, греха много... что говорит-то! Да знаешь ли ты еще грех-то? Грех, братец...! Господи, прости мои согрешения...

О. Николай не договорил. Загудел пароход на Ладоге и показал из-за мыса дым. В скиту Никольском, на островке, появились две черные фигурки: вышли отшельники поглядеть на вестника покинутого мира. Белый пароход входит в пролив, оглушая ревом тихие леса на скалах. Подвигается ближе, ближе. Видно темную толпу богомольцев на палубе. Слышно, как поют на пароходе, церковное, вызывая лесное эхо: ...«да воссияет и нам грешным... свет Твой присносу-у-у-щ-ный...» Монахи на пристани отвечают: «...молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе». Монастырская тележка с грохотом скатывается к пристани. Монах с книгой важно спускается по гранитной леснице. Бегут богомольцы по горе — «мир» встречать. Подходят к решетке, смотрят. Говорят:

— Отец Николай-то как побежал... весточку поджидает все.

— Хоть и попривык к нам, а на грешную волю рвется... — говорит старый послушник, — а отчего? Суемудрие все питает, в отсечении воли своея не прибывк.

Нам страшно от этих слов. Невыразимо жалко бедного батюшку. Нам понятна его тоска. Мы крепко беремся за руки, идем к гостинице и взглядами говорим друг другу: нет, никогда не разлучаться! Нас встречает благовест к вечерне, вечерний отсвет на куполах, на крестах.

— Труды послушания «Во-имя». — Устав старца Назария.

На высокой скале гранита — сажен тридцать — белое здание мастерских и водопровода. В нижнем ярусе — черное жерло кузницы. Входим. Как раз мальчик-монашонок набрасывает на колесо приводной ремень, и огромный машинный мех начинает выбрасывать из горна вихри слепящих искр. Мех тяжело вздыхает, сопит и хлюпает. Нам жарко стоять и у порога. Кузнец-монах хмуро встречает нас немым поклоном. Жилистые его руки ударяют мерно по добела раскаленной полосе тяжелым молотом и за каждым с у х и м ударом слышится влажный подхрип. Это в его груди. Над ним золотое сиянье искр. Даже на нём, даже в его седой бороде вспыхивают и гаснут искры. Седеющие его кудри подхвачены ремешком, волосатая грудь раскрыта, на ней черные струи пота. Это «хозяин» кузницы, о. Лука. Ему, пожалуй, к шестидесяти годкам, а он с утра и до вечера с железом, огнем и молотом, — трудится послушанием во имя Божие, во славу Валаама. А нам страшно стоять и у порога. Тут и литейная. Закопченный монах возится с лампочкой-коптилкой, формует в черной земле отливку. Даже не видит нас.

— Нам не надо надсмотрщиков, — говорит провожатый-монах, — для Бога работаем, а Бога не обманешь. Ревнуем во имя Божие.

Пораженный, я думаю: «здесь ни борьбы», ни «труда и капитала», ни «прибавочной ценности», одна «ценность» — во имя Божие. Во имя, — какая это сила! Т А М — во имя... чего? А эти, «темные», все т е вопросы разрешили, одним «во-имя».

Осматриваем лесопильню, баню. На втором ярусе — слесарная, токарная, сверлильная, точильная, сушильная... — и всюду кипит работа, всюду визжат станки. И всюду — они, «темные»: послушники, монахи, трудники.

— Бог в помощь! — говорит провожающий нас монах, входя в новое отделение мастерских.

Никто и не посмотрит, работают. Только монах-хозяин молча поклонился. Стоят у станков и богомольцы: пришли «Бога ради», по обету, — потрудиться на монастырь. Кто они? Питерские рабочие, «все превосходные мастера-специалисты». Глазам не верю: питерские рабочие... мастера!? А как же, все говорили там... на сходках в университете, что питерские рабочие самый оплот в политической борьбе за...? А вот, и они — «во-имя», во-имя Божие. Я вижу лица, хорошие, светлые, русские, родные, человеческие лица, добрые, вдумчивые лица. Ни злобы, ни раздражения, ни «борьбы».

— И подолгу работают?

— Да разное бывает... бывает, что и на месяц остается, а то... душой охватит, войдет в него благостное, понравится ему святое дело, он и на полгодика останется. А бывает, что и совсем останется, избранные которые, призваны. А это уж как Господь. Человек человеку розь. У одного души во плоти больше, она и покорит плоть. А вот монахи-хозяева — все первейшие мастера с питерских заводов, самые мозговитые, знатоки. А как работают-то... до кровяного пота. Потому что — во-имя Божие.

«Что нам лениться? мы для Бога, мы уже на то пошли своей волей!» — слыхал я на Валааме часто. А там...

Смотрим водопровод, спускаемся в бесконечную глубь земную. Вода поднимается насосом на тридцать сажен. С пролива Монастырского видна гранитная высоченная скала. Прорвали ее порохом монахи, устроили в ней водопровод. Те самые валаамские монахи, крестьяне больше, которые за всенощным бдением в темных углах собора, припав к каменным плитам, смиренно перебирают четки, творят Иисусову молитву.

— Сто сорок две ступени... — шепотом говорит монашек.

Мы внизу, в небольшой каморке из кирпичей. Стены сочатся каплями. В полу — «окно», закрытое решеткой.

— Не угодно ли заглянуть, ладожская водица плещется... не бойтесь, не глубоко, саженьки четыре только... в граните этот колодезь прорван. Сажени на две от берега ведет воду из озера труба... а отсюда машиной поднимаем.

Я встаю на колени, наклоняюсь, гляжу в глубину колодца: черная глубина, вода.

Создателем этого «чуда» валаамского, знамения духовной силы иноков валаамских, был настоятель Дамаскин. Монахи рассказывали, что один инженер просил десять тысяч рублей за план и руководство сооружением. Игумен Дамаскин ответил: «Где нам, беднякам, такими миллионами швыряться!» — и отказался от плана инженера. Мудрый и деятельный старец решил делать хозяйственным способом и нашел «инженера» у себя, — иеромонаха о. Ионафана. Когда-то тот работал на питерском заводе, понимал механическое дело. Он создал план и руководил работой. Весь Валаам работал, — «возревновал о Господе». И вот, после четырехлетних трудов кровавых, явилось чудо — для Валаама, несомненно, чудо! — которое так потрясло монахов, что даже и тогда, когда посетили мы Валаам, — 30 лет после сооружения, — иноки говорили восхищенно об этом «чуде» и обращали на него внимание приезжих. И что же? Всегда и во всем суровые, строгие к себе, такие трудовые-деловые, мудрые, все еще радовались они «нашему водопроводу», радовались не как знамению силы своей, а как ребята замысловатой какой игрушке. Они совсем не ставят себе это в подвиг, не относят ко «скудоумию» своему, почти и не говорят о том, как шли работы, они забыли даже имя строителя и приписывают его лицу, под управлением которого они жили в обители:

— При игумене Дамаскине сооружено. Он, батюшка, такую штуку воздвиг.

В валаамских книгах об этом значится: «В 1860 г. о. Дамаскин начал и в 4 лета кончил весьма важное для монастыря и замечательное само по себе сооружение». Только и всего. В камере водопроводного тоннеля — 142 ступени! — высечена на камне запись: «Поднята вода 1863 лета, декабря в 12 день». Такие же точно «глухие» начертания встречаете вы повсюду на молчаливом Валааме. Вот чудесная грунтовая дорога в лесной дебри, крепкая — «из хряща». Сколько труда положено было, чтобы провести ее по болотам, по «луде», в трущобах. Сказано об этом скупо: «проведена сия дорога 1845 года». «Сей мост сооружен 1848 года». А кем — ни слова. Тут труды безымянные, «глухие», не для славы, а «во-имя». А раз «во-имя», какие же могут быть слова о трудностях, о лицах, «о суемудрии»!

Показывал нам водопровод монашек-парнишка, «механик при машине», совсем мальчик, лет шестнадцати, худенький. А какая сознательность в действиях, какая проникновенность служением во-имя! Сквозь эту осмысленность так сквозила наивность-детскость и... радость, что все это, что только мы здесь видим, — их нее, братское, дарованное им Господом. Он, например, совершенно преобразился, оживился, когда привел нас на третий этаж, где стояли большие водоемы, и показал на веревочку: «а тут как бы живой глаз-дозор».

— Это братия измыслила, сама... наш водомер тут. Как вода дойдет до краев, сейчас гирька на звонок надавит, и пойдет тревога. Я сейчас ремень с машинного привода долой, насос и перестанет накачивать!

Я не сказал ему, что это давно в физике Краевича имеется: жалко было разочаровывать простягу. Возможно, что они и сами это изобрели, без нашего Краевича. Потом брат Артемий показал нам сушильню для белья — «сухим паром», потом — гидравлический пресс для отжимания белья, подъемный кран, поднимавший грязное белье из бани в прачечную. И тут я вспомнил слова купца на пароходе: «на все у них машина»! На ферме, на скотном дворе, на пристани, в мастерских, все машины да «приспособленьица». Вокруг нас всюду шуршали приводные ремни, работали станки, визжали сверла. А я-то думал — косный народ монахи. А эти монахи, — сплошь простаки-крестьяне, — знали неизмеримо больше меня, студента, в «делах земных». А в «неземном»... — что уж тут говорить. Они постигли сердцем великую поэзию молитвы. Они знали каноны, акафисты, ирмосы, стихиры, какие-то — я не понимал, что это, «кондаки», «гласы», «антифоны», «катавасии»... Они както достигли тайны — объединить в душе, слить в себе нераздельно два разных мира — земное и небесное, и это «небесное» для них стало таким же близким, таким же почти своим, как видимость. Я тогда смутно чувствовал, что они неизмеримо богаче меня духовно, несмотря на мои «брошурки» и «философии».

Я знал их устав — «старца Назария саровского». И пришла игривая мысль — искусить парнишку. Было это на пустынной лестнице водопровода. Я вынул кошелек и достал новенький двугривенный.

— Это вам за труды.

Брат Артемий покачал головой в смущеньи.

— Нет-с... мы денег не берем.

— Ну, на бараночки вам, с чайком попьете.

— Нет, не могу принять. Устав почитайте наш.

Мне стало стыдно. Но я пробовал уговаривать. Мне хотелось и поблагодарить милого мальчугана за рвение, с каким показывал он «славу обители».

— Да и зачем нам здесь деньги? Все равно, если и устав нарушишь, поддашься на соблазн... все равно нечего на них купить здесь. Только душой намаешься.

И говорил это мальчик; говорил мне, студенту.

И так все, кому ни предлагал я плату за услуги: «Уж если такое ваше желание благое, положите в монастырскую кружку, на нужды святой обители... пойдет от вашей лепты на бедных, много их к нам приходит». Раз только сказал мне один брат, тоже отказавшийся от «злата»:

— Уж если желаете оказать мне любовь вашу, пришлите книжку священную... епископа Феофана либо Брянчанинова... ежели только о. игумен благословит.

На стене гостиницы, у входа, висит за стеклом устав монастырский, обязательный для богомольцев и монахов. По этому уставу, без благословения о. игумена, ни богомолец к иноку, ни инок к богомольцу, ни даже богомольцы друг к другу войти не могут. Но слаб человек, и потому

установлен надзор за ними.

Входя в гостиницу, вы заметите строгого лицом монаха. Это дозорщик. Он или стоит на крыльце, или расхаживает по коридору. В кармане у него книжка, где он делает свои заметки. Например: «брат Тихон заходил в келью № 28 и оставался там 10 минут». Это — «око» монастырское, для пресечения нарушениий. Иноки говорят: «для слабых духом, для новоначальных и неокрепших с воли».

Какой-нибудь не укрепившийся еще инок узнает, например, что с прибывшим из Питера пароходом приехали его родные. Какое же искушение для «неокрепшего». Сунется монашек к о. игумену за благословением, а тот по делам в отлучке. Он к о. казначею, — и о. казначей по делам ушел. А повидаться хочется. Вот и бежит монашек в гостиницу и — юрк в келью. А по пятам «око» — наблюдающий: «зачем»? — «С родными повидаться». — «С благословения»? И назад оборотит да еще о. настоятелю доложит. И возвестит настоятель ослушнику «поклончики» или еще, построже. Тогда, сорок два года тому назад, на старом Валааме крепки были порядки, введенные суровым «хозяином» Валаама — о. Дамаскиным, устав старца Назария соблюдался строго — неукоснительно. Как-то теперь там?

Грех силен. «Мир» со своими «прелестями» старается прорваться или пролезть в тихий, укрытый от греха Валаам, смутить и без того мятущуюся иноческую душу. Грех этот проникает с каждым пароходом в сумках и узелках паломников. И потом Валаам особенно зорко следит за новоприбывшими.

6

Как только раздастся пароходный гудок в проливе, с горы спускаются «дозорные», на которых лежит послушание очень важное: следить, чтобы пароход не спустил на берег «зачумленного», — пьяного, что бывало, и чтобы раньше прибывшие богомольцы не проскользнули на пароход и не купили бы чего «зловредного». Монахи и послушники, по уставу Валаама, не имеют доступа на пристань, исключая назначенных для досмотра и певчих. Если кто из иноков свободен от послушания, — что очень редко случается, — тот с высокой скалы, от чугунной решетки, только взирает на оживленную пароходом пристань, на вестника иного мира.

Новоприбывшие поднимаются к гостинице, и здесь премудрый о. Антипа делает строгие опросы. Посылочки, письма, «гостинчики» заносятся в особую книгу, препровождаются к о. игумену, и когда тот возвестит — вывешивается объявление, кому из братии присланы посылочки или письма. При Дамаскине было с этим строго. В наше посещение — попроще: только контроль игумена.

— А при батюшке Дамаскине покойном... ох, наплачешься, бывало, с посылочкой... — рассказывали мне на Валааме.

— Разморит тебя о. Игумен словом своим, что каленым железом сердце твое прожгет, вот как было.

— Да зачем же это?

— Строгость была в нем несокрушимая. Он, может, сам сколько искушений претерпел, вот и ревновал о благочестии. Опытом знал, как грех внедряется. Да вот, расскажу я вам один случай. Поступил к нам послушником из Питера один человек. Ну, зиму пробыл — ничего. Только, как сейчас помню, пришел к нам мая 12 первый пароход. Раньше нельзя к нам достигнуть, лед по озеру носит. И приехала с этим пароходом сестрица того послушника, брата Василия, купчиха она была. Приехала сестрица, и гостинчиков корзиночку привезла: ну икорки, пастилки, рыбки, вареньица, изюмчику, — все по-постному, чинно. Брат Василий и увидь ее в церкви. Ну, та ему и прошептала мимоходом, что вот, мол, гостинчика тебе привезла. После обедни, брат Василий к о. игумену за благословением: «так и так... приехала сестрица, благословите, батюшка, гостинчик принять». А батюшка Дамаскин прозорливец был, с маху, бывало, ничего не делал. Сейчас — казначея. «О. казначей, поди, говорит, дознай, какая такая к брату Василию сестрица приехала, какой такой гостинчик ему привезла. Позови-ка ее сюда к нам с гостинчиком-то ее». Ну, пришла сестрица, благолепная такая, торгового сословия, такую вот корзиночку с собой принесла, еле тащит. Посмотрел о. игумен в корзиночку ту... да говорит, грустно-проникновенно так: «и сколько же ты, мать моя, денег-то извела... и на что только! Такую пищию-то генералам только вкушать-услаждать мамону... а нам где, грешникам... нам бы щец постных похлебать — и то слава Тебе, Господи». Та, было, оправдываться, то сё, расстроилась с непривычки: «от достатку нашего, батюшка... братца порадовать... привышный он к такому...» — «Брате Василичко!» — говорит о. игумен, и таково жалостливо: — «ну, чем тебе у нас худо? голодно, что ли, тебе у нас? вкушать, что ли, иечего тебе у нас?...» Тот ему в ноги, со всем усердием. — «Простите, батюшка... сама привезла, не просил я...» — «Брате Василичко!» — опять говорит, о. игумен, и жалостливо все так, — «я-то, грешный, икорку вкушаю, что ли... пастилкой услаждаюсь; а? И не стыдно тебе, брате Василичко... обидел ты обитель нашу...» Ну, а сестрица все просит гостинчик принять, во славу Божию. Ласково так взглянул на нее о. игумен. — «Не надо нам твоего гостинчика, матушка... И к чему это нам, такие роскоши... ведь на соблазн! Станет брат Василичко икорку есть, а увидят у него братья и отцы и сами возжелают, и коль раньше не просили, так просить зачнут, чтобы и им родные икорку да пастилку привозили...» Так и не благословил принять гостинчик.

— Ну, а теперь осматривают у вас посылки?

— Да как же не досматривать-то? Да мало ли чего в посылку напхают. В миру-то диавол лесть свою как внедряет? Все норовит, чтобы все шито-крыто было... а ты разверни с благословением-то, обмозгуй, ан пакость его и выплывет наружу. Такой у нас, к примеру, случай был... Приходит к нам табашная книга... А вот такая, табашная. Прислали одному брату священную, поучения Иоанна Златоуста... Ну, сейчас к о. наместнику, игумен в отлучке был. Тот, благословясь, и давай ее разворачивать. Развернул. — а там... та-бак насыпан! да так хитро, листов через десяток... и незаметно вовсе, тонко так, рассеяно, для скрытия греха. Ну... сжечь велел в печи огненной. И в скляницах присылают непотребное. Есть тоже разные богомольцы, разве его прознаешь. Иной приедет не для моленья, а чтобы развратить-соблазнить... а потом и смеется, как он монахов обошел... не он, понятно, а через него нечистый проникает, с пути свести. Это тоже знать надо, искушения эти. Он-то вот как ополчается на святое дело... иноки только чувствовать это могут. Вас-то, мирских, чего ему соблазнять, вы у него в кармане, а он тут норовит сработать, тут ему крепость поперек дорожки стоит, вот и старается одолеть. Вы опытных старцев и поспросите, оии вам скажут, как он ожесточается, когда видит, что человек над своими страстями поднялся, ветхую плоть одолевает, чистый дух в нем проявляется. Вот тут-то самая страшная борьба, даже до видимости. Все великие подвижиики это свидетельствуют, самые высокочистые особенно. А вы чего так улыбаться стали, не ве-рите вы...? Ах, эти образованные неверы... да ведь это то века та-ак... читайте отчие книги, отецкие... все святые Отцы...

Тогда я улыбался. Тогда я чувствовал мир реальный, вот этот мир, и только. И многое объяснял — «физиологией». Ныне... Ныне стала скромней сама наука, осторожней: и ей открываются «миры иные»: знаемый мир ей тесен, ищет она — иных. Не называя — ищет.

— Лесная встреча. — Рассказ странника. — Журавли.

Мы идем по лесиой дороге, не зная, куда приведет она. Всюду гранит, мохом поросший и брусникой. Едим бруснику и не осыпавшуюся еще чернику. Много и зарослей малины, только она сошла. Должно быть, много здесь рябчиков — знакомые свисты слышны. На Валааме не стреляют. Чувствует это птица, прилетает сюда и держится. Говорят, — и лебеди бывают и гагары. В Коневском скиту можно и гагар увидеть, — совсем ручные.

Нас обгоняет монах на одноколке, кланяется и говорит:

«путь вам добрый, с вами Господь!» Пропал за поворотом, только слышен раскат колес по встретившейся плите «луды». Затихло. Вон, в стороне, упавшее дерево, столетнее, должно быть. Мох забрался в пустое дупло. Я тычу палкой — одна труха. Сколько же лет прошло, когда оно упало, — полсотни, сто? Из дупла тянется ромашка, повилика. Из-за мшистого пня высматривают глаза... как странно! «Смотри, кто это там... глаза? — говорю я жене. Радостная, она мне шепчет: — «да это ... лисичка!» Да, лисичка, совсем ручная. Глядим на нее, не шелохнемся. Глядит и она на нас. Странное чувство — близости и доверия, и неизъяснимой радости... отчего? Самая обыкновенная лисичка, только... умильная. Миг — и куда-то скрылась. В дупло, пожалуй. Может быть там лисята.

Идем и думаем: чудесная какая встреча! Ну, конечно, чудесная. Жизнь здесь какая-то иная, чем там, в миру. Зло как бы отступило, притупилось. И зло, и страх. Зверь не боится человека, и человек тут тоже другим становится. И вспоминается мне слышанное за трапезой из «житий», как лев защищал какую-то святую от осквернения безумца. Возможно ли? А почему и нет?

Места священные, освещенные молитвой. Меняются здесь люди, меняются и звери. Люди здесь не обычные, как везде: здесь подбираются «по духу», — кто-то нам говорил, — «как сквозь решето отсеяны».

Эта лесная встреча на многое наводит мысли. Люди меняться могут! Что-то есть в людях разного... В деревне, откуда был родом Дамаскин, славный игумен Валаама, были другие мальчики, но они не пошли искать, а вот Дамиан пошел, — «сквозь решето отсеялся». Значит, есть что-то в человеке, что тянется к святому, ищет. Особенное... душа? — то, что не умирает, как верят отшельники, что может воочию являться, как свидетельствует письмом посмертным монах Илларион о любимом старце Ефимии, — являющемся ему оттуда, по обещанию. И это, земное наше, стало быть, както связано с тем, что — там?...

Прочитанные мною книжки, которым я, студент, безотчетно верил, открывшие мне «точное знание», доказанное научным опытом, отвергающие чудесное, называющие веру в чудесное фантазией и «детским», крепко сидят во мне; но я закрываюсь от них уловкой: ну, да... знание отрицает, объясняет научно все сверх-естественное, но... наука идет вперед и, может быть, как-то проникнет в то..? Вот Лобачевский, установил новый какойто мир, совсем непохожий на наш, земной, — мир, четвертого измерения! И оказалось, что доказанное нашей, эвклидовской, геометрией, — истина очевидная! — что параллельные линии никогда не пересекутся... — чистейшая ошибка! Я не знаю еще, как это доказал Лобачевский, не знаю и какого-то «четвертого» измерения, но я рад, что Лобачевский, действительно, это доказал, — это же признали и прославили гениальность нашего математика! — доказал, что параллельные непременно должны пересекаться — где-то там, в бесконечности. И кажется, этот гений был очень верующим, как и Ньютон, как все эти добрые монахи, как старец Варнава, недавно назвавший нас «петербургскими», как-то провидевший, что завтра мы уезжаем в Петербург! Монахи, конечно, совсем необразованные, не знают «Рефлексы головного мозга» Сеченова, не знают и «Происхождения видов» Дарвина, где сказано и почти доказано, что человек произошел от обезьяны, не читали ни «Прогресса нравственности» Летурно, ни «Психологии» Рибо, ни Огюста Конта, ни Иоганна Штрауса, где отрицается божественность Христа... но все-таки удивительные они... разрешают сложнейшие социальные вопросы, над которыми столетие бьются Прудоны, Фурье, Бебели... и даже воздействуют на природу, на нравы зверей, как-то их освящают... своим примером? Тут же я, вспоминаю, что на Валааме... — это непременно надо рассказать всем, интересующимся прогрессом нравственности, об этом, конечно, не знают в мире! — что здесь, на Валааме, строго запрещено даже замахиваться кнутом на лошадей! тут и кнута не найти, как говорил мне о. Антипа: «У нас все лаской, и лошадка ласку понимает и слово Божие... заупрямится, или трудно ей, у вас в Питере сейчас ломовик ей в брюхо сапогом или кнутом по глазам сечет, а у нас слово Божие: скажешь ей — «ну, с Господом... отдохнула, теперь берись», — она и берется весело». На Валааме никого не бьют, пальцем не трогают, лик Божий уважают в человеке... — какая высокая культурность и гуманность! — а только послушание возвещают, поклончики и покаяние, перед всеми, за трапезой. Конечно, монахи некультурны в смысле научных знаний, но... они дают удивительные примеры воли, характера, силы духа. Конечно, мне чуждо многое в них, — нельзя же смотреть на жизнь так, как смотрит тот схимонах в скиту, для которого вся жизнь только подползание к могиле, где бренное тело будет червями пожрано, это не жизнь, а ужас! — аскетизм их иногда ужасен, но духовная сила их мне очень симпатична. Часто они — как дети, но... сказано: «сокрыл от мудрых — открыл младенцам!»

Помнится, такие мысли вызвала в нас с женой — я многое высказал ей тогда, и она радостно слушала, — удивительная эта встреча с лисичкой возле прогнившей ели, — «лесная встреча». Чудесная была эта прогулка: одни, в лесах, без проводника-монаха, один на один с природой. Но нас ожидала и другая встреча, многое нам открывшая.

Лес становился глуше, попадались болотца. Совсем перед нами низко перелетела дорогу большая птица, похожая на курицу, даже заклохтала, и за ней поменьше, штук семь, как крупные цыплята, может быть большая куропатка или, скорей, тетерька. Мы постояли, послушали, как чвокали птицы за кустами, совсем близко. И вдруг гранитная часовня, под елями! Ели положили на ее кровлю широкие свои ветви. На каменном приступке сидел старичок и постукивал палочкой по земле. Это был не монах, как я сперва подумал, а богомолец-странник. На нем был заношенный, в заплатках, полушубок, уже по-зимнему. Мы сели к нему и разговорились. Он пришел издалека, из-под Воронежа, поклониться угодникам.

— Жена давно померла, сын неведомо где... работы пошел искать, вестей нет. Вот и надумал я странствовать. Здесь поживу, а к зиме в Соловки пойду, поклониться преподобным Зосиме и Савватию.

— Нравится вам здесь, на Валааме?

— Хорошо здесь, душевно. Вот сижу и гляжу, чего белки разделывают. По благословению о. настоятеля в Коневский скиток сходил... вот рай-то где, тишина святая... батюшке о. Сысою поклонился, схимонах он там, в пустынной самой пустыне, у озерков. Там игумен Дамаскин трудился, показывали и постелю его — гробок... в гробике спал. Побывайте у Коневской, такая тишь-красота, век бы не ушел. А остаться не могу, тянет меня с места на место, как птицу перелетучую... третий год и брожу, гляжу, где лучше. Монастыри-то? А чего лучше монастыря? Тут все по правде, человека не обижают, ласковы... и покормят, и благословят, и хлебца на путьдорожку дадут. А в городе, как что — только разговору: «ты бродяга, такой-сякой, пачпорт покажь...» а то в каталажку посадят, а за что — неизвестно... а то грозятся, — на родину тебя вышлем... Места, что ли, им жалко... то ли человека опасаются? Разве так можно! А тут доверяют, видят — старый я человек, и работы не спрашивают, а — иди, потрапезуй... и щец подольют-повторят, и чайку отпустят на заварочку, — рай, прямо. Зима тяжела, а летом одно удовольствие. А что я вам скажу, господин... у них тут зверушки совсем освоились, человека не боятся. Намедни лисицу видал, на пеньке сидела, хвостиком завилась, облизывается. Я встал — дивлюсь, а она ничего, ей я без надобности, будто даже разговору желает, только, понятно, языку нашего у ней нету, не дал Господь. Перекрестил я ее — Господь с тобой, творение разумное, — сказал ей, пошел. А она мне вослед глядит, облизывается. Прямо, диво. А сейчас вот на белку радовался... Она тут вот все сигала, над часовенкой, будто ей помолиться надо. Гляжу, а в часовенке шишки лежат, еловые, натаскали они, что ли, на зиму себе... а то так, в игру какую играют. А в скиту рыбы-ы... утром был я, глядел. Мне монах и говорит, при схимонахе Сысое живет: «трогай ее клюкой, погладь, они даются». Собралось рыбы, на солнышке, чесуя так и горит, только не

щуки, а эти... нет, не караси, а... вроде как голавль, гладкие такие... а может и сиги... не знаю прозвания. Ну, и вот этой палочкой и посунул в рыбу, в стаю ихнюю... Ни-чего, не пужаются, трутся возле палочки моей, погладил их, поддел... как уха там, густая-разгустая. На монастырь берут, когда затребуется. А сами ни-ни, там рыбки на Пасху не полагается, строгий скиток. Заведет наметкой, а то, говорит, и корытом можно, легко даются. А грыба сколько... рыжик уж пошел, по горочкам... и груздь есть, и боровики какие... и свинухи, и подосиновые... весело ходить. А брать не благословляют... все по череду, для обители послушание дают грыбникам. Намедни ходил я за послушание, вот какую корзину им приволок. А что, сказывают, скоро будто нашему свету конец будет... не слыхали?

— Не слыхал. А кто сказывает?

— А шел, теперича сказать, я Тверской губерней, в одном селе в ночевку зашел к мужику. Так богомолка там сказывала: «как будет Благовещенье на Пасхе в четверток, так ждите свету конец». Не слыхали? Может и так, наплела. А то, сказывали еще, большая звезда оборвалась, на нас, прямо, несется... может повредить нас... не слыхали? Это мне один странник сказывал, от барина узнал. Она давно оборвалась, тыщу лет все летит, и лететь ей, прикидывали по стеклам, еще тыщу лет, а тогда может повредить, большой пожар, говорит, зажгет, жару в ней много, железная вся, звезда та. Говорит, на ней тоже, может, люди какие проживают, только самые грешные... много нагрешили, их звезда и не могла сдержать, от грехов-то... значит, уж ей так от Бога назначено, в наказание грешникам... ну, и сорвалась с устоя... Как скажете... вы хорошо грамотные?

— Пустяки, говорю, посмеялся над тобой кто-нибудь.

— Нет, не пустяки. Сам видел, как звезды летают. Тут сколько летало намедни, на Прохора-Никонора видал, к полунощнице шел — видал. Как-то срываются. Кто ж это их оттуда сошвыривает?

Я попробовал ему объяснить, как метеоры пролетают, но, он, должно быть, не мог понять. Да и сам я нетвердо знал про падающие звезды.

— Все возможно, у Бога всего много... никакие ученые не могут всего дознать. А чего дознают, это уж как Господь дозволит. Господь Иисус Христос сколько воскресил мертвых, а ученые хошь бы кого воскресили! Уморить могут, а вот от смерти выправить — не-эт. У меня грыжа, это место мешком затягиваю натуго... Ходил я, барыня посоветовала, к дохтуру. Мы, говорит, тебя порезать можем, доверься нам. В хорошей больнице и был, и барыня записку дала. А могу, спрашиваю, помереть от вашего ножа? Ну, он рассерчал: «я не колдун, сказать не могу... бывает, что и помирают». Не дался я. В Оптиной был, монах мне отсоветовал: помажь то место святым елеем. Совсем хорошо стало, ушла грыжа внутрь, хожу, ничего. А вот будто, звезды в море-океан падают, люди говорили... потому и теплые моря те, и тепло там, зимы нет. Есть такие земли, теплые. От нас туда много народу пошло, вольной земли искать, за море. Турки там только, нехристи. А жить там хорошо. Это за Сибирь, за горы. Звали меня, воронежские наши, да куда мне, один я... думаю, по святым местам похожу, душу порадую.

Свистела какая-то пичуга, глухо падали шишки на дорогу. Белочка перепрыгивала в вершинах, пышный хвост ее рыжевато светился иа солнышке, в просвете неба. Задумался я... И вдруг — звон легкий, особенный звон — с подтреском, будто на деревянных струнках сухих кто-то перебирал часто-часто. И все громчей, все ближе, — накатывало стучащим звоном.

— Э, журавли, пожалуй... — сказал странник.

Мы посмотрели в небо. Там протянулась темная линия, в сверканьи. И от этой линии, треугольником, с неровными краями, великим углом звенящим, сыпалось стукотливым рокотом тревоги, радости, будоражной какой-то спешки:

— Как есь журавли, от холоду летят-торопятся... на теплые места, на полдни... — задумчиво сказал странник. — Они знают, морозы скоро будут. За море летят?

— Да, в теплые страны, на теплые воды.

Зна-ют, куда лететь. Туда и наши воронежские пошли, по машине поехали с ними, за Сибирь, нарезка им будет... землю дает казна, только хлеба больше сейте, велела. А хлеб там, сказывают, сам родится, только посей, чуть поковыряй. А тра-вы там... под самую крышу... житье там! Вот, журавли... птица, а свою пользу понимает. Господь и птицу умудряет, и не голодает она. Не сеет, не жнет, а сыта. И-эх, зажаривают-то... гляди-ка, еще косяк!

Длинный сверкающий косяк пропал за елями. Слабей крики, отдельные выкрики отсталых. И стало тихо, шорохи белок слышны.

— Шабаш, кончилось лето красное, осень подошла.. — сказал странник.

Я глядел в светлое небо, за елями. Умолкнувшие крики тревоги-радости остались в душе моей. Остались накрепко. Эта встреча у валаамской часовни, в лесной глуши, не прошла для меня бесследно. Теперь я знаю это. Отозвалась через много лет, отозвалась неожиданно, в унылые дни моей жизни, когда я искал себя, — и не находил, — когда я служил во Владимирской губернии, и служба мне становилась в тягость. Сколько раз спрашивал я себя, какую же мне избрать дорогу, чего же ищет моя душа. Смутны были эти тяжкие дни блужданий, недовольства собой, сомнений. Так и буду до конца дней ездить по городкам, проверять торговлю, ночевать на постоялых дворах, играть в преферанс и винт, выпивать после роббера, ожидать наградных и повышения по службе. Иногда намечался просвет какой-то, вспоминалось, что когда-то писал, печатался, начал сразу с почтенного, «толстого», журнала, студентом, на первом курсе... написал книжку даже, — правда, незрелую и дерзкую. «На скалах Валаама», задержала ее цензура, вырвали тридцать шесть страниц из нее, пришлось переделать и вклеивать... хвалили меня за эту книжку и бранили... — и после того замолк. Десять лет не писал, ни строчки. Не думал, что я писатель, страшился думать, не смел. Писатель — это учитель жизни. А я? Я же так мало знаю. Писатели это — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой... И я забыл о писательстве.

И вот, пришло. Помню, в конце августа, в тяжкие дни сомнений и блужданий, чуть не отчаяния, пошел я за реку Клязьму, — уйти от себя, забыться. За Клязьмой, за луговою поймой, тянулись леса, леса. На пригорках, по ельнику, уже появились рыжики. Я зашел в глушь, в чапыжник, — ушел из мира. Вспомнился Валаам, святая его пустыня. Такие же ели мшистые, такая же тишина глухая. С той поры десять лет откатилось, был я тогда студентом, — как это давно было! Тогда казалось, что все впереди, что жизнь только вот начинается. И вот, уже впереди, лямка одна чиновничья, в командировку завтра. Так до конца и будет. Помню, лежал на пригорке, думал в тоске давящей, искал «пути». И вдруг, как в лесах на Валааме... далекий-далекий звон, особенный звон, с подтреском, будто на деревянных струнках перебирает кто-то... ближе, громчей, слышней. Накатывало стукотливым звоном. Вспомнилось — журавли?! С той, валаамской, «встречи», — как раз десять лет минуло! — больше я не слыхал такого звона, звонкого гомона тревоги, радостно-будоражной спешки. Все во мне взбило и перепутало криком этим. Я глядел в небо за елками, ждал тревожно, с волнением и болью.

И вот, как тогда, — о н и. Тот же косяк, углом, с неровными краями, тот же... как там, на Валааме, когда вся жизнь была еще впереди, — самое радостное и светлое, не было ни сомнений, ни томлений, ни тревожных вопросов — куда определиться, чего искать. Звонкий, сверкающий косяк птиц, хорошо знающий свою дорогу, влекущий, радостно-будоражный и торжествующий. Все позабыв, мыслью я уносился с ними в глубизну. Затихли крики, угасло последнее сверканье, — потонуло за елками. А я все провожал его, все следил: во ч т о-то смотрел, не видя, — только глубизна, влекущая. Не думая, не сознав, — нашел. Эти две «встречи» слились в о д н о. С того и началось писательство.

В тот же вечер написал я первый, после десятилетнего о ж и д а н и я, рассказ, детский рассказ — «К солнцу». Послал в «Детское Чтение». Его напечатали охотно и просили прислать еще. Забыв службу, я писал радостно и легко, н е в и д я, — «в глубизне». Жил и не жил, не

сознавая. Не задавая вопроса — куда идти? Скоро почувствовал я силу сказать жене: «Кажется, я нашел, что надо... надо бросить службу». Она сказала спокойно, твердо: «Я на все готова, лишь бы тебе было хорошо». Не зная, что ожидает нас, она с верою приняла открывшийся неизвестный путь, трудный путь. И ободряла меня на нем всю жизнь.

Думал ли я тогда, у лесной часовни, что все это как-то отзовется в жизни, как-то в нее вольется и определится? И вот, определилось. Связал меня Валаам с собой. Вспоминается слово, сказанное нам схимником о. Сысоем, в скиту Коневском, несознанное тогда, *теперь*, для меня, раскрывшееся: «Дай вам Господь получить *то, зачем* приехали». Тогда подумалось — а за чем мы приехали? *Так* приехали, ни за чем... проехаться. И вот, определилось, что — за *чем-то*, что было *надо*, что стало целью и содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь, — *нашу* жизнь.

Будоражный, зовущий крик журавлей оставил в нас смутно-грустное, неясный порыв куда-то, мечту о чем-то. О чем... — этого мы не сознавали. Мы долго тогда сидели у часовни, в лесной тиши. Верхушки елей тронуло чуть багрянцем, густившимся золотом заката.

— В монастырь пора, чаек-то уж пропустили... — сказал странник, — скоро и к трапезе покличка будет.

И мы пошли, задумчивые, из этого лесного царства, где освящаются дебри часовнями и крестами, где покоятся останки великих духом, где звери смотрят доверчиво, без зла и страха.

— В скиту Коневском. — Прощанье. — Валаамский дар.

Мы едем в Коневский скит, — во имя Божией Матери, верстах в шести от монастыря. К крыльцу гостиницы подан тарантас, запряженный сивой лошадкой. За кучера — монашонок-карел, «молчальник». Он всегда возит о. игумена и сидит на козлах по уставу: со страхом и трепетом. Во всю дорогу он не произносит ни звука. Лошадка неторопливая, ленивая, могла бы и походчей идти, но кнуток Валааму неизвестен: «блажен иже и скоты милуяй».

Погода серенькая, дождливая: унесли лето журавли. Едем лесом. Остро пахнет грибами, осеннею горьковинкой хвои. Намокшие лапы елей цепляются за наши шляпы и осыпаются дождем. Неуютно теперь в лесах. А как пойдут настоящие осенние дожди да бури, леса зашумят-завоют, повалят лесные буреломы, — жутко тогда в лесах. А отшельники по глухим скитам будут выстаивать ночи на молитве, а днями колоть дрова и собирать валежник. А рыбаки-монахи на своих древних ладьях выйдут в бурную Ладогу закидывать свои сети-мрежи; на кирпичном заводе трудники будут мять мокрую глину на кирпичи, каменотесы — ломать на горах гранит; машинист-монах пойдет на качливом «Валааме» за многие версты на дальние острова. Бури, ливни, метели, — все едино: Валаам не остановит своей работы-служения «вo-имя»: подвижнических трудов, молитв. К полунощнице — движутся старцы по сугробам, лесам, проливам. Светит им Свет Христов.

Едем орешником. Осенняя на нем ржавчина. Под колесами жвакает, сочится. Что это там краснеет? А, рябина. Мокрые кисти виснут. Скука и неуют. Вон болотце: унылая осока, шатаются камыши под ветром. Мокрый монашек повстречался, несет розовые грибы — рыжики, молоденькие, промытые. Весело нам кивает, словно и нет дождя. Опять часовня, плачет осенними слезами черный гранитный крест. Белки теперь по дуплам, и лисичка подремывает где-то. Вон, над полем с гнилым сараем, тряпками носятся вороны в ветре, — какие-то и у них дела. Гремят по «луде» колеса тарантаса. Прокатили: мягко, опять по иглам. От игол тянет душною скипидарной сыростью. Ну, вот, приехали. Поперек дороги мокрый плетень из хвороста. — дальше и нет пути: тупик, скит.

Монашонок молча остановил лошадку и остался сидеть, как мумия, — так и не обернулся к нам. Стало быть, выходить. Отыскиваем в плетне проходик. Видим с холма озерки, кусты, церковку. Сеет дождик, скучно шуршит по листьям. Идем мимо черных огородов, доходим до деревянной церковки, — ни души. Воистину — скит, пустыня. Церковка заперта. За огородом, на холмике, две смежные избушки. Это кельи пустынников, связанные сенями. Плачут в дожде оконца, дымок курится и стелется, — дождь надолго. В каменистой горке выбита криво лесенка. Мы, скользя, поднимаемся к избушкам. Да где же скитники? Заглядываем в сени и видим: вот, они, жители пустыньки. На полу сидят трое: седенький, тощий старичок в скуфейке, приятный такой лицом, мертвенно-восковым, бескровным; черноватый монах, лет сорока, кряжистый, с горячими глазами, и юный послушник, светлоликий, с тонкими чертами, в золотистых локонах, как пишут ангелов. Сидят молча и старательно чистят лук, режут ботву с головок.

— Бог в помощь, здравствуйте!

Возглас пугает их. Так они были заняты работой, а может быть и мысленной молитвой, — что не слыхали, как мы вошли.

— А, Господи помилуй... — сказал старичок-схимник, и я понял, что это о. Сысой, о котором говорил нам странник.

— Лучок вот режем, Господи помилуй.

Прочие только поклонились и продолжали резать, будто нас здесь и нет. Наконец, схимонах говорит опять, будто с самим собой.

— Лучок вот режем, Господи помилуй.

Я думаю: они разучились говорить, и молчат от смущения. Прошу показать нам церковку и келью о. Дамаскина.

— Возьми ключи да покажи им... все обскажи про батюшку, — говорит старичок мальчонку в локонах. — А угостить-то вас и нечем... Господи помилуй...

Мальчик ведет нас в церковке, скребет огромными сапогами по камням. Церковка небогатая, бревенчатые тесаные стены, скромный иконостас; досчатый, в сучочках, пол. Пахнет сосной и ладаном. Я спрашиваю мальчика, давно ли он на Валааме.

— Год скоро. А здесь, в пустыньке, шесть месяцев. Из Питера он, служил в экспедиции государственных бумаг.

— Что привело вас на Валаам?

— Не знаю... Читал про Валаам, и понравилось, как живут тут, Богу служат.

— Но ведь тут трудно, в такой неуютной обстановке., особенно после Петербурга?

— Святые отцы жили... — говорит он.

Я смотрю на его локоны ангела. Может быть, и он «отсеянный»? Таким, должно быть, и юный Дамиан был. Есть такие, особенные, родятся как-то, чуждые «сему миру».

Идем к озеркам. Соединяет их деревянный мостик, над проточком. Берега заросли осокой.

— Говорят, много у вас рыбы?

— Уха живая. Ловим только на монастырь, а здесь рыбку не позволяется и в великие праздники вкушать. Ручная у нас рыба, черпать корзиной можно. Сейчас хмуро, а солнышко когда, так спинки и синеют, перышками играют. У нас в обители, там рыбу из икры разводят, завод такой есть. И форель разводят, и сигов, и лосиков... Чего чего только не делает братия у нас. У нас, прямо, целое государство, только духовное, конечно. И свечной завод, и кожи мочим, и скипидар гоним, и переплетная у нас есть, и лекарственные травы ростим, и сукна валяем, и посуду обжигаем, скудельный заводик есть... и лесопильная, и конный завод, и граниты шлифуют, и мрамор полируют. Господь умудрил, и мастера-рабочие тянут к нам, с питерских заводов да и совсюду. Ведь разные люди на свете... есть и озорники, рабочий-то народ, а есть и в рабочем народе «зернышко Господне», на слово Божие идут. Вот и живем, как царство.

Мальчик удивил меня разумной речью.

— Вы где учились?

— Городское окончил, а потом меня папаша к себе в Экспедицию устроил, краски мешать-тереть. Я там рисовать стал... У нас там граверы тонкие, первые граверы во всем свете.

— И жалование вам платили?

— Конечно. Я получал 24 рубля на месяц, подростковое, как ученик. У нас там особое жалованье, там люди отборные берутся, верные, от отца к сыну, даже дедушки служили. Ведь там деньги заготавливают, и надо держать секреты, там все крепкие люди, верные.

И он — ушел! Значит, тоже крепкий, «отсеянный». Юный совсем, — и такое жалованье, театры, всякие соблазны, лакомства в магазинах, семья, очевидно, зажиточная... — ушел в глушь сюда, в скит, в пустыньку, лучок режет, гремит в таких сапогах, — ноги, небось натерло... — «понравилось, святые отцы жили»!

— Вы читаете здесь какие-нибудь книги?

— А как же, отцов Церкви... Исаака Сириянина, Макария Египетского... что «старец» укажет, о. Сысой. Он тоже знает Писание. Простой он в виду и очень смиренный духом, а твердый в искусе. Он руководит хорошо, толкует мне. Только он, конечно, меня жалеет, добрый очень... Строже бы надо, а он что же... за искушение сто поклончиков, а больше и не возвестит.

К нам подходит схимонах Сысой.

— А вот здесь, — показывает он на камень у воды, — птицы-гагары гнездо вьют и птенцов выводят... и нас не боятся. Гагара-птица нелюдимая, самая строгая, любит самую даль-крепь... глухие, значит, места. А вот, еще при о. Дамаскине, когда молодой он был, больше полсотни годов все ведутся гагарки-то. И каждый год только одна пара прилетает.

И сегодня прилетали?

— Нет, ноньче что-то не воротились, первый год так. Малоптенцовые они, больше парочки не выводят. И вот, первый год не прилетели, а то всегда. Это их в миру злой человек, может, напугал... пострелил, может.

— Вы давно здесь в скиту?

— Два годика. А то все дозорщиком был в Никольском скиту, на островке. До схимы о. Стефаном звали.

— А это что такое — «дозорщик»?.. на Никольском островке служили?

— Монастырь берег, от приходящих. Зимой по льду к нам бредут... ну, и стерег, обыскивал. Дело Божье, нельзя пропускать... искушение несут нам, есть такие озорники. Грех протащить хотят, запретное. Слабые есть из братии. Ну, я табачок в озеро, а еще чего, похуже... об камушек. И огорчения бывали... били меня лихие люди. Потрудился, а вот теперь на отдыхе — грядки копаю, лучок сажаю. Молиться-то? И молюсь, по малости... Господи помилуй. Ну, дай вам Бог получить, за чем приехали. Проводи их, сынок, покажь келейку батюшки Дамаскина... — сказал о. Сысой послушнику. — А я уж пойду, лучок режем. Ну, спаси вас Бог, Царица Небесная.

Он заковылял к своей келье, а мы перешли мостик и поднялись на горку, где под дубками, кленами и липками стояла пустая теперь келья игумена Дамаскина.

На стене сруба прибит четырехаршинный крест, работы Дамаскина.

Мы вошли в келью-клеть. Эта клеть, простая изба, разгорожена на четыре клетушки. В одной он работал, — и повернуться негде: в другой молился, в третьей переписывал священные книги, в четвертой почивал.

— Вот его моленная.

Клетушка шириной в аршин, длиной в два. Аналойчик, икона, стул. В крохотное оконце виден краешек озерка, холмик, поросший лесом. Здесь искушали его бесы, устрашали, осенними бурными ночами, в этой живой могиле. А он молился. И продолжалось это семь долгих лет, до главного подвига — строительства царства валаамского.

— А вот его постель.

В клетушке, под оконцем, досчатый гроб на полу и в нем рогожка.

Мы вышли. Дождь перестал. Всюду висели на листьях капли, сверкали живыми алмазами на солнце. Выглянуло оно из тучи, сияло в мелкой волне озерка холодным блеском. Кораллами горели обвисшие рябины. За озерком, о. Сысой — на огороде, копает лук.

— Прощайте, о. Сысой! — подошел я к нему.

— Бог простит, Бог простит... простите нас грешных...

Я пожал с грустным чувством его восковую руку — ручку. Было мне почему-то его жалко, думалось, старенький, не долго ему пожить осталось. И еще подумал: «а ему, может быть, э т о радостно... ведь он верит в вечное, небесное...»

— Прощайте... больше уж не увидимся... з д е с ь... — сказал он, словно на мои мысли, и посмотрел мне в глаза. Было в его глазах что-то... чего он не высказал словами: «т а м свидимся»?

Я прошел в сени келий. Черноватый монах все еще обрезал лучок.

— А, уходите... Вы уйдете, а мы останемся. А скажите... слыхал я, немцы, будто, войну воевать хотят... не слышно? — таинственно спросил он.

— Не слышно.

— Ну, а как у вас там, в России, ничего?

— Ничего.

— А мне вот богомолец один сказывал... будто у России с Францией дружба завязалась... правда?

— Правда.

— Ну... не ладно это. Француз — он хитрый. Напрасно Россия с ними связывается. А что... голод, будто, недавно был?

Этот был обыкновенный, до мира жадный, с живыми, даже горячими глазами, — «неотсеянный»: так и останется в «решете».

— На будущее лето, может, заглянете, новенького чего расскажете. В лесу живем, птица пролетит — не скажет, хоть и много видит.

Этот не «отсечется» никогда.

Мы сели в тарантас. Недвижный, насквозь промокший мальчик-карел сонно повел вожжами. Бойко пошла продрогшая лошадка, посыпало крупным дождем с орешника.

В сенях гостиницы стоит у дверей о. Антипа с блюдом. Мы кладем нещедрую жертву нашу, за щедрое гостеприимство. О. Антипа кланяется в пояс.

— Маловато погостили, маловато... — жалея говорит он, — хорошо себя вели, и привык я к вам, милые. Скажите и нас доброе словечко т а м.

Мы обнялись и поцеловались.

— Скажу, батюшка... есть, что сказать. Много видел я доброго, чего и не ожидал увидеть.

— Вот и не забывайте нас, д о б р ы х-т о. Хоть и отбились мы от мира, а все люди... не забывайте нас, проведайте. Сейчас вы к о. игумену, проститесь... да к угодникам прежде сходите поклониться, к Сергию-Герману, батюшкам нашим. Они вас в пути сохранят. А поклажу мы вашу на пристань доставим. Ну, с Господом.

Мы поклонились Угодникам и поднялись в покои о. игумена — получить, по валаамскому обычаю, благословление в путь.

— Ну, как вам у нас показалось? — спросил о. игумен.

Я сказал — что сердце велело мне. Он видимо был доволен.

— Далеко нам до высоты подвижнической... тщимся, сколь можем, в меру духовной скудности нашей... — сказал он просто, благословляя нас. — Всегда вам рады будем. Скорбеть будете — приезжайте помолиться. Молитва — все и богатство наше.

Сходим по гранитным ступенькам, к пристани. Грустно нам уезжать, — привыкли? Пароход «Петр» привез новых богомольцев, на праздник Успения, послезавтра; тянутся они в гору к гостинице. Говорят, что на 28 июня, день памяти преп. Сергия и Германа, бывает до пяти тысяч богомольцев. Всходим на палубу. Внизу монахи поют «Достойно». О. Николай грустно смотрит на отъезжающих. Мне жаль его. Кричу — «прощайте, о. Николай!» Он подходит нервными быстрыми шагами к борту, растерянно моргает, силится не заплакать. Голова поникла, руки заложены за спину, — приговоренный будто.

— Прощайте... — уныло говорит он. — Туда на родину вы... к своим...

Вытирает красным платком лицо и задерживает платок у глаз.

— Ведь четыре года я здесь... и никакого распоряжения! Забыли, не дают прихода. А как же мне без прихода-то... семье на шею. Бедные мы, бессильные... У кого

связи, а у нас — ничего.

Я с грустью думаю, что и у меня нет связей, ничем не могу помочь. Жаль только.

— Истомился... — шепчет старик, чуть слышно, — чувствую, скоро и совсем обсижусь тут, не будет и тянуть туда. Прощайте, голубчики мои.

Впоследствии я узнал, что опасения о. Николая оправдались: он навсегда остался в монастыре.

По сходням идет монах, машет нам чем-то, завернутым в белую бумагу.

— Обители благословение на путь вам.

Я беру с поклоном, развертываю и вижу — хлеб! Чудесный хлеб валаамский, ржаной, душистый, с тонкой корочкой, пахнет и пряником и медом. Отрезок длинной ковриги, фунтов на пять. Тут же мы и едим его, крестясь на золотые кресты и синие купола собора. И с этим валаамским хлебом вкушаем в последний раз, впитываем в себя, в сердце кладем себе благостное, что видели и вняли, что осветило нас, первые шаги жизни нашей. Мы едим валаамский хлеб, тесно у нас в груди. Глаза смотрят на все прощально, жадно. Никогда больше не увидим? Никогда. В грезах увидим, во снах.

Гудок. Прощай, Валаам, чудесный, светлый. Мы говорим друг другу, — говорим взглядами и понимаем: как хорошо мы сделали, что выбрали — почему-то — Валаам целью поездки нашей, первого в жизни путешествия. Говорим глазами:

— Правда, ведь хорошо?

— Правда, хорошо.

Второй гудок. Матросы закрыли борт. Певчие-монашенки звонкими дискантами зачинают: «Преобразился еси на горе-э...» Послушники поддерживают басами. На пароходе подхватывают тропарь. Катится по Монастырскому проливу, в камнях отзывается, в лесах.

Третий гудок. Пароход отваливает от Валаама. Богомольцы снимают картузы, крестятся на собор. За решеткой, на высоте у монастыря одинокие черные фигуры смотрят, — не разобрать: иноки провожают прощальным взглядом. Ползет за ним пенистый хвост воды, расходится длинными косами, катится по каменистым берегам, шлепает белой пеной. Мимо скита Никольского, — Ладога там блестит.

— Прощай, Валаам... до будущего года! — слышатся голоса на палубе.

На граничных утесах лес островерхих елей. Над ними золотится крестик скита Святых.

Вот и вольная Ладога играет. Пролив — за нами. Виден весь Валаам, весь в солнце, зубья его утесов. Где-то на высоте, за соснами — деревянная церковка-игрушка: дальний скит, Александра Свирского. Снежно сняет светило Валаам — великолепный собор с великой свечою-колокольней. Дремлет. Лазоревые его главы начинают вливаться в небо, лазоревое тоже. Белеют стены в зеленой кайме лесов. Снежная колокольня долго горит свечой — блистающим золотом креста. Мерцает. Гаснет.

●

ПО ЗЕМЛЕ

Писатель, фольклорист, этнограф, неутомимый путешественник Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) достоверно описывал ту жизнь, очевидцем которой был. Все, кому дорога история Отечества, быт и нравы прошлых времен, с удовольствием прочтут произведения, помещенные в сборнике «По Русской земле».

Так, его «Островные монастыри» воспевают «благочестивые подвиги» подвижников, которые своими трудами оживляли дикую природу отдаленных мест России, построили прекрасные храмы на островах, в том числе и знаменитый Валаамский. На этой негостеприимной земле монахи занимались и просветительской деятельностью, оказывая большое влияние на местных жителей строгостью и благочестием своего жития.

Основываясь на личных впечатлениях, автор знакомит нас с прекрасными древними монастырями, особенно выделяя Коневскую обитель и Валаамский монастырь.

В сборник вошло и несколько очерков мемуарного характера. Воспоминания автора отличаются правдивостью, точным отображением происходивших событий, встреч, бесед с теми, с кем столкнула его литературная судьба. Это — драматург А. Н. Островский, поэт Л. А. Мей, неподражаемый рассказчик И. Ф. Горбунов... Автор приводит нас в Малый театр, на сцене которого 25 января 1853 года в первый раз была показана комедия «Бедность не порок». С. В. Максимов отмечает появление на российской сцене молодого таланта — драматурга А. Н. Островского.

Очень интересны воспоминания С. В. Максимова о заграничном путешествии А. Н. Островского в апреле-мае 1862 г., впечатления о посещении оперных и драматических театров Германии, Италии и других мест. Многие страницы воспоминаний писателя доставят истинное наслаждение читателям. Они полны личных впечатлений, неизвестных нам дотоле фактов, написаны искренним и добрым очевидцем. И мы с гордостью готовы повторить вслед за автором: «...не только в отечестве, но и в Европе поймут нашего Островского, дорого оценят его и удивятся ему».

И. МАЛЬКОВА

С. В. Максимов. ПО РУССКОЙ ЗЕМЛЕ. — М.: Советская Россия, 1989.

ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ

Ценным вкладом в восстановление подлинного исторического знания стала вышедшая в Новосибирске книга о сибирских городах. От «А» до «Я», от Абатского до Ялуторовского острогов в кратких очерках предстает история Сибири, вместившая в себя и бунты, и войны, и мирное созидание землепашцев, ремесленников, купцов.

Каждое слово или цифра в этом труде — плод труда в архивах и экспедициях не одного поколения ученых. Интересно и художественное оформление, в котором использованы уникальные фотокопии подлинных чертежей и гравюр XVII — начала XIX веков, некоторые из которых публикуются впервые. В ряде случаев эти документы можно сопоставить с графическими реконструкциями, выполненными Д. Я. Резуном.

В цитируемых авторами высказываниях известных исследователей сибирской истории читаем мы о том, что «все, что мог сделать русский человек в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, а результат трудов его достоин удивления по своей громадности...» (Н. М. Ядринцев). Говорится и о «необыкновенном духе предприимчивости, страсти и рискованным предприятиям, жажде знания» (П. Н. Буцинский). И в помине нет здесь приписываемых русским вялости и «рабства».

Иной, в отличие от судьбы почти истребленных американских индейцев, была и судьба коренных народов Сибири, численность которых с XVII века неуклонно росла. Автор предисловия к книге академик А. П. Деревянко вспоминал посещение этнографического музея в США, где демонстрировались диорамы и видеофильмы, живописующие «русские зверства» в Сибири и на Аляске. Правда, сопровождавшие советских историков американские коллеги все же стыдливо прятали при этом глаза...

А. ТИМОФЕЕВ

Д. Я. Резун, Р. С. Васильевский. «ЛЕТОПИСЬ СИБИРСКИХ ГОРОДОВ», Новосибирское книжное издательство, 1989.

«Велико незнанье России посреди России»
НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ

ВАЛЕРИЙ РОГОВ

Нечаянная РАДОСТЬ

От южной трассы, устремленной в Крым, к Черному морю, Спасское-Лутовиново находится, как писал в письмах, зазывая гостей, Тургенев, «всего в десяти верстах». Дорога в усадьбу по древнеримскому образцу — прямая: то длинно падающая вниз, то протяжно взбирающаяся к горизонту, за которым близко и медленно плывут облака. Вдоль обочин тянется цветастый травяной ковер; за ним — нескончаемые яблоневые сады

Хорошо!.. В самом деле прекрасно!..

То и дело проносятся кавалькады свадебных автомашин: Спасское — священное место паломничества

Брожу по старинному парку в тенистых аллеях. Плотные кроны смыкаются высоко над головой — тишина, таинственность. Редкий солнечный луч вдруг золотисто-прозрачной струей прольется с небес, ярко высветив то корявый ствол, то задумчивую скамейку, то рано опавший лист. Но не видно ни выглянувшего солнца, ни голубого неба, ни облачных караванов... И ты неожиданно ощутишь себя совсем маленьким, совсем одиноким и совершенно потерянным в этом величественно-строгом парке. Но не пугают ни красавцы-клены, ни гренадеры-дубы, ни мачтово-стройные сосны и тем более свадебно-чистые березы. Наоборот, как бы оберегают, и ты действительно убеждаешься в их покровительстве, когда непредвиденно падет сумрак и опасливо стучит по листве крупными каплями случайный дождь — под кронами ты в безопасности

Но вот вновь светлеет, уплыла недобрая тучка; и опять струятся веселые солнечные лучи и, будто в старинных зеркалах, поблескивает и потемневший корявый ствол, и мокрая скамейка, и прошлогодняя листва — тускло, загадочно... А высокое пространство парка переполнилось озонной свежестью, земля дохнула сырой грибницей; и ты уже поеживаешься от враз пришедшей прохлады, и торопишься назад к уютному барскому дому

Хорошо! В самом деле прекрасно!

Вся великая жизнь, чувствуешь, притаилась рядом, и ты невольно представляешь хозяина, влюбленного единожды и навсегда в это свое имение; и думаешь о возвышенной поэтичности сего дворянского гнезда. И знаешь, что именно оно вдохновляло Тургенева, создавшего здесь ли, за границей, или в Санкт-Петербурге, однако с постоянной памятью о Спасском, неумирающие образцы русской природы, русского быта, русских характеров... Образцы красоты, поступков, нравственности, сострадания и еще пожалуй, жертвенности...

Высокие слова... В самом деле высокие...

Но само место рождает их, и ты лишь соглашаешься, лишь мысленно повторяешь: красота... сострадание... Да, сострадание к ближнему, к тому, кто веками был придавлен рабской неволей. И вспоминаешь поэтическую любовь — длинные платья, белоколонные беседки, быстрые дрожки на лунных просеках... И борьбу с деспотической властью, с крепостным произволом, с гордыней барства... Да, за человеческое достоинство, за просвещение, за лучшую долю

Высокие слова, в самом деле..

Но что ж поделаешь, раз они сами рождаются? Возможно, поэтому сюда спешат кавалькады свадебных автомашин с теми, кто вступил на совместную стезю — естественно, более ответственную, более возвышенную; вступил в жизнь, осмысленную по-новому

Конечно, я не первый раз завернул в Спасское, не впервые умиротворяюсь в освященном тургеневском парке, но, как и прежде, будто изначально стараюсь постичь сокрытые импульсы, родники озарения и жертвенности одинокого каторжного труда, что есть творчество

В этот приезд мне больше думалось о безыскусных, но поразительных «очерках», составивших неповторимую книгу — «Записки охотника», явивших потрясающую картину российской действительности и в конце концов ставших художническим приговором казалось бы извечным, незыблемым устоям крепостного деспотизма

«Записки охотника»... Какое множество русских типов! Вся дворянско-крепостная Россия. Все русское барство, и отечественное холопство. Как понятия, как части национального характера, которые — и в господине, и в рабе его. И барство, и холопство, кстати, до сих пор уживаются во многих из нас. Сколько же будут еще уживаться? Наверное, до того времени, когда наконец-то воистину сделаемся свободными — от страха и лести, от упрямой гордыни и нетерпимого однозначиства. Хотелось бы поскорей

Великая книга, не умирающая... Много в ней глубинных раздумий о России и русских и пророчеств о грядущих неизбежностях. Столько, что и поныне многие страницы животрепещут. А автор, а художник, пожалуй, ни о чем не подозревал, творя ее. Как это всегда бывает. Ах, да это и есть творчество, думалось мне, неведомое в своих итогах. Неведомое прежде всего творцу и прежде всего о судьбе творения. Как неведомы отцу с матерью судьбы их детей.

Мне вспоминалось, что «Записки охотника» оказались первой русской книгой, ставшей широко известной в Европе, в остальном мире. Именно за «Записки охотника» Тургенев первым из европейских писателей, а тогда это значило и всего мира, — а ведь творили и Диккенс, и Бальзак, и Бичер Стоу — был награжден почетной докторской степенью Оксфордского университета, что по тем временам равнялось нынешним Нобелевским премиям..

Но это потом, а в николаевской России по повелению самодержца за малый проступок — за публикацию некролога на смерть Г о г о л я (да, уважаемый читатель, и это запрещалось) — Ивана Сергеевича заточили в «полицейскую часть» Санкт-Петербурга, где продержали больше месяца Попугав таким образом, отправили в бессрочную ссылку в Спасское, настрого запретив покидать пределы невеликого Мценского уезда.

В письме к супругам Виардо в мае 1852 года он писал

«В деревне... примусь за свои очерки из быта русского народа, самого странного и самого удивительного народа во всем мире»

«...самого странного и самого удивительного народа во всем мире» — это о нас с вами, о всех нас.

Тургенев знал и любил Россию. На закате жизни он писал: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас не может без нее обойтись. Горе тому, кто это думает; двойное горе тому, кто действительно без нее обходится. Космополитизм — чепуха. Космополитизм — нуль, хуже нуля. Вне народности нет ни художества, ни жизни. Ничего нет»

Мне хотелось проехаться по просекам в окрестностях Спасского — ведь «Записки охотника» этнографически точны. Так я сделал в июне 83-го, в преддверии столетней годовщины со дня смерти Тургенева, вместе с тогдашним директором музея Борисом Викторовичем Богдановым — Бежин луг, Петровское, Голоплеки, Полтево.. Тогда особенно поразили Голоплеки, описанные в рассказе «Однодворец Овсянников», — своей пустынностью. Это были два ряда крепких домов, с окнами, грубо заколоченными крест-накрест досками; у поэтичного пруда с нависшими старыми ветлами лежала в развалинах краснокирпичная школа — деревню объявили неперспективной

В Полтеве мы встретились с правнучкой «однодворца Овсянникова» Таисией Ивановной, заботами которой держалась небольшая двухэтажная больница, построенная еще в земские времена, перед первой русской революцией, двумя братьями-поповичами, ставшими учителями гимназии в губернской Туле. Тогда интеллигенты, особенно выбившиеся из низов, свято верили в народническую «теорию малых дел» и спешили делать добро. Их подвижничество еще сохранилось. угасая, в деятельности Таисии Ивановны, к которой со всей округи тянулись занемогшие доярки и механизаторы, веря не мельтешащим молодым докторам, а ей, «безотказной фельдшерице»

Помню, в разговоре с Таисией Ивановной меня удивила ее позиция, когда на вопрос о необходимости удержания на селе молодежи, она убежденно ответила: «Нет, пусть спасаются по городам. Здесь они все сопьются...» И подтвердила, что такого же мнения отцы с матерями, из местных, из тех, на ком еще держится совхозное производство И еще раз повторила «пусть уходят», потому что — «жизни на земле не стало»

«Пока будет к народу такое безразличие, такое наплевательство, — добавила с печалью, — ничего хорошего в стране не случится»

Мы тогда наблюдали н е работающие совхозы — тот же имени Тургенева в Спасском, тот же «Полтевский», которые задолжали государству миллионы. Массовый уход молодого поколения с земли, с той земли, которая

См. цветную вклейку стр. 38

так ярко описана в «Записках охотника». Небрежно построенные панельные «агрогорода», наполненные (да и то частично! — что меня особенно поразило) люмпенским пролетариатом, в основном с уголовным прошлым. Эти люмпены вяло, скучно существовали и еще ничтожнее работали. Что ж, раз постоянно пребывали в похмельном состоянии. Наблюдали мы и местых «бурмистров», нынешних управляющих, которых зло называли «сытыми упырями»..

Впрочем, хватит о том гнетущем безвременье, которое, между прочим, пока не изжито...

Как ни пытался я тогда выжать из себя текст, заказанный журналом, так и не смог; и вынужден был отказаться... Вот почему мне хотелось теперь повторить маршрут и, как говорится, взять реванш; может быть, увидеть просветление. Но накануне пробушевали грозы, да вот и опять пролилась тучка: значит, проселки — черноземное тесто, и моему «жигуленку», конечно, их не одолеть...

Я стоял опечаленный перед тургеневским домом, смотрел на его веселый деревянный фасад — а он действительно веселым, но не торопился подниматься на веранду, потому что представил, как меня по-фельдфебельски строго вставят в ранжир «очередной группы» и принудительно поведут по дому, втолковывая то, что я, пожалуй, знаю лучше самих экскурсоводов, — но т а к положено. Кстати, кем? Министром культуры? Орловским облисполкомом? Или самими сотрудниками музея, которым т а к удобнее?

Вспоминалось, как мы беседовали с деликатнейшим Борисом Викторовичем о новых формах музейной работы. Как мне верилось, что он, Богданов, «станет тургеневским Гейченко». Нет, не стал, ушел на пенсию... А тогда, в 83-м, по-моему, и ему верилось, что Спасское может развиться в истинный очаг культуры, где не только будет излагаться биография великого писателя, порой настолько затверженно-уныло, что перестаешь понимать даже смысл произносимого; а будет заинтересованный, если хотите, проповеднический разговор на самые различные историко-литературные темы, которые щедро дарит очень незаурядная жизнь Ивана Сергеевича.

Мы называли тогда и тему «Записок охотника» — о России крепостнической, о неизбежности крестьянского освобождения — с землей или без нее... И тему «Отцов и детей» — революционную ситуацию в стране в 1862 году... И образы русских женщин, хотя бы Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда»... Чтобы в посетителе Спасского, как добровольном, так и организованном, пробуждались серьезные раздумья об исторических судьбах России, о том, что образы художественных произведении — это образы их предков; что жизнь, которая ушла, оставила проблемы, которые надо решать и новым поколениям... Чтобы человек, какого бы ни был возраста и звания, побывав в Спасском, покидал его просветленным, наполненным новыми размышлениями...

Конечно, мы соглашались с Борисом Викторовичем, что эта работа требует немалых усилий и глубоких знаний, но благородна, поистине благородна... Нам тогда верилось, несмотря на мрачное безвременье (кстати, именно в безвременье начинается подъем духа), что можно, в самом деле, создать духовный очаг в тургеневском Спасском... Но нет, не возник; еще тише и даже скучнее стало в усадьбе, несмотря на шумные свадебные паломничества, которым прежде всего важен сам факт приобщения к красивому месту, к величественному парку, но, конечно, не к жизни Тургенева, не к прошлому России — э-э, да Бог с ними, хорошо, что к р а с о т у Спасского изнутри, из сердца зауважали...

В общем, стоял в размышлении я перед домом Ивана Сергеевича, и желая вновь пройтись в его светлой тишине, и не желая снова слушать литературно-биографическое разжевывание, и, конечно, расстроенный, что тема о «Записках охотника», в чем я потерпел неудачу, опять не дается мне, и готовый уже пешком отправиться хотя бы в Голоплеки. Но, как ни странно, чувствовал, просто явно ощущал, прямо-таки слышал, будто кто-то нашептывает за спиной: «Иди... иди-и-и...» Поверьте, была подсказка, было чуть уловимое подталкивание; и было полное непонимание, почему я все-таки должен идти не в Голоплеки, а в дом, который, как мне казалось, я знаю чуть ли не наизусть. Но вслушайтесь, когда возникает нечто неясное, подчиняйтесь — ничего не бывает случайного.

Милая девушка, да еще совсем девочка, может быть, из старшеклассниц, а может быть, студентка педучилища из того же Мценска, очень волнуясь, и мне подумалось, что это ее самая первая экскурсия (во второй раз уже так не волнуются), рассказывала общеизвестные, банальные вещи, но с такой искренностью, с таким безыскусным желанием убедить нас, случайную группу индивидуальных посетителей, что Тургенев был замечательный писатель и еще более замечательный человек; и его любили крестьяне, и он их тоже любил...

От волнения она сбивалась, попадала в смысловые тупики, даже путала имена-отчества знаменитых друзей писателя. Например, Белинский у нее переиначился в Григория Виссарионовича, и она несколько раз повторила эту неправильность, но никто не поспешил ее поправить, хотя я заметил, как переглянулись средних лет муж с женой. Не посмел поправить и я, потому что настолько она была напряжена, так волновалась и так хотела понравиться нам и убедить нас, что, ей-богу, мы наслаждались не тем, что она говорила, а как она пытается передать свое постижение, свое отношение к Тургеневу — впервые вслух и публично; и как она поражена, растеряна, вдруг узнав, как это, оказывается, трудно, потому что громадно, потому что она многого еще просто не знает...

Но она была прелестна! Прелестна первоцветом, незащищенностью юности, той самой первой юности, когда детство и на шаг не отодвинулось...

Мы любовались ею. Она была подобна чуду, подобна одной из тех нежных героинь, которых так много на страницах тургеневских книг. Само воплощение первого опыта, первого чувства, первой взрослости — робкое, неуверенное, но уже самоотверженное. «Да откуда же ты взялась, милая? — так думал, наверное, не я один. — И что ждет тебя впереди?..» А ждал ее, как оказалось в конце экскурсии, красивый парень: высокий, ясноглазый, с золотыми кудрями до плеч — добрый молодец. И опять невольно подумалось: новое чувство, новый любовный восторг... То, что не раз было описано Тургеневым... Нет, ничего не меняется в этой жизни!

Но мой сюжет, моя тема совсем не связаны с этой девушкой, с этой юной феей, хотя, впрочем... Да, вероятно, если бы не она, не эта девушка-фея, не это нежно-восторженное любование ею, то наверняка я опять бы, как всегда, не обратил внимания на глухое упоминание об отношениях Тургенева с Марией Николаевной Толстой, любимой сестрой Льва Николаевича, и отнесся бы к этому, как к вполне естественному факту.

Впрочем, на этот раз... Нет, пожалуй, не углядел бы и на этот раз ту бездну, ту трагедию, ту л ю б о в ь, может быть единственную, которой Иван Сергеевич испугался, не мыслил для себя...

Вспоминая сейчас притемненную комнатку в музейной пристройке, где наша фея в проникновенном восторге вещала о «Дворянском гнезде», о Лизе Калитиной, о Лаврецком, я вдруг замер в волнении и, клянусь, вновь почувствовал едва уловимое прикосновение: мол, вот она тайна, тут! И понял, отчего меня т о л к н у л о войти в дом, а не вышагивать, натянув резиновые сапоги, по вязкому проселку в одичавшие Голоплеки. Я еще ничего не знал и, конечно, слишком обще помнил и «Рудина», и «Дворянское гнездо», и совсем смутно «Фауста», «Асю». То есть помнил светлое ощущение, отдельные яркие сцены, свое восхищение художническим мастерством Тургенева, прежде всего в «Дворянском гнезде», удивительно соразмерном, совершенном произведении — и образно, и сюжетно, и стилистически. И именно литературное совершенство «Дворянского гнезда» восхищало меня, как, понимаю, и многих других в череде российских поколений; и, естественно, печальная возвышенность Лизы и Лаврецкого;



Фото НИК… ТАЯ КОЧНЕ…

Валерий Степанович РОГОВ — публицист и прозаик. Лауреат премии ВЦСПС и Союза писателей СССР. Его очерки и статьи уже более двух десятилетий появляются на страницах центральных газет и журналов.
В. Рогов — автор романа «Крылатый гонец», повестей «Неужива», «Ржавый след», «Колядкин», «Нулевая долгота», «Догоню тебя в высях»; многих рассказов.
Недавно он совершил путешествие по центральной России.
Результатом поездки Валерия Рогова по бывшей Великороссии стала дорожная повесть «Гербовый столб», из которой мы и публикуем главу.

и удивляла энергетическая сила Варвары Павловны. Но я никогда до этого не задумывался над тем, а кто же прототипы, кто в самой жизни так чувствовал и страдал. Честно признаюсь, я еще ничего не уразумел в Спасском, когда юная фея вскользь помянула о поездках, чуть ли не ежедневных, в Покровское, что «в двадцати пяти верстах», но уже в соседнем Чернском уезде Тульской губернии, — в семейство сестры Льва Николаевича...

Меня поразило другое: в это путешествие, по пути в Оптину пустынь, мы с Яковом Пантелеенко, завернули в Шамардино, и, честно признаться, больше по той причине, чтобы взглянуть на ныне печальное место и понять, почему его стремится отнять у нас всех московская авиа-космическая «фирма Лавочкина» и почему так легко, так безнаказанно легко подобным фирмам сие удается? И вот в Спасском — вдруг! — юная фея вернула меня в Шамардино, встревожила сердце, и, будто волшебной палочкой, неразрывно соединила их троих — Тургенева, Толстого и его сестру. И опять, будто в старинных зеркалах, матово сверкнула тайна, приоткрыв пелену времени. И я понял, что эта вспышка, и эти неведомо чьи прикосновения, и все это неведомое соединение, не предполагаемое и не мыслимое мною, может быть, намек на удивительную, потрясающую историю.

Не думайте, что, вернувшись в Москву, я тут же принялся за разгадку тайны. Прошло больше месяца, иногда, отвлекаясь от работы, я вспоминал, что пора заглянуть в сочинения Тургенева, и вот наконец взял том его писем... И уже вырваться из этого погружения в его жизнь, в его произведения не мог ровно две недели. Росла стопка выписок, все собрание сочинений оказалось в закладках, а я никак не мог не то чтобы сделать выводы, а поверить тому, как неслучайны бывают импульсы, как глубоки колодцы правды.

Между прочим, не сразу постигаешь то, что потом, когда знаешь, как-то само собой открывает ситуации и прототипов его художественных произведений. Я никогда не задумывался над тем, что все придуманное Иваном Сергеевичем сразу обнаружится именно как придуманное, но если он пишет с натуры, это безукоризненно, по исполнению — как ни у кого! Я просто не знаю ничего подобного в отечественной литературе.

И вот теперь думаю о том, насколько мы хорошо посвящены в отношения Тургенева с Полиной Виардо, насколько хорошо знаем о «волшебном луче», сверкнувшем на жизненном закате всемирно прославленного писателя — его привязанность к молодой Савиной; и насколько мы ничего (ну, почти ничего) не знаем о его самом большом чувстве, о его, по-моему, единственной любви, о его трагедии и — и жертвенности ради литературы, ради свободы творчества, что, как он мыслил, невозможно без свободы личности, а значит, жизнь — без гнезда, без семейного счастья... И та единственная, которую он полюбил, вернее, узрел как единственную — и я в это верю — была сестра Толстого Мария Николаевна, та славная Любочка, описанная братом в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность».

Вы знаете, меня поразило, что в жизни Тургенев бежал от своего великого романа. В дальнейшем я попробую привести доказательства, хотя, чтобы всё рассказать, убедить фактами, проникнуть в душевные глубины, потребуется громадный объем, размерами в эпопею, не меньше «Войны и мира», а может быть, и больше, потому что охватит почти весь девятнадцатый век со всеми его проявлениями и противоречиями

Так вот всеми нами любимое, как я думаю, «Дворянское гнездо» — лишь малый отсвет той непостижимой стихии, того неуправляемого чувства, что есть любовь. Лишь малый отблеск божественного зарева, которое вспыхнуло между Тургеневым и Марией Толстой после их знакомства в октябре 1854 года. И это зарево, как я понял, освещало их до последнего часа, хотя они и не были вместе... Может быть, в будущей жизни им дано найти друг друга...

Давайте вспомним треугольник в «Дворянском гнезде»: Лаврецкий — Лиза — Варвара Павловна. Образу Лаврецкого Тургенев щедро отдает свою биографию, свои убеждения. Жене Лаврецкого Варваре Павловне, с которой они разошлись по причине ее измен, больше француженке, чем русской, по крайней мере, предпочитающей жить в Париже, он отдает главный талант Полины Виардо — пение, музицирование; он отдает ей, похоже, натуру Виардо — хищную, лукавую, и даже свою дочку, которую прижил в ранней молодости от спасской швеи (заметим: свою дочку Полину благородный Тургенев воспитывает в Париже; она так и не вернется в Россию...). Возьмем инициалы Варвары Павловны — В. П.; не кажется ли вам, что те же у Виардо Полины? У реалиста Тургенева все всегда изображается, описывается, шифруется узнаваемо.

Лиза Калитина... Правда ведь, самый светлый женский образ во всем тургеневском творчестве? Один из светлейших образов во всей русской литературе... А какая жертвенность! Воистину «песнь торжествующей любви». И взят из жизни; из его собственной жизни... Почитайте письма с октября 1854-го по начало 1859-го, когда «Дворянское гнездо» появляется в «Современнике» — все кончено, главное прожито, он уже — «старичок»... Почитайте, ей-богу, там, пожалуй, все ответы...

А Елизавета Михайловна Калитина, Лиза — это Мария Николаевна Толстая, Маша. И опять же ясен шифр — четыре буквы имени: Лиза-Маша, и ключ к отгадке, как мне видится, в инициале отчества — М. Между прочим, после встречи с Тургеневым Мария Николаевна оставила мужа, жила с братом в Москве, со Львом Николаевичем, сильно болела и все надеялась, надеялась... Последнее письмо Тургенева к ней датировано январем 1857 года, но душевное освобождение, желаемая им независимость наступила после того, как окончательно выписался, — после завершения «Дворянского гнезда», в котором он поставил точку 27 октября 1858 года накануне своего 40-летия...

А выписывать он начал из себя «Любочку» Толстую, Марию Николаевну, еще в самый апогей своего чувства, летом 1855-го, — повесть «Фауст». Если вы не читали ее, прочтите: даже по нынешним временам мне она кажется чересчур откровенной... А потом в своей мучительной раздвоенности, скрываясь от сжигающего ум и душу чувства, которое, всегда желая, он придумывал, а когда оно его настигло, то смертельно перепугался и бежал в Париж, в Рим, в крошечный немецкий городок Зинциг на Рейне, где начал выписывать из себя «Асю» — Анну Николаевну... В «Фаусте» — Вера Николаевна.. Все приоткрыто: Николаевна... Николаевна...; и все знали, что это — Мария Николаевна Толстая.

Лев Николаевич, между прочим, весной 1857-го «неожиданно» едет в Париж, чтобы повидать Ивана Сергеевича, объясниться по поводу их «неловкости» и, похоже, на месте убедиться, что Тургенев не собирается «жениться на Полине Виардо». Ну, вы чувствуете, какой вулкан действовал?

Вспомним треугольник в «Асе»: брат-сестра-автор. Брат — художник Гагин, бывший офицер; сестра — создание необыкновенной чистоты и оригинальности, которая может полюбить лишь одного и до бесконечности; и автор, его мучения... В письме своему «конфиденту» Некрасову Тургенев пишет об изнуряющих душу мучениях... Пожалуй, приведу цитату из письма другому «конфиденту» — П. В. Анненкову.

«С. Спасское. Понедельник, 1 ноября 1854.

Я здесь познакомился с семейством Толстого, автора «Отрочества»... Сестра его (тоже замужем за графом Толстым) — одно из привлекательнейших существ, какие только мне удавалось встречать. — Мила, умна, проста — глаз бы не отвел. — На старости лет (мне четвертого дня стукнуло 36 лет) — я едва ли не влюбился. — Я вижу отсюда, как у вас круглятся глаза и губы... но не могу скрыть, что поражен в самое сердце. Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния... Останавливаюсь, чтоб не завраться — и прошу вас хранить все это в тайне...

Бог знает почему, но не могу ничего делать...»

Уже живя в монастыре, Мария Николаевна однажды призналась дочери, указав на фотографию Тургенева: «...мы могли бы быть счастливы с ним... Он был чудесный человек, и я постоянно о нем вспоминаю». А сын Льва Николаевича Илья Львович Толстой в своих воспоминаниях, вышедших в Москве в 1933 году, писал, что Мария Николаевна — «до конца своей жизни сохранила о Тургеневе самое поэтичное воспоминание, ничем не запятнанное, светлое и яркое».

Ну вот, наверное, и все о той могильной тайне, которая неожиданно мне открылась по неведомому мне стечению обстоятельств и непонятному подталкиванию меня к их открытию.

Что же я должен сказать в заключение? То, конечно, что в Шамардине в наши дни осквернена святая могила. Могила, в которой похоронена Мария Николаевна Толстая, необыкновенная женщина, так необыкновенно причастная и к судьбе своего великого брата, и к судьбе И. С. Тургенева. Если выразиться фигурально-красиво, то похоронена здесь Лиза Калитина, — и это тоже правда! У меня нет желания, честно говоря, казнить ту женщину, которая жадно думает только об урожае картошки, даже выращенной на монастырском кладбище, — она примитивна, озлоблена, а главное темна, хоть жила «под солнцем» социализма. Как говорится, бог ее простит.

Но мы с вами не должны прощать тех, кто является властью, кто не должен быть примитивно-темен и предвзято-злобен. Такая власть уже не нужна — ни на уровне сельского совета, ни на областном уровне. По-моему, хватит осквернять российское прошлое. Хватит осквернять «отеческие гробы»!



Антон Павлович Чехов. 1890 год.

Сто лет назад, в июле 1890 года, Антон Павлович Чехов прибыл на Сахалин — «остров страданий», как тогда его называли. За три с небольшим месяца он сделал перепись жителей острова, побывал во всех тюрьмах и поселениях, вник в жизнь, труд каторжан и «вольных», отбывших наказание. Лечил больных, хлопотал за обиженных, став как бы полноправным гражданином Сахалина.

Вернувшись в Москву, А. П. Чехов написал книгу путевых очерков «Остров Сахалин», своей правдивостью, социальной остротой потрясшую тогдашнее просвещенное общество и с интересом, душевным откликом читаемую до сих пор.

Особенно, как известно, А. П. Чехов заботился об обездоленной сельской интеллигенции (кстати, и той, что обслуживала каторгу). Многое, естественно, изменилось за минувшие сто лет на Сахалине. Но сбылась ли полностью мечта великого писателя — видеть цивилизованными, с достойной человеческой жизнью окраины России!

В этом году отмечался и 130-летний юбилей со дня рождения Антона Павловича Чехова, ставшего наиболее читаемым писателем в мире.

В издательстве «Книга» в этом году выходит сборник публицистики «Остров Чехова», его составили очерки писателей — В. Шугаева, Л. Бежина, П. Паламарчука, В. Христофорова, Е. Чиркова, Ю. Стефановича, А. Ткаченко и других.

Очерк известного писателя Анатолия Ткаченко посвящен одному из «чеховских» интеллигентов современного Сахалина.

См. цветную вклейку стр. 33—35.

АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО

МЕЧТАТЕЛЬ С САХАЛИНА

> **Да, он — «средний», «массовый», и даже, если хотите, «положительный» — таков же, как ты да я. Он барахтается в той же морали, что и мы с вами. Его вина — а он безусловно виноват! — это и наша с тобой вина! А вот интересно, как бы ты, дорогой читатель, поступил в этой ситуации?**
>
> **А. П. ЧЕХОВ**

Вот он, Таранайский рыбоводный завод. Те же низкие, еще более увязшие в сырую землю дощатые дома. Контора, подновленная зеленой краской. Длинный деревянный инкубационный цех. Чуть в стороне — река Таранай. И по обе стороны речной долины — невысокие крутые сопки, теперь в ярком полыхании осенней растительности.

Директор завода, одетый по-рабочему и куда-то спешащий, узнав, кто я, наскоро жмет мне руку и как-то умело перепоручает оказавшейся тут же своей жене, старшему рыбоводу, и я догадываюсь: у них такой «расклад»: корреспондентов, писателей, словом, гостей невысокого ранга, принимает она, второй человек по должности на заводе, а по напористой деловитости, разговорчивости — так что ни на есть самый первый.

— Читаем, читаем ваши книги, как же! — заговорила она сразу и громко, будто представляя меня видимой лишь только ей публике. — И про нашу Таранайку вы писали, давно, правда. А у нас все по-старому, дичаем тут помаленьку... — Мы подошли к инкубационному цеху, и женщина жестковато подтолкнула меня в открытую дверь. — Входите, входите, вы же здесь бывали! Наша лаборатория, девушки перебирают икру, порченую отсеивают... Вот, девушки, писатель, тоже жил на Сахалине, прилетел из Москвы, посмотреть, как мы тут, простые труженики, перестраиваемся да планы выполняем. Может, и опять про нас напишет... Пойдемте дальше, там наше главное производство. — Она провела меня в низкий, длинный цех, полусумеречный, с тихо журчащей водой, понизу сплошь бетонный, со множеством проточных каналов, холодный и сырой. — В этих аппаратах икра дозревает, в стопках специальных она, да вы хорошо знаете... Пятнадцать миллионов... Почему так мало, спрашиваете? Лето было неудачное, заложили только половину. Но мы стараемся, вот так, мокрые, в сапогах и телогрейках круглый год и форсим, ни культурных развлечений нам, ни кино, одичали бы совсем, да телевизоры спасают...

Мы покинули инкубационный цех, вышли в яркий, тихий, по-сахалински кроткий сентябрьский день, остановились на площадке у конторы, и старший рыбовод все говорила и говорила.

Я узнал, что живут они с мужем и сыном в доме без всяких удобств, зимой печи топить надо, летом сыро в этих «щелевках»; плохо с продуктами, редко бывает свежий хлеб; сына нужно возить в поселок Таранай, за шесть километров — только там школа, дичает ребенок, не с кем ему здесь общаться, детей почти нет, только мат рабочих слышит; при такой жизни не захочешь и сахалинских надбавок, бросать надо все, ехать на материк; у нее вон сестра в Москве живет, квартира со всеми удобствами, теплый туалет, а тут зимой бегай во двор...

Я пытался остановить этот словесный поток, спросить старшего рыбовода, давно ли ее семейство на Таранайском заводе, откуда приехали, почему не хотят сами благоустроить свое жилище, сказать, что она не слишком оригинальна в своих притязаниях: многие лишь так и понимают перестройку — требуй, настаивай, добивайся

благ для себя, но ни единого слова в ее говорение вставить не мог, таким оно было плотным, самозабвенным, беспрерывным. Беспомощно разведя руки, я повернулся, собираясь уходить, женщина на мгновение замолкла, и мне удалось сказать ей:

Понимаю, не легко здесь, но ведь у вас строится японский рыбоводный завод, построят и жилье, наверное, хорошее...

Японский? Мы к нему отношения не имеем, там шибко все по науке будет, мы останемся на своем, посмотрим еще, у кого лучше дело пойдет... А если там удобства будут, потребуем и нам создать, мы тоже советские люди, не хуже других...

Скажите, — перебил я ее, перейдя едва ли не на крик, — Почуев Леонид Васильевич живет здесь?

– Живет, куда ему деваться! — прокричала еще более громко женщина, не то сердясь на меня, не то радуясь, что все-таки удалось «пропечь» гостя серьезным разговором, даже бежать собрался. — Этот Почуев, герой вашего произведения, и сторожит японский завод, правда, там у него все разворовали... Вон в том доме, где и жил, небось дрыхнет, стучите посильнее!

От конторы я, кажется, не шел, а бежал трусцой, опасаясь, как бы старший рыбовод не вызвалась сопровождать меня, и в дверь Почуева застучал так громко, будто за мной гнались, угрожая немедленной расправой. Хозяин открыл не сразу, вероятно, спал, и выйдя на крыльцо, без интереса спросил, кого мне нужно.

Леонид Васильевич, не узнаете? — протянул я руку. — А я вас сразу... Хотя прошло столько времени... Ну, постарели мы, конечно, у меня вот седая борода.

Вон кто пожаловал! — наконец удивленно отозвался он, оживив на сухощавом лице все свои морщины и раздвинув в улыбке тонкие, как бы усохшие от тихой и молчаливой жизни губы. — Вот ваша борода и помешала узнать...

Мы же, помнится, на «ты» были?

Так-то когда? Забылось.

– И верно. Ехал сюда, подсчитал: был я здесь зимой шестьдесят четвертого. Значит, двадцать четыре года назад. Припомнил даже, как расставались. Вы говорили мне: «А ты приедешь, ведь приедешь сюда. Пусть через много лет. Я буду ждать. Я буду старенький, сухой, седой, но еще крепкий. Я долго буду жить и буду крепкий. Это я тебе обещаю. Буду ходить неслышно по своим тропкам, немо набормативать слова, колдовать над красной икрой — маленький горбун, маленький бог. Я тебя не узна́ю, я буду долго слезливо всматриваться в тебя, а потом запла́чу. Может, запла́чу, если еще смогу. Мы выпьем с тобой, совсем понемногу, для беседы, и я тебе расскажу, что такое жизнь... Ты этого не вычитаешь, не придумаешь. Но если умрешь раньше меня, пусть мне сообщат. Я помолюсь за тебя, тебе легче станет там... Я помолюсь лесу, этим сопкам, реке — ведь частичка тебя навсегда останется здесь...» И еще что-то в таком же духе вы мне говорили, вроде бы и серьезно, и с нарочитостью явной: мол, как хочешь прими мою речь... Правильно пересказал?

Почти что. После того как раз вы повесть про меня написали.

Не сердитесь?

Тогда сильно сердился, думал: ну, пусть покажется на Таранайке, заставлю под дулом ружья опровержение писать. — Почуев негромко засмеялся, полувзмахнул рукой. — Садитесь вот на лавочку, чего стоять. Время кого не изменит? Да и напрасно я тогда горячился, думаю, все правильно было написано, не по жизни если, так по сути. А тогда казалось, будто вы меня раздели и голенького показали народу.

Фамилию вашу я же переменил...

А Таранайка-то осталась.

Потом уже думал: почему бы и место по-другому не назвать? Но так был уверен, что пишу только правду, и вы будете даже благодарны.

Почуев легко вздохнул, как бы освобождаясь от прошлой наивной горечи, с улыбкой покрутил головой, мол, кто старое помянет... и сказал:

Я ведь давно усмирился. Семьдесят три мне. На пенсии. Расскажите, зачем вы объявились здесь. Вот уж не гадал!

Я сказал, что в Москве решили издать книгу к столетию посещения Чеховым Сахалина, дали командировки десяти писателям — проехать по чеховским местам, посмотреть, что и как теперь на «Острове сокровищ», предложили и мне принять участие, все-таки бывший сахалинец...

— А так, сами бы не приехали?

— Нет, пожалуй. Жил здесь, писал о здешней жизни. Уехал — иссякла тема. Приезжать из любопытства?.. Я вот поехал по туристской путевке во Францию на десять дней, до сих пор неловко: не увидел, а будто подсмотрел чужую жизнь... Никуда не нужно ездить просто так, поглазеть, поудивляться... Надо приезжать и жить. Все другое — трата времени, видимость жизни.

— Философ, узнаю! — Почуев беззвучно, по всегдашней своей стеснительной деликатности, рассмеялся, щуря на меня светлые щелки глаз, заслезившиеся, вероятно, от приятных воспоминаний. — Сколько мы тут пофилософствовали за рюмочкой!.. Может, сообразим для беседы?

Я кивнул в сторону конторы, где стояла черная обкомовская «Волга» со скучающим возле нее шофером, мол, такие машины и таким рядовым товарищам, как я, дают на самый короткий срок, засветло надо вернуться в Южно-Сахалинск, к тому же время сейчас у нас трезвое, и попросил Почуева показать мне японский рыбоводный завод.

— Это пожалуйста. — Он легко поднялся, сходил в дом, надел куртку и старенькую кепчонку, легко сбежал с крыльца — поджарый, чуть сутулый, но вовсе не старик в свои семьдесят три, и лицо моложавое, пожалуй, от постоянной, чуть иронической усмешки. — Пойдемте, осмотрим, обговорим нашу великую стройку.

Прошли по короткой улочке, свернули влево, и за реденьким леском открылось взору впечатляющее сооружение — широкое, приземистое здание с отлогой, на два ската, сияющей металлом крышей, ярко-красной и зеленой отделкой стен, с множеством труб, водоводов, башенок и широким бассейном перед зданием, вероятно, для будущего выгула рыбьей молоди. И все это посреди развороченной, захламленной, утопающей в грязи строительной площадки.

Остановились, Почуев спросил:

– Как, уважаемый писатель?

— Как везде: не то стройка, не то разгром какой-то. И строителей не видно.

– Чего-то им не подвезли, отдыхают. Да вы не расстраивайтесь от временных трудностей. Пойдемте, внутренности покажу.

«Внутренности» оказались еще более впечатляющими: обширный инкубационный цех с множеством длинных бетонных каналов, далее просторное помещение для начального созревания икры — способ ящичный, а не стопочный, как у нас, к каждому ящику подведен отдельный водовод; рядом — светлая лаборатория, комнаты отдыха, другие подсобные помещения; а вот самое, пожалуй, главное — электронный блок.

К нему-то и подвел меня Почуев, спросив:

Что интересное видим перед собой?

Побитое что-то, покалеченное...

— Правильно. Это же не дети в теперешнее время, погромщики какие-то! Совершили набег с соседнего пионерлагеря, повынимали из блока дорогие приборы, поуродовали панели, уничтожили, можно сказать электронику.

— Как же вы не досмотрели, Леонид Васильевич!

Я один сторожу. Ночью сидел здесь, утром пошел позавтракать, они ворвались... Дверь запирается, а стекол в окнах нет, не торопятся вставить.

— Что же теперь? Это ж такие деньги!

Большие, – согласился с протяжным вздохом Почуев. У них ведь как, у японцев, все на автоматику рассчитано подача воды, температурный режим, дезинфекция, сортировка икры... Похаживай, да на приборы поглядывай. Видно, нашим рыбоводам по старинке придется тут трудиться — больше руками, на авось да

16

на глазок.

— Вот почему жена директора сказала, что они с мужем к этому сооружению не хотят иметь какого-либо отношения.

— Не только потому. Им электроника и компьютерная технология настроение портит. Сколько ни живут здесь — все временно. Абы план, абы оправдаться, абы начальству угодить.

Мы вышли наружу, прошли мимо будущей конторы с зияющими пустыми проемами окон и дверей, мимо котельной, почему-то слишком уж близко приткнутой к бассейну (не будет ли копоть из ее трубы травить рыбий молодняк?), и я все осматривал невообразимый разор строительной площадки. Вон доски, изуродованные тракторными гусеницами, вон цемент, мешков пятьдесят, не меньше, размок под дождем, вон кирпич свален кучей в грязь...

— Понимаю, Леонид Васильевич, все это не ваше дело, но ведь для цемента, скажем, совсем просто сколотить навес, столько досок валяется!

Почуев хмыкнул неопределенно, опустил голову, вяло развел руки, что надо было понимать так: можно, конечно, навес сколотить, кирпич подобрать, что-то другое сделать, да разве этим исправишь нашу пагубную привычку делать все безалаберно и кое-как?

— Сколько же стоит этот завод?

— Говорили, что-то около восьми миллионов инвалютных рублей.

— Щедро раскошелились! Добавили бы еще полмиллиончика и попросили японцев, чтоб сами и возвели завод, под ключ, так сказать.

— Они приезжали, смотрели, то же самое говорили.

— А электронный блок, что же, другой будем покупать?

— Не знаю, со мной не советуются. Но печаль и другая есть, уважаемый писатель: завод этот — вчерашний день у японцев, такие они для себя уже не сооружают. А их целых четыре закупили — два сахалинцам, два приморцам.

— Да кто же все это покупает, чем думает?

— И другое вам скажу: по мне, так лучше четыре-пять маленьких заводов поставить на наших речках, чем этот гигант возводить. Он ведь рассчитан на тридцать миллионов икринок кеты, а в Таранае горбуша в основном. Значит, придется из других рек икру привозить. Это рентабельно? А те заводики могут быть кооперативными, на полной окупаемости, и люди сами себя благоустроят, не будут просить московского жилья средь диких сопок.

— Что ни час, как говорится, то не легче. Да советовались хоть с рыбоводами, когда решали покупать эту громадину?

— У меня не спрашивали. Хотя я тут всю жизнь безвыездно.

Мы неторопливо шли к домам поселка и вспоминали шестидесятые годы, когда были намного моложе, мечтали о добром будущем времени, при котором все переменится к лучшему, и сахалинские рыбоводные заводы станут цивилизованными, с городскими домами, газом, асфальтированными улицами, а главное — с автоматическим рыборазведением, чтоб рука человека не касалась ни рыбы, ни икры, как в естественной природе... В то время как раз рыбовод Леонид Васильевич Почуев и изобрел свою знаменитую самозатопляемую плотину, получил на нее патент, а потом разъезжал по другим рыбоводным заводам, устанавливал ее как более совершенную, удобную, производительную. Живой был, строптивый, отчаянный человек. О нем, его плотине, смелых его проектах и фантазиях я и написал повесть «Был ли ты здесь?..»

— Припомните, Леонид Васильевич, как вам явилась мысль о плотине?

— А вы, что же, свои произведения не перечитываете?

— Проверить хочу — точно ли записал тогда.

— И мне экзамен? Ладно, слушайте. Произошло это в неудачное время моей жизни, я в то лето жену замещал на директорском посту, она в декрете была, и решил выслужиться — вдвое больше икры заложить. Заводишко наш был маленький, на пять миллионов икринок всего. И поторопился. В июне перегородил Таранайку плотиной — тогда плотины свайные строили, колья в дно реки вбивали, — а две недели спустя плотину снесло: в сопках прошли дожди сильные, вода в речке поднялась, понесла кряжи, бревна... Словом, начался ход горбуши, а у меня ни плотины, ни садков. И случился со мной, как теперь говорят, психический стресс: одному плотину не исправить, и людей во второй раз в холодную воду совесть не позволяет загонять, да и платить из каких капиталов им буду?.. Упустил время, моя волевая супруга взяла власть в свои руки, съездила в район, выпросила рабочих, подняла своих, плотину кое-как соорудили, к поздней осени едва набрали плановых пять миллионов, и я был разжалован женой-директрисой в рядовые рабочие. Случались, и не раз, у меня с нею разные конфликты

Обиженный, раскритикованный коллективом, ходил он к Таранайке, садился на берегу и обдумывал свою дальнейшую жизнь: оставаться на заводе или искать удачу в другом месте? Неслась вода, шумела, успокаивала. Как-то сидел, смотрел на мелькание затопленного водой тальника: над ним проплывали корчи бревна, топили его, но тальник снова упрямо, невредимо поднимал свои гибкие стебли. Ему вдруг подумалось: вот бы такую плотину! И пусть плывут бревна, корчи... Тут же на песке набросал чертеж: тальниковые прутья одними концами крепятся к опорному брусу на дне реки, другими свободно стелятся по воде... В маленьком ручье испытал свою «тальниковую» плотину. Получалось хорошо, но тальник скоро намокал, тонул. И придумал он решетчатые щиты: сквозь них легко проходит вода, их можно крепить к опорному брусу на шарниры, и они свободно погружаются и всплывают. Тот же тальник, только модернизированный. Просто, «как молчание». И он, можно сказать, замычал от радости.

- Ну, а дальше вы знаете. Рыба упирается в щиты, отстаивается, «зреет», мы впускаем ее в ловушку, потом в садки — и отдает она нам свою икорку для искусственного разведения потомства, потому что естественного для нее почти что ничего не осталось... Разъезжал я после по рыбоводным заводам, ставил свои плотины — на Сахалине, Курилах, Камчатке... Между прочим, японский завод построят, а плотина будет моя, хоть и технически кое в чем домысленная, другого ничего не придумали.

— Пожалуй, слово в слово вы пересказали, Леонид Васильевич. Ну, может, я усилил что-то художественно, для большей «выпуклости» вашего образа, вы ведь у меня еще и литературный герой.

— Который давно отгеройничал.

Да, рядом со мной шел совсем другой человек — усмирившийся, как он сам о себе сказал. Он не обижается на мои «домыслы» в повести, почти равнодушен к несуразностям вокруг: мол, если уж я не справился с ними, то у других и подавно духу не хватит, пусть все течет и изменяется по заведенному порядку. Кто его заводил, тому виднее, что и как надо делать.

Вернулись к той половине дома, которую занимал Почуев, сели на скамеечку. Когда-то двор был в цветах, жена Леонида Васильевича сажала их у забора, вдоль дорожек, в огороде меж грядок... Цветы были и теперь, но кое-где и не столь ухоженные. Во всем чувствовалось холостяцкое запустение.

— Где ваше семейство? — спросил я.

Он ответил, помедлив минуту и неохотно, будто мне и без того все хорошо известно, и спрашиваю я исключительно из вежливости.

— Жена уехала на материк, там и умерла. Болела здесь. Дети рассеялись. Что им эта Таранайка? А я вот не смог, прикипел всеми печенками и селезенками. Место какое, гляньте. Вы его хорошо описали в той повести, но все-таки по внешности, а я изнутри чувствую это место, точно оно меня на свет породило.

По легкому синему небу медленно плыли в сторону недалекого моря солнечно-белые облачка, тень от них вре-

менами падала на расцвеченные зеленью, охрой, киноварью лобастые сопки, делая их еще более неправдоподобными, будто только что щедро и небрежно намалеванными огромной кистью невидимого художника, вон и краски еще не обсохли, светятся резко и влажно.

Но ведь так благодатна на Сахалине лишь осень. Зима редко бывает сухой и морозной, лето — редко солнечным.

Помнится, сколько жила на Таранайке жена Леонида Васильевича, столько и мечтала уехать отсюда в теплые края, к овощам и фруктам. Рыбоводом же она была хорошим, почти бессменно директорствовала здесь и, обладая довольно-таки волевым характером, умело укрощала строптивый нрав супруга, к тому же любившего пображничать. Леонид Васильевич порой восставал против диктата жены, но на ее должность не посягал, разумно довольствуясь работой старшего рыбовода. Думаю, для него то время было наилучшим — молодым, полным смелых мечтаний и надежд.

— Может, хоть чаю попьем? — вдруг забеспокоился и привстал Почуев. — Что же мы, будто нерусские...

— Гляньте вон, как томятся около «Волги» шофер и старший рыбовод. И сюда поглядывают: ему хочется меня увезти, ей — отправить. Так ведь?

Верно заметили. Вот уж будет на меня сердиться — чего я вам наговорил?

— Не ладите?

— А с кем я особенно ладил?

— Скажите, почему с икрой не управились, только пятнадцать миллионов заложили?

— В Южно-Сахалинске рынок навещали? Там в основном корейцы торгуют, цены вон какие всегда. А в этом году — завал овощей, даже у русских кое-что выросло. Лето сухое выдалось. Огородам — хорошо, речки — обмелели. Наша горбуша и не вошла в Таранай. Словом, не набрали производителей, как мы это называем.

— А в других местах взять? В Лютоге, на Огоньковском рыбоводном, например? Там река посильнее. Это же рядом!

Вполне можно было. Да кому нужны такие хлопоты? С работы не снимут, надбавки не уменьшат — объективные причины, нет виноватых. Таранай вон течет, а застой продолжается.

Пора было завершать нашу короткую встречу, и шофер торопит, подогнал «Волгу» к самой калитке почуевского дома, сидит, навалясь на руль и осуждающе скучая.

- Вот о чем еще хотел поговорить с вами, Леонид Васильевич. Вы помните, конечно, зачем мы целой группой приехали на Сахалин — навестить чеховские места, но главное — посмотреть, как живет сельская интеллигенция, о ней, сельской, всегда и всеми забываемой, — учителях, врачах, агрономах, самодеятельных поэтах и художниках — Чехов неустанно заботился. Вас, Леонид Васильевич, я считаю именно таким интеллигентом. Не по образованию высокому, не по должности — по многотерпимости, пониманию людей, верности делу. Вижу, вы отмахиваетесь, смущаетесь, но это так, по крайности для меня. Подумайте и скажите, был бы Чехов доволен теперешним Сахалином, приведись ему ожить и увидеть его?

— Вопрос и верно для интеллигента, да еще не заскорузлого, как я. Я ведь когда чеховский «Сахалин» читал? Лет тридцать назад, не менее. Помню, что рыбоводов в его время не было, рыбой были забиты все сахалинские реки, целая тайга, японцы еще не похозяйничали на юге Сахалина, русские не знали о нефти на севере... Слыхали о наших бумажных комбинатах? Все вокруг себя поотравили на много лет вперед. И леса для них уже почти что нет.

Нам говорили, есть проект — закрыть их все и купить в Канаде один большой современный бумажный комбинат.

— Как рыбоводный у японцев?

Да ведь людям, тем же бумажникам, где-то работать надо.

Почуев вздохнул, помолчал, как бы в растерянности, проговорил:

— Вот вы и ответили на свой же вопрос. Разве мог подумать Чехов, что за эти сто лет мы так уработаем «Остров сокровищ»? И будем дальше стараться. А другим чем — народу живет больше полмиллиона, понастроили немало, школы, больницы, телевидение, институт вон даже есть, — этим, может, и был бы доволен Чехов. Да как за него скажешь?

– Хорошо, а вы лично каким хотели бы видеть Сахалин?

— О, мою мечту лучше при себе держать, всем планам она поперек. Как один газетчик сказал мне — абсурдная. Но вам выскажу. Закрыть надо всю промышленность на Сахалине и разводить только рыбу. Много лососевой рыбы. И она, эта рыба, да еще красная икра, дадут нам больше дохода, валюты тоже, чем все теперешнее производство. Как, не шибко испугались такой мечты?

– Неожиданно, конечно, но не шибко испугался. Потому что и Чехов говорил то же самое. Вот сейчас вспомнил: «Главное богатство Сахалина и его будущность, быть может, завидная и счастливая, не в пушном звере и не в угле, как думают, а в периодической рыбе». Периодической он называл рыбу, приходящую в реки на нерест, кету и горбушу.

— Так, наверно, у него я эту мечту перенял?

– Возможно. Но все равно спасибо. Вы все беспокоились, Леонид Васильевич, как бы угостить меня, дать в дорогу чего-нибудь... И одарили мечтой о зеленом, чистом, возрожденном Сахалине.

— Несбыточной?

— Пожалуй. Но человек должен мечтать о несбыточном. Это сказал опять же Чехов.

— И тогда она сбудется?

— Ну хотя бы приблизится.

Я обнял его, пожал ему руку и пошел к машине.

По пути в областной центр, затем в гостинице «Сахалин», а несколькими днями позже в самолете на Москву я все обдумывал дерзкую мечту безвестного рыбовода на пенсии Леонида Васильевича Почуева, и когда дома сел писать о нем, мечта эта была уже и моей.

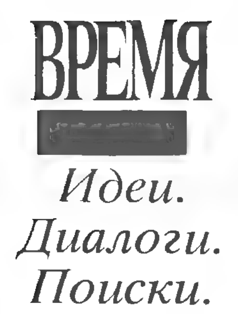
Таким сельским интеллигентом наверняка бы заинтересовался и озаботился Антон Павлович Чехов, жаждавший нового человека, перемен в России: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку».

Многое сдули с нашего общества бури двадцатого века. Но, возможно, нынешние перемены все-таки избавят нас от равнодушия, научат добросовестному труду, возвысят каждого до личностного осознания. Надо помочь им всеми своими силами.

Анатолий Сергеевич ТКАЧЕНКО родился в 1926 году в селе Грибском Амурской области. Детство его прошло на побережье Охотского моря и на Тербинских золотых приисках. Участник войны с Японией. После демобилизации работал в газетах Хабаровска, затем был редактором Сахалинского книжного издательства.

В 1964 году окончил Высшие Литературные Курсы. Автор книг «Был ли ты здесь», «Время долгой зимы», «И север, и юг», «Длинный день одиночества», «В поисках синекуры», «Чужие печали» и других.

А. С. Ткаченко — лауреат Государственной премии РСФСР.



Наверное, вся беда в том, что ответственные работники главных наших распределяющих органов, с удовольствием раскрывая на досуге томики Пикуля, Райнова и Карнеги, не знают, где эти книги печатают. И, подобно оперному герою, не хотят узнать. Иначе задумались бы, почему основное наше издательское министерство — Госкомпечать СССР — получает в свое распоряжение бумаги не многим больше министерств, ведающих добычей угля или производством колготок.

Об этом, в частности, говорилось в статье члена коллегии Комитета по печати С. Галкина («Слово», 1990, № 4). В ней же прогнозировалось наше с вами, читатель, будущее: книг теперь мы получим на треть меньше привычного. Именно на столько «срезаны» издательские бумажные фонды в 1990-м году.

Будущее наступило. Правда, ощущают это пока только издатели. О том же, что ждет в скором времени российского читателя, рассказывают руководители трех издательств РСФСР.

ИЗ КАРМАНА В КАРМАН



ГУЛАГ: легенды и факты на стр. 22.

ВИКТОР НОВИКОВ,
директор издательства «Советская Россия»:

В текущем году наше издательство недодаст продукции почти на 16 миллионов рублей. Но духовное обнищание, к которому грозит привести российского читателя бумажный кризис, не измерить никакими деньгами. Он, честно говоря, и раньше сидел на голодном пайке, теперь же и вовсе рискует остаться без книг. И не только без тех, которые мы не издадим, но и без тех, что не напишут писатели. Ведь цепь «писатель — издатель» — не только и не столько производственно-деловой механизм, это — живая связь, взаимообогащающие стороны. Писатель не издающийся, не получающий широкого людского отклика, приостанавливается в росте.

Нет, не все наши авторы — классики. Есть среди них и литераторы «средней руки», но они — участники нормального литературного процесса, который, как известно, не состоит из одних лишь пиков. Участвовать в этом процессе, открывать имена молодых, представлять читателю оригинальные новинки — вот подлинная издательская работа. Перепечатывать же в сотый раз нашумевший бестселлер может, в конце концов, и типография.

Экономика же прижимает нас к стенке, заставляя выпускать все больше прибыльных книг, отодвигая на второй план менее выгодную прозу, поэзию современных авторов. Но разве «Кулинарная книга» и «Лекарственные растения» делают честь издательству?

Усугубляющийся бумажный голод грозит оставить без работы и полиграфистов. Издательства не загружают типографии, а их директора, в свою очередь, вынуждены отправлять наборщиков, линотипистов во внеочередные неоплачиваемые отпуска. Нет работы — нет зарплаты. Спустя время, когда бумага, надо думать, все-таки появится, отрасль растеряет квалифицированные кадры. Выращивать новые — потребуются годы и годы.

Вообще у многих создается впечатление, что бумага в государстве есть. Ведь бумажная промышленность не выполнила план всего на 1,5 процента. Это же не 34 процента фонда, которые нам срезали. И если уж так плохи дела, то почему открываются новые газеты, журналы и даже издательства? В принципе, это хорошо. Многообразие периодических изданий свидетельствует о культурном уровне общества. Но давайте жить по средствам и не забывать, что американец, традиционно выбрасывающий по утрам в мусорное ведро кипу извлеченных из почтового ящика и непрочитанных рекламных проспектов, имеет на свою американскую душу бумаги в десять раз больше, чем мы на свою. Зачем же, создавая во множестве новые предприятия, расшатывать сложившиеся старые?

Бумагу «съели» многомиллионные тиражи периодики, — говорят нам. Большие тиражи традиционно считались показателем высокой квалификации редакционных работников. Но многие журналы в пору подписной кампании завлекли читателя обещанием опубликовать художественные произведения популярных авторов. Потому они и собрали чисто книжные, а отнюдь не журнальные тиражи, размножив вместе с романами и повестями статьи, очерки и рецензии, которые просматривает, хорошо, если десятая часть подписчиков.

И все-таки бумага есть. Втридорога — у кооператоров. Начинают складываться рыночные отношения — радуются иные экономисты, публицисты. Но какой рынок может быть при монополии государства

на ту же бумагу и экономическом бесправии государственного предприятия! Кооператор придет на это торжище с «живыми» деньгами, а мы, государственные издатели, с чем? С безналичным расчетом?

Убежден, что урезывание бумажных фондов у издательств — не государственный подход и самому что ни на есть государственному делу — выпуску книг для народа. Стыдно по уровню обеспеченности бумагой занимать одно из последних мест в мире. Уверен, наше правительство понимает это и в скором времени примет радикальные меры.

ЛЕОНИД ФРОЛОВ,

директор издательства «Современник»:

Представьте себе длиннейший товарный состав в 80 вагонов: это та бумага, которой лишили наше издательство в текущем году. Если выразить в тоннах — 3 400, в процентах — 30. Тиражи с двухсоттысячных (и этого мало: торговля заказывает миллионы) снизились до 50 тысяч. Да еще сократилось количество названий: некоторые авторы встретятся со своими читателями в будущем году, и то, если повезет.

Только начали мы осваиваться в этой тяжелой ситуации — сверстали кургузый, усеченный план, как грянула новая телеграмма: изымают еще 100 тонн бумаги, да какой — офсетной! Значит, полежат, подождут готовые уже к печати пленки красочных, подарочных изданий.

А как ждать редакторам, остающимся без нагрузки? Ну ладно, использовали бы они образовавшееся свободное время на самосовершенствование... Но ведь издательство — на хозрасчете, а хозрасчет у нас какой-то странный: планирование, как и встарь, идет «от достигнутого». И если в прошлом году цифра балансового дохода превышала у нас 27 миллионов рублей, то и в этом году, будь любезен, «достигай» тех же результатов, только на двух третях прошлогоднего количества бумаги. Иначе полетят все издательские фонды, в том числе и фонд оплаты труда. Получается парадокс: издательство, в котором на каждого работника приходится 170 тысяч рублей дохода, не может наскрести по своим сусекам даже на 170-рублевую зарплату редакторам.

С легкой руки журналистов вошел в обиход термин «гражданская война в литературе». Сейчас он приобретает и другой, еще более разрушительный смысл. В бой с литераторами — и с правыми, и с левыми, вступила матушка экономика, которая, надо признать, насмерть сразила сестрицу идеологию. Теперь нас совершенно не волнует художественный, нравственный уровень книги. Мы обеспокоены одним — как она «пойдет». Экономически издатели ставятся в такие условия, что если совесть не заговорит, мы всем прочим книгам предпочтем детектив. Потому что на рынке его можно продать вдвое дороже и быстрее, чем произведение высочайшего класса.

В издательствах не говорят сегодня о высоком предназначении литературы. Политика Минфина, бумажный голод заставляют тратить время не на подготовку хороших литературных произведений, а на разработку многочисленных вариантов расчетов, как свести концы с концами. Иначе обанкротишься.

Тиражируются разного рода приключенческие поделки, в большом ходу стала рубрика «Забытые имена». Ларчик открывается просто: издательский прейскурант, определяющий номинал книги, щедро причисляет к лику классиков всех писателей, со дня смерти которых минуло 25 лет. А каждый лист классика оценивается вчетверо дороже листа современника. Так, если издательство заменит в своих планах книгу изумительного мастера слова Л. Леонова на сочинения «классика» по выслуге лет, то сможет продать первую книгу за три, а вторую — за четыре рубля. Со стотысячного тиража это — тысяча рублей прибыли.

Бумага сегодня перекладывается государством из одного кармана в другой. У книгоиздания она отбирается и отдается на газеты и журналы. Но гонорар-то в тех же журналах, несмотря на бешеный рост доходов, выплачивается без учета потиражных. Возьмем «Новый мир». Не так уж давно его тираж был 113 тысяч. Сегодня он достиг почти трех миллионов. И авторам, печатающимся в журнале, от этого ни жарко ни холодно. Скорее — холодно, потому что их книжный, оплачиваемый гонорар государство превратило в журнальный, неоплачиваемый. Увлекшись «гражданской войной», писатели взирают на это с легкой душой, и ждут, что будет дальше. А дальше, если события станут развиваться так же, они останутся без книг. И читатели — тоже.

Один из реальных шагов, которые можно предпринять сейчас — это упорядочить подписку на газеты и журналы. Может быть, и не обойтись и без закупки бумаги за рубежом. Иначе голод бумажный перерастет в голод культурный.

АНАТОЛИЙ СВИРИДОВ,

директор Центрально-Черноземного книжного издательства:

Всевозможные проверяющие и ревизоры — частые гости у нас. Ищут бумагу. Напоминает это продразверстку: в нашем издательстве нет ни листка лишней бумаги, ни склада, где можно было хоть что-то утаить.

Работали мы всегда «с колес», выхватывая «горяченькие» рулоны из вагонов и отправляя их сразу в типографию. Сколько помним, фондодержатели и производители бумаги никогда не баловали нас своим вниманием. Каждый фондовый вагон приходилось «брать», выталкивая из бумкомбинатов на железнодорожные рельсы. Что тут говорить, бумага для нас — это выполнение плана, это зарплата, премия, и, наконец, само существование издательства. Вот почему мы готовы были любому богу молиться, лишь бы достать тонну-другую. Но молитвы не помогали. В связи с переходом бумкомбинатов на хозрасчет и полную самостоятельность, положение их ухудшилось, так что нам могли недопоставить в год такую «мелочь», как вагон-два бумаги. Законов же на этот счет не существует, так что не пожалуешься..

Единственное, что оставалось на долю издателя — ездить с протянутой рукой по стране, чтобы коекак выполнить план, перечислить львиную долю прибыли в госбюджет, а с нового года начать все с нуля. Поймут ли когда-нибудь в высших эшелонах власти, что, придерживая издательства на голодном рационе, не оставляя ничего для развития производства, они, тем самым, обедняют само государство.

Новое кровопускание, теперь уже «бумажное», буквально сбило нас с ног: из наших мизерных 640 тонн изъяли 201, вежливо попросив пересмотреть тематический план 1990 года. Но ведь основные работы плана уже находились в производстве, с авторами были заключены договоры, часть гонораров выплачена, имелись договоры с типографиями и книготоргующими организациями, где четко были определены объемы и тиражи. Пришлось срочно снимать из плана рукописи отдельных авторов, другим — сокращать тиражи, как говорится, резать по живому.

А ведь наше Центрально-Черноземное книжное издательство обслуживает пять крупных областей региона: Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Курскую и Тамбовскую. В регионе работают более ста профессиональных писателей, имеются давние литературные и исторические традиции. Если крупное, центральное издательство как-то способно выстоять в этих условиях, то маленькие, российские, число которых и без того заметно убывает, могут и не оправиться от удара. Лишить издательство бумаги — значит обеднить культуру края, ударить по читательским интересам и надеждам, отобрать у людей духовный хлеб.

ВОРОНЕЖ

●

ЮРИЙ ВИГОРЬ

КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН

Можно, конечно, со мной не соглашаться, однако идеи — пожалуй, единственный товар, имеющийся сегодня на нашем внутреннем рынке в избытке, но не находящий сбыта. Уже само по себе такое явление абсурдно и не сулит исцеления нашего социального организма без серьезного хирургического вмешательства. Ну, скажите, о каких серьезных экономических, культурных, производственных преобразованиях может идти речь, если многие плодотворные идеи у нас ничего не стоят, а их генераторы нередко оказываются не только в убытке, но еще и не в чести?

В прошлом году газета «Советская культура» опубликовала мой очерк «Белый рынок», где ратуется за введение системы бесплановой книжной торговли и контроля за распродажей книг — достояния национальной культуры — на аукционах, откуда таковые сплошь и рядом уплывают за рубеж. «Москнига» обсудила предложение, признав его целесообразным. Генеральный директор этого объединения А. В. Горбунов прислал в редакцию письменное тому подтверждение, сожалея однако, что осуществление идеи, способное принести прибыль в несколько миллионов, зависит не только от «Москниги», но и от местных плановых органов, Госкомпечати СССР и традиций сложившейся издавна организации книжной торговли. Что касаемо уплывающих за рубеж раритетов, то эта тема и по сию пору осталась в тени — промолчало Министерство культуры, промолчала и Госкомпечать. Порадовало лишь письмо за подписью директора «Центра инжениринга, маркетинга и менеджмента» М. И. Коробкова, разосланное им в Госкомпечать СССР, «Союзкнигу», Упрполиграфиздат Мосгорисполкома и «Мосбуккнигу». В этом письме предлагается разработать в кратчайший срок экономическую модель хозяйственного механизма букинистической торговли, позволяющую избежать указанных недостатков.

И вот, как пишут в романах, «минул год...» На предложение «Центра...» никто не обратил внимания, хотя, признаться, лично меня бы удивило, случись обратное. Рассчитывал лишь на одно — названная статья в «Советской культуре» покажет воочию, что существующая система книжного производства и рынка, в первую очередь букинистики, требует коренных преобразований. Очевидная ущербность этой формы торговли выгодна отдельным частным лицам, умеющим воспользоваться удобной ситуацией, кооперативам и созданному на базе одного из них совместному советско-швейцарскому предприятию «Юнисэт». Создается впечатление, что Госкомпечать СССР отнюдь не прельщает получить сверх плана несколько миллионов долларов. Более того, решено отдать «Юнисэт» один из самых бойких московских магазинов на Арбате «Букинист», мотивируя тем, что якобы не хватает средств для его ремонта.



Рисунок НИНЫ ПАНОВОЙ.

Год назад я предлагал Госкомпечати СССР простейший способ получения валюты: проведение международных аукционов старинных иноязычных книг (кстати, разрешенных к вывозу без всяких ограничений и увозимых из нашей страны иностранными гражданами уже много лет). Эта акция мыслится обоюдосторонней, под девизом «Вернуть книге родину» и преследует не только экономические, но и культурные цели, так как дает возможность пополнить раритетами фонды зарубежных и отечественных библиотек.

К примеру, в наших букинистических магазинах томик прижизненного издания Стендаля или Бальзака оценивают в десять-пятнадцать рублей, а в Париже, у букинистов набережной Сены, он стоит тридцать — сорок тысяч франков, то есть во много раз больше. Вот и прикиньте — сколько получает западный турист, вывозя несколько небольших книжонок в потертых переплетах. И как тут снова не подивиться нашему головотяпству, незнанию коньюнктуры западного рынка? Но попробуйте сдать букинисту хотя бы за пятерку того же прижизненного Стендаля в небольшом городе, где-нибудь в Мелитополе или Брянске. Его вообще не примут: «спросу нет!» В лучшем случае поставят на комиссию. И невольно охватывает грусть, когда поймешь, что наши торговые представители за рубежом «работают лишь с современными книгами» отнюдь не из-за бойкого спроса — как сгодились бы им хоть и непростые, но воздающие сторицей библиофильские познания, ибо знание — это не только сила, но еще и валюта!

В беседе с заместителем министра культуры СССР Н. П. Силковой и начальником отдела по делам библиотек Е. П. Пономаревой явно угадывалось их безразличие к этим вопросам: увозят, ну и пусть себе увозят на здоровье. Ни зависти, ни желания перенять полезный в общем-то опыт. А ведь вновь созданная Ассоциация библиотечных работников могла бы и сама выйти на мировой рынок. Дело это, разумеется, хлопотное: куда девать заработанную валюту, и между кем и кем ее делить? А тут еще «наверху»

придет в голову передать под крыло Ассоциации всю букинистическую сеть страны: чтоб удобнее было напрямую пополнять библиотечные фонды и получать к тому же от грамотной торговли и аукционов немалую прибыль. Нет уж, видно, без того в министерстве хлопот хватает! Но как говорится, спокойно жить не запретишь.

И вот уже раздаются в печати голоса: пора, други мои, поднять «железный занавес» перед книгой. Нет, нет, отнюдь не иноязычной, которую впрямь бы надо везти «туда» и учиться маркетингу по крупному счету. Генеральный директор «Юнисэт» призывает открыть дорогу в зарубежье именно отечественным раритетам. Все едино, дескать, сами не увезем, так разворуют, шельмецы, и рано или поздно окажутся дезидераты за кордоном. И примеры приводятся впрямь соблазнительные: на аукционе в Лондоне небольшая папка литографий «Супрематизм» Казимира Малевича, изданная в Витебске, была продана недавно за 50 тысяч долларов; «Козочка» — народная еврейская сказка Хад Гадье с иллюстрациями Эля Лисицкого «отлетела» на аукционе «Сотби» за 35 тысяч долларов; за книгу А. Крученых «Тэли-лэ» сулят не меньше 100 тысяч долларов, его же книжонка «Утиное гнездышко... дурных слов» была продана господам коллекционерам за 22 тысячи долларов. Ушли по баснословным ценам прижизненные издания Достоевского, Толстого, Тургенева... И некоторые из них, заметьте, неведомыми-негаданными путями уплыли на Запад, побывав пред тем на отечественных торгах. Впрочем, ничего удивительного — у нас до сих пор нет закона об аукционах. И если государство в лице Госкомпечати и Министерства культуры СССР дает возможность другим поживиться, так отчего бы и «Юнисэт» не урвать кое-что...

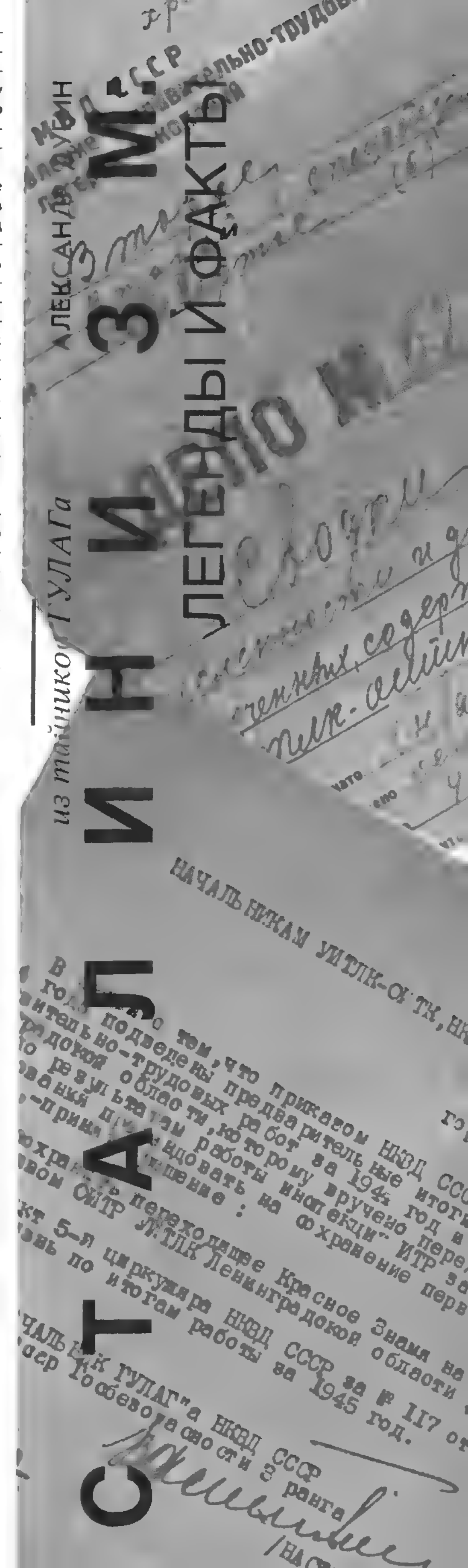
Ясно одно — необходима тесная и равноправная связь с мировым книжным рынком. Мы им, скажем, прижизненные рукописи Юлиана Семенова, а они нам — тоже прижизненные — Ивана Сергеевича Тургенева. А если всерьез, то нужно в корне менять подход к книжному делу, не пытаясь лишь реконструировать его допотопный механизм. За последние полвека мы почти утратили культуру Книги, а вместе с тем и изысканную, утонченную науку библиофильства, задавленную валом серятины и погоней за сиюминутной прибылью. Книги по библиографии считаются ныне среди букинистов одними из самых дорогих. Острую нужду в них испытывают и тысячи библиотек, покупая втридорога на аукционах. А кооператоры и «деловые люди» книжного полусвета готовы платить бешеные деньги, прекрасно понимая, что библиография — это кроме всего прочего еще и ценнейшее руководство для коммерческих операций, индикатор вложения капитала. А вот чиновнику невдомек, что информация — это тоже товар и может стоить на «черном рынке» дороже самых дефицитных книг.

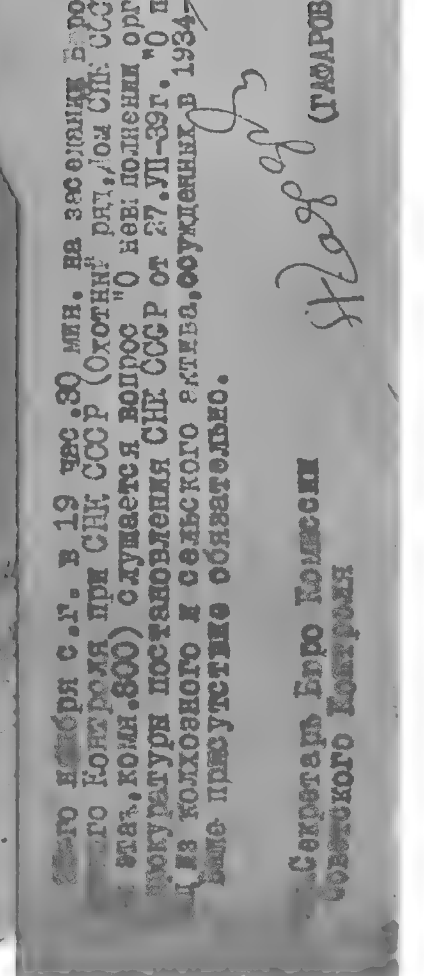
За три последних года в стране проведено несколько десятков книжных аукционов. Собрав их свод под одной обложкой с корректировкой ценников, можно получить не только занятный библиографический материал, своего рода историю аукционов, но и любопытный барометр постоянно скачущих цен, крайне необходимый библиотекам, совершенно не ориентированным в рыночной конъюнктуре. Что поделаешь, пока что информацией о ней владеют в полной мере лишь дельцы. Спрос на такой сборник был бы куда выше, чем, скажем, на «Дочь Петра» К. Валишевского, но ни издательству «Книга», ни издательству «Книжная палата» пока не пришло в голову издать такой информационный материал, представляющий, кстати сказать, интерес и для зарубежных библиотек. Пришлось автору этой статьи издавать «Каталог» за свой счет.

Сегодня выгодно во всех отношениях печатать дезидераты для коллекционеров. Они с радостью заплатят сотню и больше за предметы своих давних чаяний: выпустите десятитысячным тиражом факсимильное издание суперредкости «Библиотека Черткова» в двух томах. И вам заранее, по подписке и объявлению в газете, внесут на расчетный счет деньги. Вот и миллион! А расход бумаги не превысит и пятнадцати тонн. Или, скажем, издайте «Словарь достопамятных людей земли Русской» под редакцией Половцева для коллекционеров-гурманов. Любой заплатит полторы, две тысячи. И тотчас найдутся охотники купить, если предложить хоть в «Березке» на валюту «Историю императорской охоты на Руси» А. Кутепова с иллюстрациями Самокиша...

Наши экономисты настоятельно призывают — делайте деньги! Я приоткрыл лишь один из простейших путей — удовлетворение спроса коллекционеров, для которых следует открыть специальный книжный магазин. Но чиновники и не подозревают о скрытых возможностях внутреннего рынка, не говоря уже о внешнем. Еще раз повторю банальную истину: знание — это не только сила, но и валюта.

ВИГОРЬ Юрий Павлович окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал по специальности, ходил в плаванья. Член Союза писателей СССР. Автор книг «У самого Белого моря», «Азорские острова», «Охотничья жилка», «Дорогами России», «Похождения Куковерова». В издательстве «Советский писатель» готовится к выходу сборник детективов Юрия Вигоря «Сомнительная версия».





...го ноября с.г. в 19 час.30 мин. на заседании Бюро
...го Контроля при СНК СССР (Охотный ряд, дом СНК СССР
...втат. комн.800) слушается вопрос "О невыполнении орг
...куратуры постановления СНК СССР от 27.VII-39г. "О п
...из колхозного и сельского актива, осужденных в 1934
...ие присутствие обязательно.

Секретарь Бюро Комиссии
Советского Контроля (ГАФАРОВ)

Таблица 1.

Количество заключенных в лагерях ■ колониях ГУЛАГа НКВД
(до 1934 г. — ОГПУ)*

Годы	По состоянию на 1 января		
	■ лагерях	■ колониях	Всего
1930	179.000	—	179.000
1931	212.000	—	212.000
1932	268.000	—	268.000
1933	334.300	—	334.300
1934	510.307	—	510.307
1935	725.483	240.259[1]	965.742
1936	839.406	457.088[2]	1.296.494
1937	820.881	375.488	1.196.369
1938	996.367	885.203	1.881.570
1939	1.317.195	335.243[3]	1.672.438
1940	1.344.408	315.584	1.659.992
1941	1.500.524	429.205[3]	1.929.729
1942	1.415.596	361.447	1.777.043
1943	983.974	500 208	1.484.182
1944	663.594	516.225	1.179.819
1945	715.505	745.171	1.460.677
1946	746.871	956.224	1.703.095
1947	808.839	912.704	1.721.543
1948	1.108.057	1.091.478	2.199.535[4]
1949	1.216.361	1.140.324	2.356.685
1950	1.416.300	1.145.051	2.561.351
1951	1.533.767	994.379	2.528.146
1952	1.711.202	793.312	2.504.514
1953	1.727.970	740.554	2.468.524

* — в данной таблице не учтены ссыльные поселенцы
1 — только в тюрьмах
2 — в тюрьмах ■ колониях
3 — только ■ колониях
4 — по сообщению министра внутренних дел С. Круглова И. ■ Сталину

Таблица 2.

Состав лагерей ГУЛАГа НКВД за контрреволюционные преступления

Годы	Количество	■ процентах ко всему составу лагерей
1934	135.190	26,5
1935	118.256	16,3
1936	105.849	12,6
1937	104.826	12,8
1938	185.324	18,6
1939	454.432	34 5
1940	444.999	33,1
1941	420.293	28,7
1942	407.988	29,6
1943	345.397	35,6
1944	268.861	40,7
1945	289.351	41,2
1946	333.883	59,2
1947	427.653	54,3
1948	416.156	38,0
1949	420.696	34,9
1950	578.912[1]	22,7
1951	475.976	31,0
1952	480.766	28,1
1953	465.256	26 9

1 — ■ лагерях и колониях

История, как ■ любая другая наука, может быть наукой только ■ том случае, если она, опираясь на истинные факты, фиксирует реальные события. Иначе говоря, история — это зафиксированная действительность. Любой профессиональный историк знает аксиому: чтобы что-то доказать, нужна соответствующая, по возможности наиболее полная источниковая база. То есть, историку, чтобы проанализировать те или иные события (в отличие от публициста или писателя), недостаточно иметь ■ своем распоряжении только один какой-то источник — будь то мемуарная литература, публицистика или что-то иное. Профессиональному историку необходимо владеть комплексом источников, поэтому одной из ведущих научных исторических дисциплин является источниковедение.

Строго говоря, ни одно исследование прошлого не может быть признано научным, если оно основано, например, лишь на воспоминаниях участников тех или иных событий.

Если речь идет об истории государственных учреждений СССР, то здесь в распоряжении историка уже имеются: планы и отчеты о работе, текущая переписка центра с местными органами, газеты и журналы тех лет, публикации различных документов, мемуары и другие источники. Одним из наиболее важных являются, конечно же, подлинные архивные документы ■ деятельности того или иного государственного ведомства или общественной организации. Особую ценность при этом приобретает сам факт введения в научный оборот новых (не публиковавшихся ранее) архивных документов.

Вопросы, связанные ■ зарождением, развитием ■ последствиями культа личности Сталина, вызывают повышенный интерес у историков ■ юристов, экономистов ■ философов, у писателей и публицистов, у широкой читающей аудитории. Наряду ■ изучением политических, социальных, экономических и других причин возникновения системы, которую принято называть сталинизмом, делаются попытки определить масштабы трагедии, постигшей советский народ, установить количество жертв сталинских репрессий. Вопрос этот очень важен не только с познавательной точки зрения, ибо познание прошлого не является самоцелью. Он очень важен потому, что правильный ответ на него должен способствовать формированию определенной, лишенной какого-либо конъюнктурного налета мировоззренческой позиции наших современников, объективной оценке недавнего прошлого страны, партии, правоохранительных органов.

На страницах некоторых газет ■ жур-

налов как у нас, так и за рубежом встречаются материалы, рассказывающие об ужасающих масштабах трагедии, пережитой страной в годы сталинизма. Причем авторы публикаций, ссылаясь на отсутствие необходимых архивных материалов, производят собственные подсчеты жертв репрессий, высказывают свои оценки, делают обоснованные таким образом выводы и обобщения.

В фондах Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР) выявлено несколько тысяч единиц хранения документов, относящихся к деятельности ГУЛАГа. Представим вниманию читателей две таблицы, которые составлены мной по материалам фондов этого архива (см. стр. 23).

Принципиально оговорившись, что материалы данной статьи не претендуют на окончательный ответ на все вопросы, касающиеся репрессий сталинизма, проанализируем данные архивов и сравним их с теми, которые уже появились на страницах некоторых изданий. Известный публицист, кандидат педагогических наук Р. А. Медведев пишет: «В 1937-1938 гг., по моим подсчетам было репрессировано от 5 до 7 миллионов человек: около миллиона членов партии и около миллиона бывших членов партии в результате партийных чисток конца 20-х и первой половины 30-х годов; остальные 3-5 миллионов человек — беспартийные, принадлежавшие ко всем слоям населения. Большинство арестованных в 1937-1938 гг. оказались в **исправительно-трудовых лагерях** (выделено мною — А. Д.), густая сеть которых покрыла всю страну». (Московские новости, 1988, 27 ноября). Аналогичную информацию можно прочитать в «Аргументах и фактах», 1989, № 5.

Предположив, что Р. А. Медведеву вероятно известно о существовании в системе ГУЛАГа не только исправительно-трудовых лагерей, но и исправительно-трудовых колоний, остановимся сначала более подробно именно на исправительно-трудовых лагерях, о которых он пишет. Из таблицы № 1 следует, что на 1 января 1937 года в исправительно-трудовых лагерях находился 820.881 человек, на 1 января 1938 года — 996.367 человек, на 1 января 1939 года — 1.317.195 человек. Но, обратим на это обстоятельство особое внимание читателя, нельзя, автоматически складывая названные цифры, получить общее количество арестованных в 1937-1938 годы. Почему? Прежде всего потому, что ежегодно определенное число заключенных после окончания срока заключения или по другим причинам освобождалось из лагерей. Приведем и эти данные: в 1937 году из лагерей было освобождено 364.437 человек, в 1938 году — 279.966 человек. Путем несложных подсчетов получим, что в 1937 году в исправительно-трудовые лагеря поступило 539.923 человека, а в 1938 году — 600.724 человека. Таким образом, по данным, выявленным в документах **ЦГАОР СССР, в 1937-1938 годах общее количество заключенных, вновь поступивших в исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа, составило 1.140.647 человек**, а не 5-7 миллионов, как иногда считают. Но и эта цифра еще мало что говорит о мотивах репрессий, то есть о том, кем были репрессированные.

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, уточним, что такое репрессия. «Репрессия (лат. — repressio — подавление) — карательная мера, наказание, имеющие целью подавить, пресечь что-либо» (см. «Краткий политический словарь», М.: Политиздат, 1987, или «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, М.: Русский язык, 1988). Следовательно, говоря о репрессированных в 30-е — 50-е годы, следует иметь в виду, что в их числе находились репрессированные как по политическим, так и по уголовным делам. В числе арестованных в 1937-1938 годах были, разумеется, и обычные уголовники, и арестованные по печально известной статье 58 УК РСФСР. Представляется, что прежде всего именно этих людей, арестованных по 58-й статье, и следует считать жертвами политических репрессий 1937—1938 годов. Сколько же их было? В архивных документах имеется ответ и на этот вопрос — см. таблицу № 2. В 1937 году по статье 58 в лагерях находилось 104.826 человек или 12,8 процента от общего числа заключенных, в 1938 году — 185.324 человека (18,6 процента), в 1939 году — 454.432 человека (34,5 процента).

Таким образом, общее число репрессированных по политическим мотивам — и это документально подтверждено — следует уменьшить в 5-7 миллионов, по крайней мере, в десять раз. Таковы подлинные факты истории, впервые прочитанные на пожелтевших страницах архивных дел, которые до сих пор обходились вниманием исследователей сталинских репрессий.

Разумеется, и хочется это подчеркнуть еще раз, наши данные не претендуют на истину в последней инстанции. Необходим их критический анализ, сопоставление с другими документами, более глубокое изучение уже выявленных материалов (некоторые из них будут приведены ниже).

Историческая наука не терпит субъективизма. Для того чтобы историк имел право сказать «я считаю...», необходимы годы и годы кропотливой, черновой работы в архивах, анализ выявленных документов, сравнение полученных данных с уже имеющимися в других публикациях. В связи с этим хочется поразмышлять об ответственности тех ученых, публицистов, писателей, которые затрагивают трагические события 30-х — 50-х годов в нашей стране. Думается, что между понятием «упрощение истории» (за счет сознательного или несознательного отказа от комплексного изучения и анализа всех доступных источников) и понятием «догматизм» можно без значительной натяжки поставить знак равенства. Тем более это относится к такой важнейшей политической проблеме, какой являются сталинские репрессии. Еще живы участники (к сожалению, их остается с каждым годом все меньше и меньше) тяжких испытаний, живы родственники погибших в сталинских застенках. Но, по-моему, тем более недопустимы всякого рода домыслы и догадки по принципу «по моим данным...», «по моим подсчетам...» и т. д., не подтвержденные документами эпохи. **Нельзя расстреливать на страницах газет и журналов нерасстрелянных, высылать невысланных, ссылать на каторгу несосланных.** Надо бережно относиться к святому чувству справедливости, к которому зовут безвинно погибшие и пострадавшие соотечественники.

Журналист Александр Мильчаков, ведущий в последние годы розыск мест захоронения жертв сталинских репрессий, например, заявляет («Вечерняя Москва», 1990, 14 апреля): «Меня просто поразила такая его (председателя КГБ СССР В. А. Крючкова. — А. Д.) реплика: ...Кстати, вот справка: в 1937—1938 годах было арестовано не более миллиона человек, а расстреляно 600 тысяч. И дальше он сказал: таким образом, о десятках миллионов не может быть и речи. Не знаю, сделал ли он это сознательно. Но я знаком с последними широко распространенными исследованиями, которым верю, и прошу читателей «Вечерней Москвы» еще раз внимательно прочитать произведение А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», прошу ознакомиться с опубликованными в «Московском комсомольце» исследованиями известнейшего нашего ученого-литературоведа И. Виноградова. Он называет цифру в 50—60 миллионов человек. Хочу обратить внимание и на исследования американских советологов, которые подтверждают эту цифру. И я в ней глубоко убежден».

Но в данном случае как раз и получается, что А. Мильчаков и многие другие в е р я т в эту цифру, н е в е р я фактам, документам. Цифру 50—60 миллионов впервые назвали американские советологи, а уж затем она стала появляться в наших публицистических выступлениях.

Думается в связи с этим, что наши историки и широкие массы читателей получат возможность самостоятельно оценить те предположительные данные, которые приводятся отдельными зарубежными авторами. Тут имеется в виду, прежде всего, книга Р. Конквеста «Большой террор»*, вышедшая в 1968 году в Нью-Йорке, на которую ссылается С. Коэн в своем исследовании политической деятельности Николая Ивановича Бухарина. Цитируем С. Коэна: «...К концу 1939 года число заключенных в тюрьмах и отдаленных концентрационных лагерях выросло до 9 млн. человек (по сравнению с 30 тыс. в 1928 г. и 5 млн. (?!) в 1933-1935 гг. ...» (Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888-1938. — М.: Прогресс, 1988. — Стр. 407). Предложив читателю еще раз обратиться к таблице № 1 (стр. 23), приведем еще один подлинный архивный документ, долгие годы скрытый от наших современников (см. справку на стр. 25).

Особое право на оценки сталинских репрессий, но и тем более особая ответственность ложится на плечи тех, кто сам пережил холод и голод лагерей, смерть товарищей, беззаконие сталинского закона. После долгих лет ожидания советские люди получили возможность открыто читать «Архипелаг ГУЛАГ» (М.: Советский писатель — Новый мир, 1989). А. И. Солженицын пишет: «Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не довелось читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь достанется ли?... У тех, не желающих вспоминать, довольно уже было (и еще будет) времени уничтожить все документы дочиста». Да, Александр Исаевич, Вы провели в заключении тяжких одиннадцать лет, Вы смогли донести до нас боль и гнев своих товарищей, их муки совести и телесные страдания. Хочется поэтому сразу же сказать Вам: историю ГУ-

* Публикуется в журнале «Нева»

СПРАВКА
о численности осужденных
за контрреволюционные преступления и бандитизм,
содержащихся в лагерях и колониях МВД
по состоянию на 1 июля 1946 г.

	В лагерях		В колониях		Всего	
По характеру преступления	абс	%	абс	%	абс	%
Общее наличие осужденных	616.731	100	755.255	100	1.371.986	100
Из них за к/р преступления, в том числе:	354.568	57,5	162.024	21,4	516.592	37,6
Измена Родине (ст. 58-1)	137.463	22,3	66.144	8,7	203.607	14,8
Шпионаж (58-6)	12.405	2,0	3.094	0,4	15.499	1,1
Терроризм	7.391	1,2	2.038	0,3	9.429	0,7
Вредительство (58-7)	3.781	0,6	770	0,1	4.551	0,3
Диверсии (58-9)	2.509	0,4	610	0,1	3.119	0,2
К-р саботаж (58-14)	26.411	4,3	4.533	0,6	30.944	2,3
Участие в а/с заговоре (58-2,3,4,5,11)	26.099	4,2	10.833	1,4	36.932	2,7
А/с агитация (58-10)	85.652	13,9	56.396	7,5	142.048	10,4
Полит. бандит. (58-2,5,9)	5.937	1,0	2.835	0,4	8.772	0,6
Нелегальный переход гран.	2.655	0,4	1.080	0,1	3.735	0,3
Контрабанда	3.722	0,6	259	—	4.031	0,3
Члены семей измен. Родине	1.012	0,1	457	0,1	1.469	0,1
Социально-опасные элементы	6.382	1,9	1.323	0,2	7.705	0,6

Начальник ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР
Алешинский

Пом. начальника ОУРЗ ГУЛАГа МВД СССР
Яцевич

29 августа 1946 г.

ЛАГа написать можно, сохранились десятки тысяч подлинных архивных документов самого ГУЛАГа: жаль, что Вам не пришлось посмотреть их, приезжайте в Москву, эти документы ждут Вас.

Говоря об арестах, Вы пишете, что **в десятках миллионов случаев** арестов (выделено мною — А. Д.) сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его (т. 1, стр. 19). До арестов 1937-1938 гг. «был поток 29-30-го годов, с добрую Обь, протолкнувший в тундру и тайгу миллионов пятнадцать мужиков (а как бы и не поболе)» (стр. 34). «Но от миллионов, взятых тогда (1937-1938 гг.), никак не могли составить видные партийные и государственные чины более 10 процентов» (стр. 78). «Обратный выпуск 1939 года — случай в истории Органов невероятный..., около одного-двух процентов взятых перед тем — еще не осужденных, еще не отправленных далеко и не умерших» (стр. 83). Эти и ряд других неточностей легко могут быть устранены с помощью тех материалов, которые выявлены в ЦГАОР СССР. Дабы и у читателя не сложилось убеждение *в моей субъективности*, приведу еще один архивный документ:

2 декабря 1938 г.

Народному комиссару внутренних дел СССР

Согласно указания директивных органов, в конце 1937 и начале 1938 г. судебные органы провели пересмотр уголовных дел в отношении осужденных в 1934-1937 гг. колхозников и колхозно-сельского актива...

Согласно определению судов 14.793 чел. подлежали немедленному освобождению из-под стражи...

Несмотря на то, что с момента прекращения дел на указанных лиц прошло больше полугода, на 22.XI.38 не освобождено еще 2.661 чел.

...Прошу Ваших указаний о проверке причин неосвобождения из-под стражи лиц, согласно определений и постановлений судов.

О принятых мерах прошу поставить меня в известность.

Народный комиссар юстиции РСФСР
Дмитриев

Проанализируем информацию еще одной публикации по проблемам репрессий в 30-50-е годы. Кандидат философских наук В. А. Чаликова в статье «Архивный юноша» (Нева, 1988, № 10, стр. 154-158) приводит впечатляющие цифры. Цитируем: «Основанные на различных (?) данных подсчеты показывают, что в 1937-1950 годах в лагерях (почему-то только в лагерях! — А.Д.), занимавших огромные пространства, находилось 8-12 миллионов человек. Если мы из осторожности примем меньшую цифру, то при норме лагерной смертности 10 процентов (тоже полученной путем разных подсчетов) — это будет означать двенадцать миллионов погибших за четырнадцать лет. С миллионом расстрелянных «кулаков», с жертвами коллективизации, голода и послевоенных репрессий это составит не менее двадцати миллионов».

Подготовленный художественной литературой и публицистикой читатель готов поверить автору, и он, конечно же ужаснется, прочитав эти строки: количество погибших в годы репрессий (причем В. А. Чаликова почему-то не дает своих «подсчетов» за 1950-1953 гг.) почти равняется потерям советского народа в годы Великой Отечественной войны! Вот так, не более и не менее!

Вновь обратимся к архивам и к таблице № 1. Вычитая из общего количества заключенных число освобождавшихся ежегодно по окончании срока наказания или по другим причинам, можно сделать вывод: в исправительно-трудовых лагерях в 1937-1950 гг. побывало 8.803.178 миллионов человек. А если следовать логике рассуждений В. А. Чаликовой, надо признать, что в лагерях в общей сложности побывало более 110 миллионов человек. В связи с этим, необходимо еще раз напомнить, что далеко не все заключенные были репрессированы по политическим мотивам. Если подсчитать количество арестованных по статье 58, то получится, что в исправительно-трудовых лагерях за 1937-1950 годы побывало «лишь» около двух миллионов человек. Два миллиона — много это или мало? Конечно же, много, но кому-то это кажется мало, и они доводят цифру до 110 миллионов.

Далее В. А. Чаликова утверждает, что в среднем смертность в лагерях достигала 10 процентов и умерло 12 миллионов человек. Действительно, положение заключенных в лагерях было очень тяжелым. Но значит ли это, что ежегодной смертностью в лагерях было охвачено 10 процентов заключенных?

Вновь обратимся к архивам. В 1937-1938 гг. смертность в лагерях составляла 5,5-5,7 процентов, в 1939 году она сократилась до 3,29 процентов, в 1945 году — до 0,46 процентов, а в 1946 — до 0,16 процентов. Думается, что приведенные здесь данные позволят читателям самостоятельно сделать вывод о достоверности сведений, сообщаемых В. А. Чаликовой подписчикам журнала «Нева». Нельзя поэтому не согласиться с А. И. Солженицыным, который отмечает в «Архипелаге...»: «Мы помним не быль, не историю, — а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением» (стр. 292).

Хорошо понятен и объясним интерес советских людей к трагическим страницам своей истории, но некоторые сегодняшние публицисты, явно злоупотребляя этим интересом — интересом к подлинной правде — пытаются на место одной полуправды поставить другую, называя это современным прочтением истории. В связи с этим хочется не только процитировать, но и подписаться под строками из статьи Т. А. Бордюгова, В. А. Козлова и В. Т. Логинова: «Слишком часто в последнее время наша историческая публицистика становится похожа на уроки арифметики, где ученики с сосредоточенным усердием подгоняют решения к заранее известным ответам. Такая послушная история в своей основе мало чем отличается от послушной истории Сталина. И уж в любом случае послушная история внушает обществу мысль о послушности будущего, и тогда уже история не дает ответов на сегодняшние вопросы»

(Коммунист, 1989, № 14).

О роли средств массовой информации в формировании объективного общественного мнения по отношению к тем или иным историческим событиям говорилось немало. Главное, как мне представляется, не дать увлечь себя стремлением отдельных авторов заполнить «белые пятна» нашей истории новыми и необычными конструкциями, не всегда подкрепленными проверенными фактами. Показателен в этом отношении разговор в редакции одной из молодежных газет, куда я обратился с предложением опубликовать некоторые данные, которые приводятся в настоящей статье.

— А откуда у Вас эти материалы? Ведь мы знаем о миллионах расстрелянных и десятках миллионов заключенных!

— Данные взяты из архивов, ранее они не публиковались. А откуда Вы получили информацию о десятках миллионов заключенных?

— Из публикаций Р. А. Медведева, В. А. Чаликовой, В. А. Антонова-Овсеенко

— Вот я и предлагаю читателям Вашей газеты познакомиться с архивными материалами и решить, что же является более близким к истине, сравнить мои данные и данные других авторов.

— Мы подумаем

Размышления молодежных журналистов длятся по сей день.

Историческая правда может быть только одна и приблизиться к ней нам позволят лишь подлинные документы. Заинтересованный читатель может ознакомиться с небольшой частью таких документов в интервью кандидата исторических наук В. Н. Земскова еженедельнику «Аргументы и факты» (1989, № 45). Однако В Н. Земсков дает лишь фрагментарную картину репрессии, ограничивая свои данные 1947 годом и рассматривая при этом не всю систему ГУЛАГа, а цитируя отдельные документы по некоторым направлениям деятельности исправительно-трудовых лагерей Мне же представляется необходимым дать, по возможности, наиболее полную картину событий, происходивших в ГУЛАГе, опираясь в числе других и на документы самого ГУЛАГа. Проверяя правильность своих выкладок, приведенных в таблицах 1 и 2, хочу предложить вниманию читателей копию докладной записки, направленной в 1954 году Н. С. Хрущеву

Задавшись вопросом: а имеются ли какие-либо сводные данные о репрессиях в документах самого ГУЛАГа, удалось обнаружить еще одно сообщение:

6 августа 1955 г.

Начальнику ГУЛАГа МВД СССР генерал-майору Егорову С. Е.

Всего в подразделениях ГУЛАГа хранится 11 миллионов единиц архивных материалов, из них 9,5 миллионов составляют личные дела заключенных .

Начальник секретариата ГУЛАГа МВД СССР майор

Подымов

Проведем небольшой сравнительный анализ этих документов и данных таблиц в начале статьи. Итак: всего, по данным секретариата ГУЛАГа, в системе исправительно-трудовых учреждений побывало 9,5 миллионов человек, но годом раньше в ЦК КПСС сообщается другая цифра — 3.777.380 человек. Нет ли здесь несоответствия? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним, что в 20-е годы сложилась система наказания, предусматривающая наличие в нашей стране двух видов лишения свободы: общие места заключения (колонии) и исправительно-трудовые лагеря. В основу такого деления был положен срок наказания, то есть степень социальной опасности (по меркам того времени) правонарушителя. При осуждении на малые сроки наказание отбывалось в общих местах заключения — колониях, а при осуждении на срок свыше 3 лет — в исправительно-трудовых лагерях, к которым в 1948 году добавилось несколько особых лагерей

Анализируя статью В. А. Чаликовой, мы уже сделали вывод о том, что до 1950 года в лагерях побывало 5,6-5,8 миллионов человек, из них около двух миллионов — по политическим мотивам Еще раз возвратившись к таблице № 1, можно получить общее число заключенных, прошедших исправительно-трудовые лагеря — эта цифра будет равняться 11,8 миллиона человек. Вычитая далее из этого количества заключенных-уголовников, можно приблизиться к ответу на вопрос о репрессированных по политическим мотивам: 2-2,3 миллиона человек. Хочется подчеркнуть при этом определенную долю условности в наших подсчетах: ряд статей уголовного кодекса можно квалифицировать как преследование по надуманным причинам — к числу таких статей можно отнести Закон от 7 августа 1932 года. Чтобы иметь общее представление о масштабах уголовных наказаний по этому закону, приведем несколько цифр: в частности, в 1936 году по этому закону было осуждено 126.616 человек, из них пересмотрены приговоры на 122.763 человека. По итогам работы по уголовным делам на 23.934 человека (19,5 процентов) приговоры оставлены в силе, по уголовным делам на 98.375 человек (80,1 процентов) приговоры переквалифицированы на другие статьи уголовного кодекса, а из них 40.789 человек освобождены

Теперь о том, что происходило во второй крупной части системы ГУЛАГа — в исправительно-трудовых колониях, о которых публицисты почему-то предпочитают помалкивать. Вернувшись к нашей таблице № 1, пользуясь таким же методом подсчета, которым мы пользовались при рассмотрении ситуации в исправительно-трудовых лагерях (то есть вычитая из общего количества заключенных тех, кто находился там за уголовные преступления), а также имея в виду, что в среднем в исправительно-трудовых колониях находилось 10,1 процентов осужденных по политическим мотивам можно получить предварительную цифру за весь рассматриваемый период 30-х — начала 50-х годов 1,1-1,3 миллиона человек **Таким образом, опираясь на приведенные данные, можно сделать вывод: в годы сталинизма по политическим мотивам было репрессировано 3,6—3,7 миллиона человек**

Это, естественно, не означает попытки как бы оправдать сталинизм преуменьшением его преступлений. И того, что уже известно об этом страшном явлении в истории нашей Родины, что подтверждено документами, с лихвой достаточно для исчерпывающей политической и человеческой оценки сталинизма. И не надо делать его страшнее, чем он был на самом деле, иначе трагедия станет похожей на фарс

Затронутые вопросы еще далеки от окончательного решения, они требуют привлечения новых исторических источников, их тщательного анализа и сопоставления с тем, чтобы максимально приблизиться к исторической правде. Давайте уважать наших современников, а это невозможно без уважения и истинного знания нашего прошлого. Только тогда яснее определятся контуры нашего будущего.

1 февраля 1954 г. **Секретарю ЦК КПСС товарищу Хрущеву Н. С.**

В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном осуждении за контрреволюционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами и в соответствии с Вашим указанием о необходимости пересмотреть дела на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и ныне содержащихся в лагерях и тюрьмах, докладываем: за время с 1921 года по настоящее время за контрреволюционные преступления было осуждено 3.777.380 человек, в том числе к ВМН — 642.980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже — 2.369.220, в ссылку и высылку — 765.180 человек.

Из общего количества осужденных, ориентировочно, осуждено: 2.900.000 человек — Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и Особым совещанием и 877.000 человек — судами, военными трибуналами, Спецколлегией и Военной коллегией.

...Следует отметить, что созданным на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 года Особым совещанием при НКВД СССР, которое просуществовало до 1 сентября 1953 года, было осуждено 442.531 человек, в том числе к ВМН — 10.101 человек, к лишению свободы — 360.921 человек, к ссылке и высылке (в пределах страны) — 57.539 человек и к другим мерам наказания (зачет времени нахождения под стражей, высылка за границу, принудительное лечение) — 3.970 человек...

Генеральный прокурор Р. Руденко
Министр внутренних дел С. Круглов
Министр юстиции К. Горшенин

ДУГИН Александр Николаевич родился в 1944 году в Москве, в рабочей семье
Свою трудовую деятельность начал в 18 лет подсобным рабочим, служил в Воздушно-десантных войсках. Окончил Московский государственный историко-архивный институт В настоящее время – сотрудник Высшей юридической заочной школы Является автором нескольких публикации по истории органов внутренних дел. Кандидат исторических наук

ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ БУДУЩЕЕ?

«Есть ли у России будущее», «Письмена тюремных стен», «Неизвестное о гибели Есенина» — таким оказался круг вопросов, затронутых на продолжавшейся более четырех часов встрече редакции журнала, авторского коллектива с читателями в Клубе политической книги на Цветном бульваре в Москве, состоявшейся в феврале этого года. Перед читателями выступили писатели Л. И. Бородин и Б. Ф. Споров, доктор искусствоведения, лауреат Государственной премии СССР Г. К. Вагнер, поэт, лауреат Государственной премии РСФСР В. В. Сорокин, член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской премии И. Р. Шафаревич, скульптор, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР В. М. Клыков, поэтесса и переводчица Н. К. Сидорина, критики и литературоведы В. И. Калугин, В. С. Бушин, В. Г. Бондаренко, Д. Н. Меркулов.

Вечер вел главный редактор журнала А. В. Ларионов, предложивший построить встречу в форме ответов на записки из зала. Их поступило множество от собравшихся в зале почти двух тысяч читателей, большую часть из которых составляли подписчики «Слова». Многие из этих вопросов и ответов представляют немалый интерес, касаются самых чувствительных, болевых точек современной политической, духовной, религиозной жизни общества.

Доктор искусствоведения **Г. К. Вагнер** поделился своими воспоминаниями о Колыме, где он провел десять лет за попытку спасти Сухареву башню (см. «Слово» № 10, 12, 1989)

Подлинное возрождение, по мнению Г. К. Вагнера, невозможно без глубоких планомерных шагов по восстановлению христианской веры через воскресные школы, семейное воспитание. Поскольку именно в православии — основы нравственности, духовной культуры народа. Христианство, пришедшее на Русь из Византии, дало могучие, яркие плоды, почвой которых отчасти послужило язычество, которое, однако (даже античное) вело в исторический тупик, не могло составить почвы для исторического развития. Представление о Боге в античной Греции было внеличностным, Бог воспринимался как нечто абстрактное, нечто невыразимое, Бог — космос. Представление о личности, о личной совести в греческой культуре сложиться не могло, вместо совести господствовала идея сильной личности, которой дозволено все. Появление совести, появление свободы воли связано с личностным представлением абсолюта, и наивысшим выражением такого представления явилось христианство. Как писал Гете: «Выше того света, который светит в Евангелиях, человечество не поднимется...»

Евангельские заповеди вошли в европейское и древнерусское сознание с некоторой разницей, у православных с уклоном, так сказать, в природу, поэзию, у католиков — с уклоном в рационализм, что имело большое значение. Западное католическое христианство пережило эпоху Возрождения, которой у нас не было, эпоху рационализма, которой у нас также не было, разве только при Екатерине II немножко заигрывание с вольтерьянством, но зато потом Европа пошла по наклонной плоскости вниз через философию Ницше, через возвращение к языческой древнегерманской мифологии и к философии Розенберга. В России этого не было. В России был плотный щит, состоящий в отсутствии такого субъективизма, состоящий в соборном мировоззрении, носителем которого в первую очередь была, конечно, церковь.

Вопросы скульптору В. М. Клыкову (см. «Слово» № 5, 1989; № 2, 1990): Вы же интеллигентный человек и, видимо, понимаете, что религиозность и русский патриотизм — разные вещи!

— Я не призываю и не агитирую за религию, это дело свободы совести каждого. Но церковь призывает к любви к ближнему, к дому своему и Отечеству..

Говоря о России, Вы имеете в виду только русских!

— Нет! Якуты, татары, чуваши за века российской истории стали полноправными составными единого исторического тела России.

Есть ли будущее у России!



Встреча с читателями. В центре И. Шафаревич.
Фото ПАВЛА КРИВЦОВА

— Такая постановка вопроса является в наше время просто риторической, более того, в самой постановке этого вопроса уже есть неуверенность в будущем России. Скажите, пожалуйста, как можно думать иначе о народе, перенесшем такие тяготы и испытания, благодаря которому мы и сидим сейчас за этим столом... Более того, с нами Русская православная церковь. Наконец, с нами Триединая Единосущная Троица, созерцанием которой, по словам преподобного Сергия Радонежского, побеждается ненавистная рознь мира сего. Может ли такой народ и его страна не иметь будущего? Россия всегда будет жить, как жила до этого тысячи лет.

Вопросы А. В. Ларионову: Почему для публикации в «Слове» выбрана «Жизнь Иисуса» Э. Ренана?

— Возможности журнала, его объем очень ограничены, поэтому редакция стремилась к тому, чтобы дать целостное знание о жизни Христа людям, которые в течение более семидесяти лет были лишены этой возможности. Поэтому был выбран труд универсальный, получивший всемирную известность, изданный во многих странах, более того — написанный популярно, для широких кругов. Верующие же имеют возможность получить необходимые знания из первоисточника, в церкви.

Ваш журнал недавно критиковался среди других изданий за публикацию неканонических материалов о Ленине.

— Некоторые идеологи застоя, создававшие «монумент» из Ленина, спешно перестроившись, обвиняют нас невесть в чем... Но еще в 1932 году на все эти обвинения ответила Крупская статьей, в которой говорилось, что не надо делать из Ленина «икону», что в нем было все... Не случайно эта статья была сразу же запрещена Сталиным, создававшим культ Ленина. Так что и здесь, как и во всем, давайте отличать историческую правду от лжи и кощунства. Россия — страна в известном смысле безжалостная. Это у нас еще при Никоне выкалывали глаза на святых иконах. Без каких-либо крайностей, но все же пора освобождаться от власти кумиров. Без этого мы не сможем свободно дышать, рассуждать, думать... Не говоря уже и о том, что мы все должны научиться уважать даже и не совпадающее, скажем, с мнением редакции журнала мнение, если это приближает нас к истине. Мы не можем подчас выслушать даже родного человека. Это — болезнь, избавиться от которой необходимо, как бы трудно это ни было...

Вопросы Л. И. Бородину (см. «Слово», № 10, 1989): Судя по Вашей судьбе, Вы должны быть среди «левых», а не среди «правых»?

— Что касается «левых» и «правых», то это сейчас все сложилось так определенно... Я бы не стал говорить, что все, кто «налево» — прохвосты, мерзавцы, люди со злыми намерениями. Нет, я сидел в лагерях с этими «левыми» и могу уверенно засвидетельствовать, что среди них есть люди глубоких, искренних убеждений, которых я не разделяю, но это не подлецы, не мерзавцы, это люди, у которых убеждения сложились в силу тех или иных причин так, а не иначе... Может быть, стоит смотреть немножко иначе на наших оппонентов?..

Что касается лично меня, то вот смотрел я по телевидению как выступал сталинист Шеховцов... С этим человеком у меня нет ничего общего. Сколько-то лет назад он, могу это предположить, хорошо бы мне добавил срок... Но этого человека я мог бы вызвать на дуэль. Убить или быть убитым. А вот с Коротичем в «позиции» я себя не представляю...

Или поэт моей юности — Евгений Евтушенко. Я и сейчас знаю много его стихов наизусть... Но каждый раз, когда у меня в камере изымали стихи, каждый раз, когда после этого «оперативник» проводил со мной соответствующую беседу, мне говорили: «Вон, Женька! Ну, попрыгал, попрыгал... Пишет! Нормальный человек, ездит на Запад». После таких профилактик мне уже очень трудно быть, например, в объединении «Апрель»...

Я не скажу, что там все плохие люди, нет, есть талантливые, всякие. Но вот я смотрел выступление Евтушенко в «Апреле», когда у него были какие-то неприятности. Меня поразило даже не то, что он говорил, всегда, когда человек в эмоциях, он не очень логичен. Меня поразила ярость, с какой он говорил, фанатизм...

Поэтому, когда говорят о фашизме... Фашизм есть в любом фанатизме, слева это или справа. Предсказывают, что в связи с тем, что я публикуюсь в «Нашем современнике», на меня могут быть гонения, обвинения во всех смертных грехах... Они и до этого были. Я и в диссидентстве был «правым». Клеймили меня и Синявский, и Янов, и Ричард Пайпс... Так что быть «правым» мне не привыкать.

Вы чувствуете себя победителем? Ведь Вы оказались правы.

— Слишком дорогой оказалась цена. Одиннадцать лет лагерей... Нет, я не чувствую себя победителем.

Вопрос поэтессе Н. Сидориной (см. «Слово», № 10, 1989): Есть ли новые данные, подтверждающие вашу версию о смерти Сергея Есенина?

— Против Сергея Есенина пытались использовать ярлык «черносотенца» и «националиста», а его друг Алексей Ганин был расстрелян в 1925 году по обвинению в принадлежности к «русской фашистской партии». Основные общелитературные факты я изложила в статье. Лишь усилиями следователей-профессионалов можно довести до конца новое расследование обстоятельств гибели Есенина. Официальная точка зрения, утвержденная на крови поэта, имеет глубокие корни, ведь написана масса книг, обосновывающих версию самоубийства. Не изжит, как это ни странно, до сих пор и страх вокруг этого дела...

Вопрос писателю Б. Ф. Спорову, автору повести о лагерях хрущевской «оттепели» «Письмена тюремных стен» (см. «Слово», № 2, 1990): О призывах к какой крови и лозунгах «демократов» вы говорите?

— Кто же в таком случае призывает к новому Февралю, к штурму Лубянки и т. п.? Это что же, бутерброды будут разносить или автоматы? Я думаю, это самые настоящие призывы к крови, и не надо строить воздушных замков... Что же касается академика Сахарова, то он всегда находился под защитой водородной бомбы, которую создавал, а ваш покорный слуга, будучи двадцатидвухлетним слесарем, выступил на рабочем митинге и сказал, что протестует против ввода войск в Венгрию в 1956 году, за что и срок получил...

Наибольшее количество вопросов было задано члену-корреспонденту АН СССР И. Р. Шафаревичу (см. «Слово», № 11, 1989; № 1, 1990). Перед его выступлением Л. И. Бородин рассказал:

— Маленькая деталь. В 1983 году следователь, который вел мое дело, в заключительном своем слове при подписании 201 статьи, говорил мне, что еще не поздно раскаяться, и прочее, и прочее... И добавил: имейте в виду, все кончено, либерализм кончен. Будем сажать. Я могу вам сказать, кто следующий — Шафаревич.

— В нескольких записках, — отметил И. Р. Шафаревич, — задается один вопрос, — что я думаю о том, что происходит сейчас, о сегодняшнем дне?

Коротко говоря, — впечатление такое, как будто встречаешься в жизни с увиденным во сне в виде кошмара. Еще лет двадцать назад многие люди, не я один, начали ощущать возможность этого кошмара. Стало ясно, что сложившаяся у нас в стране система перспектив не имеет. Она окаменела, омертвела, не может отвечать на запросы жизни, разве только иррациональными актами вроде войны в Афганистане. Речь идет не о ее конце, он предрешен. Вопрос о том, что будет после этого. У разных людей, не только у меня, начал вырастать образ Февральской революции. Как писал уже в изгнании

Солженицын об одном течении — «разгрохают страну в новом Феврале». И вот сейчас эта опасность реализуется. Такое впечатление о сегодняшнем дне.

Что я под этим подразумеваю? Февраль, мне кажется, это не какой-то даже период нашей истории, а некий элемент, который присутствует почти в каждом громадном историческом кризисе. Особенность его вот в чем — опасность не в том, что какие-то люди рвутся к власти, это было бы полбеды... Особенность этого явления заключается в том, что к власти рвутся люди, по биографиям, по программам которых видно, что они никакого представления о том, что такое власть, что такое жизненные реальные проблемы, понятия не имеют. В этом сценарии кризиса их роль, может быть, субъективно людей либо честолюбивых, либо думающих со своей точки зрения принести пользу, но объективно их роль в том, чтобы уничтожить те структуры, которые каким-то образом сцепляют страну, благодаря которым народ может действовать как одно целое, хотя это может происходить по-разному — и во зло, и к добру... Но во всех случаях остается громадная сила народа, который действует как одно целое. Когда уничтожается то, что скрепляет народ, он парализуется и становится жертвой таких мелких групп, о которых потом недоумевают историки, как несколько тысяч человек могли оперировать судьбой грандиозного народа. Решает вопрос — какая группа склонна на более радикальные действия, как говорят, на насилие, не ограниченное никаким законом...

Мне кажется, что мы попали в какую-то ловушку, нам предписаны какие-то законы, правила игры, которые мы никак не выбирали, которые не наши, в которых наш проигрыш более или менее предрешен... Еще год назад, на других выборах никто не обсуждал, никто нас не спрашивал, как эти выборы должны быть организованы... а теперь нам в рамках этой игры предоставлена полная свобода, но правила таковы, что победа наша, по-моему, просто не предусмотрена. Например — получаю в на квартиру письмо. Три абсолютно неизвестные фамилии... Подписано — товарищи Ельцин, Попов рекомендуют голосовать за этих товарищей... То есть это тот же самый «нерушимый блок коммунистов и беспартийных», только там списки составлялись в обкомах, райкомах, а здесь они создаются в каких-то кабинетах, которые нам неизвестны... Мы здесь столкнулись с еще одним уроком — что-то разрушить — самая еще маленькая задача. Несравненно более сложная задача — чем же это заменить...

Возможность найти выход есть. Есть наука социология, есть методы исследования общественного мнения, есть варианты выделять маленькие коллективы хорошо знающих друг друга людей, которые могут выбрать человека по знаниям, или выбирать всенародно, но людей, которых можно хорошо узнать по их делам, а не по программам... Трагедия в том, что распад страны идет гораздо более быстрым темпом, тут происходит гонка, и вот успеем ли мы или не успеем, это и есть тот кошмар, который меня преследует.

Ваше отношение к академику Сахарову?

— Это был очень русский человек. У Андрея Дмитриевича было какое-то больное сердце, оно реагировало прежде всего на то, что ему казалось насилием над человеком. Он мог в этом не разобраться, его могли неправильно ориентировать, он мог защищать тех, кто страдал гораздо меньше, забывая о тех, кто больше. Но в основе было, что несправедливость касается лично его. В то время было очень мало людей, которые так поступали. Те, кто близок к моему возрасту, меня поймут, а тем, кто моложе — я хочу сказать — надо быть снисходительнее к нашему поколению. По нам прошел такой невероятный каток, что, конечно, все мы в какой-то степени потерянное поколение.

Сахаров был далеко не один. Причем он был только сослан в Горький, а генерал Григоренко годами сидел в психиатрической больнице, одно время с агрессивным больным, который на почве психоза ревности убил свою жену. Раз в полгода Григоренко проходил «переосвидетельствование», каждый раз отвечая — «мои убеждения не перчатки, чтобы их менять».

В ту эпоху мы все были разъединены, друг о друге ничего не знали, знали лишь о маленьком кружке людей вокруг и содержание прессы. Возникало страшное подозрение — может быть действительно эти страшные годы в народе истребили все, что было честное, индивидуальное, всех тех, кто был, как Аввакум, как наши предки... В этом смысле эти люди, не их платформы (платформа Григоренко казалась мне в высшей степени наивной и неубедительной), но их наличие было большой подпорой.

Конечно, в последнее время происходит какая-то и для меня печальная иконизация Сахарова, которая на самом деле принижает его индивидуальность. То же самое происходит и с Пастернаком, поэтом, который написал «Быть знаменитым некрасиво»... Это не невинная безвкусица, а продолжение того же самого — людям нужно встать перед кем-то на колени. Это культовое мировоззрение, которое осуществляют те люди, которые тогда, в те же годы прониклись им (к ним нужно иметь снисхождение). А хуже, что они приучают к этому уже и молодежь.

Низкая культура, узость интересов, отсутствие интеллигентности, как много упущено, зажато и уничтожено, ответом часто являются либо глухота, либо взрывы антисемитизма. Мне кажется бесплодным, ненужным разговор о русофобии. Кому и что мы хотим этим доказать?

— В какой-то мере, конечно, основной задачей русской мысли должно быть понимание, осмысление того, что с нами происходит и смысла нашей истории, невероятных уроков, которые в нашей истории заложены, чтобы использовать этот опыт в будущем.

А что касается русофобии — вот еще записка (в ней излагается содержание статьи академика В. И. Гольданского в «Вашингтон пост» об угрозе перестройке и миру русского «монархонацизма» Статья с ответом доктора философских наук Э. Ф. Володина перепечатана в газете «Советская Россия» 7 апреля этого года — Ред.). Я много думал на эту тему, когда писал статью «Русофобия»... О ком я думал? Прежде всего о нашей молодежи, которая растет в твердом убеждении, что русская история есть сплошной мрак. И есть некая светлая, прямая, единственно возможная линия, которую нашел Запад, от которой русские либо до бесконечности удалились, либо просто по национальным качествам она для них невозможна, и они обречены на безысходность. С такой психологией жить нельзя, а она распространяется все больше и больше... Если на это не возражать, молчание принимается за знак согласия. А такое мировоззрение является духовной смертью народа. Если бы это были обвинения во вред лично мне, я мог бы перетерпеть, но когда это касается народа, то ведь жалко же нам его, мы чувствуем, что он нас создал, но ведь и мы же чем-то ему обязаны...

Чудом является не наша бездуховность и некультурность, а то, что мы вообще существуем духовно, потому что мы находились под таким прессом, который по всем материальным расчетам не должен был оставить ничего от нас, и то, что у нас в стране под этим прессом творил великий комозитор Шостакович, который описал в музыке тот апокалипсис, который мы тогда переживали, то, что после этого писал Солженицын, необычайной, нежной красотой пронизаны произведения Белова, что создана высочайшего трагизма «Матера» Распутина, которая, по моему мнению, стоит на уровне греческих трагедий по своей красоте — вот это было чудом, чудом, которое в каком-то смысле опровергает материалистический взгляд на историю, потому что по всем материальным расчетам этого существо-

вать не могло...

Как вы относитесь к идее русского коммунизма?

— Так же, как к идее горячего снега!

Порой все-таки кажется, что все безнадежно и лозунг «Россия без русских» возьмет верх. Уже сейчас многие считают, что нам не дадут открыть рта, что никакого возрождения России не надо, что России — нет.

— Я уже говорил, я — оптимист, но знаете, я не хочу скрыть того страха и того ощущения какого-то рокового момента, который мы переживаем. По-моему, только понимание этого может дать сверхсилы для решения сверхзадачи, которая перед нами стоит. И вот тут я разрешу себе поспорить с Вячеславом Михайловичем Клыковым. Может ли Россия погибнуть? Есть ли у России будущее? Но вот была прекрасная православная Византийская империя, откуда мы заимствовали православие и два раза в каком-то смысле, второй раз — силы для нового возрождения, из прекрасного, глубочайшего течения исихазма возникло у нас и течение Сергия Радонежского, и заволжских старцев... И верили там в единую Троицу, но погибли под турецкими ударами, перестали существовать. Увы, народы рождаются, и народы живут, и народы умирают. Это относится и к России. И как этот новый момент переживет Россия, зависит от нас, и ощущение страшности этого момента должно у каждого быть, оно должно быть направляющим в жизни каждого из нас.

Тревога за судьбы России звучала во многих записках. В одной из них читатель из Обнинска пишет: «Если вас не затруднит, раздобудьте, пожалуйста, весьма занятную книжицу: А. Манаков «Апостолы двуликого Януса» (очерки о современной Америке). Москва, Политиздат, 1986. А затем внимательно прочитайте страницы 191 и 192». Редакция раздобыла эту книгу и внимательно прочитала эти страницы, которые тоже показались нам весьма и весьма занятными. А потому мы решили воспроизвести их без сокращений:

«Перебирая как-то старые журналы в нью-йоркской антикварной лавке, я наткнулся на одну сразу же заинтересовавшую меня обложку. Американский солдат в полном походном обмундировании стоит с винтовкой наперевес у карты Советского Союза. На месте Москвы воткнут флажок с надписью «Штаб оккупационных войск». Сверху карты надпись покрупнее — «Поражение России, ее оккупация. 1952—1960 годы». У меня в руках оказалась одна из реликвий «холодной войны», — журнал «Колльерс» от 27 октября 1951 года.

Номер сугубо тематический. Мобилизовав асов журналистики и военных экспертов, редакция попросила их обрисовать наиболее вероятный сценарий третьей мировой войны. С условием — статьи должны быть «простыми, откровенными, хладнокровными, фактическими и без всякой сенсационной фантазии». Выполнено ли это условие? Давайте посмотрим.

Если следовать сценарию, война должна была начаться 14 мая 1952 года: поднявшись с аэродромов Англии, Франции, Италии, Японии и Аляски, бомбардировщики сбросили атомные бомбы на наиболее важные военные и промышленные объекты Советского Союза. (Война якобы была спровоцирована «агрессивностью русских», в данном случае — экспансией СССР на Балканах). Затем над советской территорией сбрасывались с воздуха миллионы листовок, тысячи агентов спускались на парашютах для ведения саботажа и разрушения коммуникаций. После предупреждения, передававшегося несколько дней радиостанциями «Голос Америки», «Свобода», «Свободная Европа» и Би-би-си, в полночь 22 июля атомную бомбу сбросили над Москвой (опубликованный в журнале «наиболее вероятный репортаж» с борта американского бомбардировщика сопровождает рисунок ядерного взрыва недалеко от Кремля).

Памятуя о судьбе Наполеона и Гитлера, как хладнокровно признаются авторы сценария, проникновение вглубь России сухопутных войск предпринято на завершающем этапе войны в 1954 году, когда Советская Армия уже практически, по сценарию, разгромлена. Под контролем штаба оккупационных войск и «флагом ООН» в Москве образовано временное правительство, начался период «перестройки России». Из-за границы вернулись «перебежчики-интеллектуалы» и тут же принялись за распространение среди населения наставления «Как надо понимать историю России с 1917 по 1955 год». В киосках появились американские газеты и журналы на русском языке. Процветала лотерея, хотя страна еще в развалинах. Театр Советской Армии переименован в Театр Нового Света, где ставится привезенный из Нью-Йорка музыкальный водевиль «Парни и девушки». Большой театр, оказавшийся слишком близко от эпицентра взрыва, отстраивается заново. Ленинград переименован в Петроград.

В Москве начала выходить русская газета «Светоч мира», на первой полосе которой печатаются воспоминания о любовных похождениях голливудской актрисы Денни Джеймс. Советское радио, перестраивающееся по образцу Би-би-си, хотя и названо «свободным радиокомитетом» действует под строжайшим надзором оккупационных войск. Для удобства и легкости восприятия населению розданы миниатюрные радиоприемники, настроенные на волну только «Голоса Америки». Перестройку телевидения решили отложить на более поздний срок по финансовым соображениям.

«До тех пор пока не будет подготовлен класс предпринимателей, промышленностью должно руководить временное правительство,— отмечалось в вымышленном репортаже из Москвы 1955 года. — Позднее заводы можно передать в частное владение, как в Пуэрто-Рико. Некоторые же отрасли продать или сдать в аренду иностранным бизнесменам сразу.

На правах других членов ООН Россия станет частью мировой экономики».

Во вступительной статье редактор журнала, правда, пояснил, что не считает войну неизбежной, что это целиком зависит от Советского правительства, которое должно изменить свою политику. В противном случае Запад полон решимости воевать и одержать победу. Иными словами, этакая апелляция к здравому смыслу в форме плохо скрываемого ультиматума.

Треть века минуло после предпринятой редактором «Коллье**р**с» журналистской авантюры на грани шизофрении.

Хотя в период «холодной войны» немногим американцам такая идея казалась совсем уж бредовой, с тех пор времена изменились, изменились и люди. Перестал существовать и журнал «Колльерс», когда-то выходивший многомиллионным тиражом. Сегодня этот же сценарий третьей мировой войны, мне думается, вызвал бы у американцев лишь усмешку и негодование. Но вот у всех ли?

По сообщениям лондонского Международного института стратегических исследований, подготовленный Пентагоном еще в 50-х годах «объединенный чрезвычайный план ведения войны» и «единый интегрированный оперативный план» продолжают оставаться в силе и сейчас, лишь в несколько модифицированном варианте».

Такова «информация для размышления», которую хотел донести до нас читатель...

Завершая встречу, А. В. Ларионов поблагодарил присутствовавших за пожелания, в том числе и критические, в адрес журнала. Откровенность и правдивость, царившие на вечере, заинтересованность читателей и редакции в «обратной связи» и натолкнули на мысль завести постоянную рубрику в журнале «Записки из зала». Редакция надеется и в будущем регулярно рассказывать читателям о подобных встречах и отвечать на записки.

Обзор подготовил А. ТИМОФЕЕВ

Федор Дмитриевич ПОЛЕНОВ, виук художника В. Д. Поленова, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза писателей СССР. До 1960 года служил в Военно-морском флоте. После демобилизации — директор Государственного историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова. Автор книг очерков и рассказов «Теплые края», «За открытой дверью», «У подножия радуги», вышедших в Приокском книжном издательстае и «Современнике». Автор фотоальбомов о Музее-заповеднике В. Д. Поленова, вышедших в «Советской России», «Планете», «Художнике РСФСР». В этом году издательство «Планета» выпускает новый фотоальбом, посвященный столетию Музея-заповедника.
В этом году Ф. Д. Поленов избран народным депутатом РСФСР.
Редакция публикует новеллу Федора Поленова из новой книги, готовящейся к изданию в Приокском книжном издательстве.

ФЕДОР ПОЛЕНОВ

ПОДВИГ ЖИЗНИ

Размышляя о путях отечественного просветительства, о роли и судьбах в нем русской интеллигенции, не приходишь к однозначным выводам: слишком уж обширна тема, велики масштабы проблемы. И во времени и в пространстве. Но несомненны два качества: служение идеалам добра и справедливости, высокому искусству, переходящее временами в самопожертвование. И традиционность. Примеров тому много в истории русской культуры. Один из наиболее показательных — поленовская просветительская традиция, насчитывающая около двух с половиной столетий: начало ее — в середине XVIII века.

Основоположником ее принято считать Алексея Яковлевича Поленова — «первого российского эмансипатора», автора проекта освобождения крестьян от крепостной зависимости, которое, по его мнению, должно было сопровождаться разделом помещичьих земель, увеличением и расширением крестьянского землепользования и введением в России всеобщей грамотности. К этому интересному документу, датированному 1766 годом и снабженному девизом «plus bonae mores valent, quam bonae leges» («хорошие нравы лучше хороших законов»), общественное мнение вернулось лишь через сто лет, после отмены крепостного права, когда характеристика его Поленовым как «рабовладельчества» и «бесчестного торга человеческой кровью» обрела, наконец, права гражданства. Алексей Яковлевич Поленов, командированный Ломоносовым за границу для учебы в университетах Геттингена к Страсбурга, был первым русским юристом (ученым-законоведом) с высшим образованием. Кстати, им же в XVIII веке была предложена идея родового герба, который до сих пор во всех изданиях служит символом поленовского музея: две молодые ветви, идущие вверх от мощного пня дуба, сломанного бурей. Идея этого, вовсе не традиционного, герба символична: новое жизненное начало на мощной основе, питаемой соками родной земли.

Прадед Поленова по материнской линии, известный архитектор академик Львов так же служил высокому искусству, идеалам добра и справедливости. Близкий друг поэтов Капниста и Хемницера, художников Левицкого и Боровиковского, Львов был душой державинского кружка. «Он был исполнен ума и знаний, любил науки и художества и отличался тонким и возвышенным вкусом. Люди, словесностью и художествами занимающиеся, прибегали к нему на совещание и часто приговор его превращали себе в закон», — писал о своем друге Гавриил Романович Державин.

Но самой яркой фигурой из рода Поленовых считается — Василий Дмитриевич Полеиов. А. В. Луначарский писал о нем: «Имя Василия Дмитриевича Поленова дорого новой России не только как имя одного из крупнейших представителей русской художественной культуры, но и как имя человека, весьма рано поставившего перед собой задачи распространения этой культуры в массах и разрешившего их с блеском, подобного которому мы в истории нашей экстеисивной художественной культуры не имеем».

Понятие экстенсивности, столь счастливо найденное Луначарским, применительно к поленовской традиции означает: как можно больше отдать из накопленных богатств духовности, той высокой культуры, носителем которой был сам художник. Наиболее яркое проявление такого взгляда на жизнь, такого служения — создаи-

См. цветную вклейку стр. 36—37.

ный им музей. Просветительская деятельность Поленова наиболее высоко оценена в воспоминаниях одного из его талантливых учеников — Л. О. Пастернака, спустя год после смерти художника писавшего: «Другие лучше меня скажут о его искренней любви к народу и ко всему народному творчеству в художественной области, а также о его неусыпных заботах внести побольше света и культуры в народные массы, о чем свидетельствует созданный им музей, носящий его имя. Этот же музей свидетельствует о том, что Поленов сторицей воздал своему народу за то, что тот дал ему возможность, поколениями накапливая культурность, подняться на ту высоту, на которой он стоял во всю свою прекрасную, творчески прожитую жизнь». И, поистине, по слову поэта, «к нему не зарастет народная тропа»...

Таковы были истоки традиции, давшей отечественной культуре на рубеже XIX и XX веков усадьбу Борок (после смерти В. Д. Поленова переименована в Поленово).

История поленовского музея — достойнейший пример служения возвышенной цели. Для дореволюционной русской деревни создается и вручается времени великолепный музей, закладываются глубокие просветительские традиции. В. Д. Поленов не увидел многого того, что было им задумано. Он вступал на окском косогоре в разговор с будущими поколениями, зная, что его земного времени на окончание разговора не хватит. Но все мысли, идеи и стремления художника и сейчас, через сто лет, свежи и насущны не меньше, а быть может, и больше, чем в его время.

Музею Поленова повезло. Несмотря на все перипетии бурного, сложного, противоречивого, а временами и трагичного XX века, он полностью сохранил свое лицо, свою атмосферу, свои традиции и мемориальность. И в его вековой истории, как в капле утренней росы на траве окского заливного луга, отразилась история Родины со всеми трудностями, горечью невзгод и разочарований, радостью свершений и побед. И это закономерно. Музей был создан для народа и все сто лет своего существования жил жизнью народа, разделив все, что выпало на его долю в XX веке.

В Поленове удалось, несмотря на строгую бюджетную систему финансирования государственного учреждения, штатное расписание, сложные административно-хозяйственные задачи, обязательное подчинение всем идущим «сверху» приказам, инструкциям и указаниям, сохранить и закрепить ту атмосферу уюта и непосредственности гостеприимного жилого дома, которая является органичной составляющей его мемориального облика. Это и ежегодные спектакли в музее, с участием творческой молодежи, учащихся художественных вузов и школьников-старшеклассников, и большая выставочная работа. За последние годы экспозиции музея побывали, кроме музеев Москвы и Ленинграда, в Казахстане, Удмуртии, Коми АССР, на Украине и за рубежом — в Западном Берлине, Софии, Афинах, Праге и Хельсинки.

«Дорог добыватель, не меньше — сберегатель» — гласит народная мудрость. Своей сохранностью и всем своим обликом музей, конечно же, обязан многим людям. Но главным подвижником был и останется первый директор музея — сын художника Дмитрий Васильевич Поленов.

Дмитрий Васильевич принадлежал к тому поколению музейных работников, которые с первых лет советской власти взяли на себя многотрудную работу по сохранению культурного наследия прошлого, приумножению музейного фонда страны, служению лучшим просветительским традициям русской интеллигенции. Его всегда отличали качества, без которых не мыслится работа руководителя мемориального музея: кристальная честность, высокая требовательность к себе, отзывчивость, внимание и исключительно доброжелательное отношение к нуждам, запросам и стремлениям своих молодых коллег, нетерпимость к проявлениям любой фальши, несправедливости и недобросовестного отношения к делу, глубокие знания и разносторонность интересов. И высокая культура поведения во всем.

Окончив естественный факультет Московского университета, Д. В. Поленов был учеником многих выдающихся ученых того времени. Его склонность к биологии, великолепное знание иностранных языков (включая латынь и древнегреческий), в сочетании с исследовательскими наклонностями открывали ему широкий путь в науку. Однако, на предложение остаться при университетской кафедре он ответил отказом и вскоре ушел добровольцем на фронт начавшейся первой мировой войны, видя в этом свой патриотический долг. Будучи освобожденным от военной службы по состоянию здоровья, он с трудом добился назначения в действующую армию. Но даже на фронте в сложной, временами очень тяжелой, боевой обстановке Дмитрий Васильевич вел дневник (привычка всей сознательной жизни), в котором скрупулезно записывал свои фенологические наблюдения и впечатления от природы тех мест, по которым пролегли нелегкие фронтовые дороги.

Сразу после свершения Великой Октябрьской революции Дмитрий Васильевич вернулся в дом над Окой, с которым теснейшим образом связана вся его дальнейшая жизнь. По просьбе отца — Василия Дмитриевича Поленова, он посвятил все свою жизнь делу сохранения музея. В самые сложные и тяжелые времена голода и разрухи, вызванные гражданской войной и страшной засухой 1920 года, он взял на себя эту работу, сочетая ее с крестьянским трудом по обработке земельного надела — единственной в то время возможностью прожить и прокормить большую семью.

Неисчислимые бедствия, принесенные Родине Великой Отечественной войной, коснулись поленовского музея непосредственно — в конце осени и начале зимы 1941 года линия фронта проходила через Поленово. В трудное военное и послевоенное время Дмитрию Васильевичу пришлось вести громадную работу по воссозданию мемориальной обстановки в доме, возвращению в него утраченных экспонатов. Заняв в 1920 году официальную должность директора, он исполнял свои обязанности с присущими ему добросовестностью и трудолюбием до ухода на пенсию в 1960 году и продолжал активно участвовать во всех музейных делах до самой смерти. Его феноменальной памяти, поистине энциклопедическим знаниям эпохи конца XIX и начала XX веков и беззаветной преданности делу многим обязан сегодняшний дом над Окой.

Как невозможно представить себе Пушкинский заповедник без его созидателя, хранителя и многолетнего рачительного хозяина Семена Степановича Гейченко, московский музей А. С. Пушкина без Александра Зиновьевича Крейна, как немыслимо сохранение Абрамцева в начале двадцатых годов без Александры Саввишны Мамонтовой, а в послевоенные годы — без Николая Павловича Пахомова, как Ясная Поляна после войны связана с именем Николая Павловича Пузина, и тютчевское Мураново — с именем Кирилла Васильевича Пигарева, так вековая история поленовского музея неотделима от жизни его первого директора Дмитрия Васильевича Поленова. Второго октября 1892 года шестилетним мальчиком вместе с отцом пришел он в только что выстроенный на высоком окском берегу дом, чтобы связать с ним всю жизнь. Все в современном музее носит отпечаток его деятельности.

Сотни восторженных записей экскурсантов, которыми заполнены книги отзывов музея с 1920-го года по сегодняшний день, отдают дань уважения таланту, многогранной просветительской деятельности и высоким помыслам создателя музея — Василия Дмитриевича Поленова. И почти никто из авторов не знает, что адресованы их записи в не меньшей степени и Дмитрию Васильевичу, сумевшему ценой больших усилий и упорной работы десятилетий сохранить музей и его традиции для современников и людей будущих поколений.

Так же широко и гостеприимно, как десятки лет назад, открывает дом над Окой двери для всех желающих его посетить. Современный коллектив музея бережно хранит традиции и создателя музея, и его первого директора. И одна из главных традиций — преданность делу и бескомпромиссное служение высоким целям, идеалам добра и справедливости, служение Красоте.

ИСТОКИ

Легенды.
Исследования.
Находки.



Рембрандт ван Рейн.
Воскрешение
Лазаря,
офорт.


САХАЛИН





[illegible]мент карти[illegible] [illegible] худ[illegible] [illegible] Мантиева.

Фото
Николая
Кулебякина.

ПОЛЕНОВО



Федор Дмитриевич
Поленов.

Читайте новеллу
на стр. 31.

СПАССКОЕ ЛУТОВИНОВО

Фото Светланы [illegible]. Читайте очерк Валерия Рогова

на стр. 12





Аввакум. Накануне раскола. Картина Владимира Грехова.
Читайте главы из романа Даниила Мордовцева «Великий раскол» на стр. 58.

К юбилею
книги
А. П. Чехова.
О Сахалине —
фоторепортаж
Юрия
Садовникова
(стр. 33-35)
и очерк
Анатолия
Ткаченко (стр. 15).

ISSN 0321-0561. СЛОВО 1990. № 7. 1-88. ИНДЕКС 70110. 90 коп.

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА

ГЛАВА XVI
Учреждения Иисуса

Что, впрочем, ясно доказывает, что Иисус никогда не погружался всецело в свои апокалиптические идеи, так это то обстоятельство, что в то самое время, когда он был наиболее занят ими, он с редкою верностью взгляда кладет основания вечной церкви. Почти нельзя сомневаться, что Иисус сам избрал среди своих учеников тех, кого преимущественно называли «апостолами» или «двенадцатью»: на другой день после его смерти они образуют общество и пополняют выборами образовавшиися в их среде пробел. Это были: два сына Ионы, два сына Зеведея, Иаков, сын Клеопы, Филипп, Нафанаил, Варфоломей (Bartolmai), Фома, Леви сын Алфея, или Матфей, Симон Зилот, Фаддей или Леввеи и Иуда Кериотский (de Kerioth)[1]. Вероятно, что выбору этого числа не была чужда идея о 12-ти коленах Израиля. Во всяком случае, «двенадцать» образовывали группу привилегированных учеников; Петр сохранил в ней первенство чисто братского характера, и Иисус вверил ей заботу пропагандировать его дело. Здесь не было ничего, что могло бы напоминать правильно организованную священническую коллегию. Сохранившиеся у нас списки «двенадцати» представляют много недостоверности и противоречий; двое или трое из перечисленных там остались совершенно неизвестны... Из них двое, по крайней мере, Петр и Филипп, были женаты и имели детей.

Иисус хранил, очевидно, для 12-ти таины, которые он запрещал разглашать всем. Иногда хочется думать, что у него был план окружить свою особу некоторою таинственностью, отложить великие доказательства на время после своей смерти и открываться вполне лишь своим ученикам, вверив последним труд объявить его впоследствии миру. «Что я говорю вам втаине, проповедуите открыто; что я говорю вам на ухо, возглашайте это на кровлях». Достоверно известно, что у него были для апостолов особые поучения и что он раскрывал им некоторые притчи, смысл которых он оставлял для народа неясным. Загадочный оборот и некоторая доля странности в связи идей были в ходу в поучениях книжников, как это видно из сентенций Пирке-Абот. Иисус объяснял своим друзьям то, что было странного в его поучениях и апологах, и освобождал свое учение от затемнявшей иногда его роскоши сравнений. Многие из этих объяснений были, по-видимому, заботливо сохранены.

Апостолы начали проповедовать еще при жизни Иисуса, но они никогда не удалялись далеко от него. Впрочем, их проповедь ограничивалась возвещением будущего наступления царства божия. Они ходили из города в город, встречая радушный прием, или, лучше сказать, принимая его по обычаю. Гость на Востоке имеет много авторитета; он выше хозяина дома; последний в лице его получает величайшее доверие. Эта проповедь у очага превосходна для распространения новых доктрин. Сообщают о скрытом сокровище и таким образом отплачивают за гостеприимство тою же монетою; учтивость и добрые отношения помогают в свою очередь, и дом растроган и обращен. Откиньте восточное гостеприимство, и распространение христианства было бы необъяснимо.

Иисус, придерживавшийся добрых старых нравов, побуждал своих учеников нисколько не стесняться в пользовании этим древним публичным правом, вероятно, уже уничтоженным в больших городах, где были гостиницы. «Трудящийся, — говорил он, — достоин пропитания». Раз поместившись у кого-либо, они должны были оставаться там, есть и пить, что предлагали им во все время продолжения их миссии.

Иисус хотел, чтобы провозвестники евангелия путем радушного и деликатного обращения сделали свою проповедь приятной. Он хотел, чтобы они, вступая в дом, делали ему селам (selam), или пожелание счастья; некоторые из учеников колебались — так как селам тогда, как и теперь, был знаком религиозного общения, — и боялись случайно натолкнуться на людей сомнительной веры. «Не бойтесь ничего, — говорил Иисус, — если никто не будет недостоин в доме, то ваш селам[2] к вам возвратится».

Иногда, на самом деле, апостолов царства божия принимали дурно, и они приходили тогда жаловаться Иисусу, который обыкновенно старался успокоить их. Некоторые, убежденные в могуществе своего учителя, оскорблялись этим долготерпением. Сыновья Зеведея хотели, чтобы Иисус призвал небесный огонь на негостеприимные горо-

---

[1] Во всех случаях вместо обычного «Искариотский» я придерживаюсь исторически правильной этимологии «Кериотский» (Kerioth — город) или «из Кериота». — *Перев.*

[2] В евангелии (Матф., X, 13) селам передано через мир. — *Перев.*

Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.). Продолжение. Начало в №№ 8–10, 12/1989, 1–6/1990. Произведение публикуется полностью.

да. Иисус принимал их вспышки со своей тонкой иронией и останавливал их словами: «Я пришел не погубить души, и спасти их».

С этого времени начинает появляться зародыш Церкви. Это плодотворная идея власти соединенных людей по-видимому, вполне принадлежит Иисусу. Полный своего совершенно идеалистического учения, что союз построенный на основах любви, создает духовное общение. Он объявлял, что всякий раз, как соберутся во имя его несколько человек, Он будет с ними. Он вверяет церкви право вязать и разрешать (т. е. объявлять известные дела дозволенными или запрещенными законом), отпускать грехи, делать выговоры, учить с авторитетом, и просить с уверенностью быть услышанными. Возможно, что многие из этих слов приписывались учителю с целью дать основание коллективному авторитету, которым впоследствии стремились заменить личный. Во всяком случае, лишь по смерти Иисуса начинают учреждаться частые церкви и это учреждение еще происходит совершенно по образцу синагог. Некоторые личности, очень любившие Иисуса и возлагавшие на него большие надежды — как Иосиф Аримафейский, Лазарь, Мария Магдалина и Никодим, — по-видимому, не вступали в эти церкви и довольствовались нежным или почтительным воспоминанием, сохраненным им об Иисусе.

Бесполезно указывать на то, как далека была от мысли Иисуса идея о религиозной книге, заключающей свод и члены веры. Иисус не только не писал, но даже противился стремлению нарождавшейся секты создавать священные книги. Он считал себя накануне великой конечной катастрофы. Мессия должен наложить печать на закон и пророков, а не обнародовать новые тексты. Сверх того, за исключением Апокалипсиса, бывшего в известном смысле единственной откровенной книгой первого христианства, все другие писания апостольской эпохи были случайными работами и отнюдь не имели претензии дать свод полной догматики. Евангелия имели сперва совершенно частный характер и гораздо меньший авторитет, чем предание.

Не было ли, однако, в секте каких-либо таинств, обрядностей и условных знаков? Таковых в ней было одно, и все предания возводят его до Иисуса. Одной из любимых мыслей учителя было, что он — хлеб новый, хлеб, гораздо лучший манны и дающий жизнь человечеству. Эта идея, бывшая зародышем Евхаристии, иногда принимала в его устах совершенно конкретные формы. Однажды, в капернаумской синагоге, он особенно увлекся смелым движением, стоившим ему нескольких учеников. «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой небесный». И он добавлял: «я — хлеб жизни; приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда». Вероятно, на общих обедах секты был установлен некоторый обычай, к которому подобная речь имела отношение. Но относящиеся к этому апостольские предания весьма различны и вероятно умышленно неполны. Три первых евангелия предполагают единственный священный акт, послуживший основанием таинственному обряду, и относят его к последней вечере. Иоанн, именно и сохранивший для нас происшествие в капернаумской синагоге, не говорит о таком акте, хотя он очень пространно рассказывает о последней вечере. В другом месте мы видим, что Иисуса узнают по преломлению хлеба, как будто бы этот жест был наиболее характерным признаком его особы для тех, кто посещал его. Когда Иисус умер, то образ, под которым он являлся благочестивой памяти учеников, был образ Иисуса, который председательствовал на мистической вечере, держал хлеб, благословлял и преломлял его и подавал его присутствующим. Можно думать, что это была одна из его привычек и что в такие моменты он был наиболее любезен и нежен. Материальный элемент, именно присутствие на столе рыбы — бьющий в глаза признак, доказывающий, что обряд установлен на берегу Тивериадского озера - сам по себе казался таинственным и сделался необходимою частью обрядов, под которыми представляли себе священное пиршество (festin).

В нарождавшейся общине вечеря сделалась одним из наиболее приятных моментов. В это время встречались: учитель говорил со всеми и поддерживал полную веселости и очарования беседу. Иисус любил эту минуту и ему нравилось видеть сгруппированную таким образом вокруг себя свою духовную семью. Участие в одном и том же хлебе рассматривалось как род вероисповедания и символ взаимных уз. Учитель употреблял по этому поводу крайне образные выражения, принятые впоследствии с необузданною буквальностью. Иисус в одно и то же время идеалист по своим концепциям и крайний материалист в их выражении. Желая выразить мысль, что верующий в него живет только им, что он весь (тело, кровь и душа) был жизнью истинного верующего, Иисус говорил своим ученикам: «я ваша пища», — фраза, которая, будучи выражена образным стилем, превращалась: «плоть моя истинно есть ваша пища и кровь моя истинно есть ваше питие». Всегда очень своеобразные манеры выражения у Иисуса увлекали затем его еще дальше. Показывая за столом на пищу, он говорил: «вот я»; держа хлеб: «вот плоть моя»; держа вино: «вот моя кровь». Это были лишь способы выражаться, все равнозначущие словам: «я ваша пища».

Этот таинственный обряд получил при жизни Иисуса громадное значение. Он, вероятно, был установлен задолго до последнего путешествия в Иерусалим и являлся гораздо более результатом общего учения, чем определенного акта. После смерти Иисуса он сделался великим символом христианского вероисповедания, и установление его отнесли к самому торжественному моменту жизни Спасителя. В освящении хлеба и вина хотели видеть прощальное воспоминание, оставленное Иисусом своим ученикам, когда он готовился к смерти. В этом таинстве снова стали находить Иисуса. Вполне спиритуалистическая идея о духовном общении между собою, бывшая одной из самых близких учителю и заставившая, напр., говорить, что он находился среди своих учеников, когда они собирались во имя его, делала это легко допустимым. При той степени экзальтации, какой достиг Иисус, идея настолько первенствовала у него надо всем, что тело более не принималось в расчет. Когда живут один другим, когда любят друг друга, то составляют одно целое; как же он и его ученики не были бы одним целым? Его ученики усвоили тот же самый язык. Те, кто в течение стольких лет жил им, — видели постоянно его держащим хлеб и затем чашу в своих святых и благословенных руках и предлагающим им себя самого. Ведь его ели, его пили; он сделался истинною пасхою после того, как старая была уничтожена его кровью. Невозможно перевести на наш существенно точный язык, где всегда должно делать строгое различие между настоящим смыслом и метафорой, — тех стилистических оборотов, существенным характером которых является приписывание метафор, или, лучше сказать, идее, полной реальности.

ГЛАВА XVII

Оппозиция против Иисуса

Во время первого периода своей деятельности Иисус, по-видимому, не встречал серьезной оппозиции. Его проповедь, благодаря той свободе, которой пользовались в Галилее, и тому числу учителей, которые появлялись со всех сторон, была известна лишь в довольно ограниченном кружке. Но с тех пор, как Иисус вступил на блестящую дорогу

общественных успехов, начала греметь гроза. Несколько раз он вынужден был убегать и скрываться. Однако, Антипа ни разу не стеснял его, хотя Иисус иногда выражался на его счет очень сурово. В своей обычной резиденции Тивериаде — тетрарх находился лишь в одном или двух лье от избранного Иисусом в качестве центра деятельности округа; он слышал о чудесах Иисуса, принимаемых им без сомнения за ловкие фокусы, и пожелал видеть их. Неверующие очень любопытствовали тогда относительно этих способов прельщения. Иисус со своим обычным тактом отказался. Он весьма остерегался сбиться с пути в языческом мире, желавшем извлечь из него пустую забаву; он хотел привлечь лишь народ; и он хранил для простых сердцем средства, хорошие для них одних.

Однажды распространился слух, что Иисус был ни кто иной, как воскресший из мертвых Иоанн Креститель. Антипа весьма́ озаботился и обеспокоился этим, и употребил хитрость, чтобы удалить из своих владений нового пророка. Фарисеи под видом участия к Иисусу пришли сказать ему, что Антипа собирается убить его. Несмотря на свою большую простоту, Иисус увидел ловушку и не ушел. Его вполне мирные приемы, его отвращение к народным волнениям успокоили, наконец, тетрарха и рассеяли опасность. Не во всех галилейских городах новому учению делали доброжелательный прием. Не одно неверие Назарета продолжало отталкивать того, кто должен был создать его славу; и не одни только его братья упорно не верили в него; самые приозерные города, в общем благосклонные, были обращены не все. Иисус часто жалуется на неверие и жестокосердие, встречаемые им; и хотя в таких упреках естественно некоторое преувеличение, что любил делать в подражание Иоанну Крестителю Иисус, ясно, однако, что страна была далека от вступления целиком в царство божие. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида, — восклицал Иисус, — ибо, если бы Тир и Сидон видели чудеса, которых вы были свидетелями, они давно бы покаялись во вретище и пепле; но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, чем вам. И ты, Капернаум до неба вознесшийся, до ада низвергнешься; ибо если бы в Содоме были совершены, явленные в тебе, чудеса, то он оставался бы до сего дня. Поэтому говорю вам, что земле Содомской будет отраднее в день суда, нежели тебе». «Царица Савская (de Saba), — добавил он, — восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона; но здесь больший Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы; но здесь больший Ионы».

Его скитальческая жизнь, полная вначале для него очарования, также начинала тяготить его. «Лисицы, — говорил он, — имеют свои логовища, и птицы небесные свои гнезда; а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Он обвинял неверующих в том, что они не соглашаются с очевидностью, и говорил, что даже в то мгновение, когда явится во всей своей небесной славе Сын человеческий, найдутся еще люди, которые будут сомневаться в нем. Особенно неодолимое препятствие идеям Иисуса исходило от представленного фарисеями правоверного иудейства.

Иисус все более и более отдалялся от старого Завета. А фарисеи были истинными иудеями, нервом и силою иудейства. Хотя центром этой партии был Иерусалим, однако она имела агентов, живших в Галилее или приходивших часто туда. В общем это были люди с узким умом, придававшие большое значение внешности, со спесивой, самодовольной и самоуверенной официальною набожностью. Они обладали смешными манерами и заставляли улыбаться даже тех, кто уважал их.

Это доказывают клички, даваемые им народом и отзывающиеся карикатурой. Были: «косолапый фарисей» (никфи), ходивший по улицам, волоча ноги и ударяя ими по камням; «краснолобый фарисей» (кизаи), ходивший с закрытыми глазами, чтобы не видеть женщин, и ударявшийся лбом о стены так сильно, что тот был у него постоянно окровавлен; «толкач-фарисей» (медукиа), державшийся согнутым надвое, как ручка толкача; «плечистый фарисей» (шикми), ходивший со сгорбленной спиной, как будто бы нося на своих плечах тяжесть всего закона; «фарисей Что нужно делать? я это делаю!», всегда стороживший новую заповедь, чтобы скорее исполнить ее; и, наконец, «крашеный фарисей», для которого вся наружная сторона набожности была лишь ханжеским лоском. Этот ригоризм на самом деле был лишь кажущимся и скрывал в действительности большую нравственную развращенность. Тем не менее, народ был одурачен им. Народ, чей инстинкт прав всегда, даже когда он наиболее сильно заблуждается относительно отдельных лиц, очень легко вводится в обман лживыми ханжами. То, что он любит в них, — хорошо и достойно любви; но у него нет достаточной проницательности, чтобы отличить кажущееся от действительного.

Легко понятна та антипатия, которая должна была вспыхнуть сейчас же в столь страстном мире против Иисуса и людей его характера; Иисус стремился только к религии сердца; религия же фарисеев состояла почти из одних обрядов. Иисус искал всех смиренных и отверженных; фарисеи же видели в этом оскорбление для своей религии людей comme il faut. Фарисей был непогрешимым и праведным человеком, педантом, который был уверен в своей правоте. Он занимал в синагоге первое место, молился на улицах, творил при трубных звуках милостыню и наблюдал за тем, кланяются ли ему. Иисус утверждал, что каждый должен со страхом и трепетом ожидать суда божия. Впрочем, нельзя сказать, чтобы дурное религиозное направление, представленное фарисеями, царило бесконтрольно. Много людей до Иисуса или его современника, каковы Иисус сын Сирахов, один из истинных предков Иисуса Назареянина, Гамалиил, Антигон Сокосский, в особенности, мягкий и тихий Гиллель проповедовали очень возвышенные и почти евангельского характера религиозные истины. Но эти добрые посевы были заглушены Прекрасные поучения Гиллеля, резюмирующего весь закон в справедливости, нравственные правила Иисуса, сына Сирахова, сводящие религию к деланию добра, были забыты или преданы анафеме. Шамман со своим узким и исключительным духом уничтожил все это. Огромная масса «преданий», под предлогом покровительства и истолкования закона, задушила его.

Борьба Иисуса с официальным ханжеством была непрерывна. Пуританин, реформатор — обыкновенно, бывает существенно «библейским» и исходит от неизменного текста, когда желает критиковать ходячую теологию, переходившую из поколения к поколению. Так делали впоследствии у иудеев караиты (karaites), у христиан протестанты Иисус гораздо энергичнее поднес к корню топор. Правда, заметно иногда, что он ссылается на текст против ложных фарисейских традиций. Но, в общем, он обращается к совести. Одним и тем же ударом он уничтожает и текст и комментарии. Он ясно показывает фарисеям, что они грубо исполняют религию Моисея своими преданиями; но сам он отнюдь не показывает намерения снова возвратиться к Моисею. Его целью было идти вперед, а не назад. Иисус был более, чем реформатор устаревшей религии; это был творец вечной религии человечества

Особенно часто происходили диспуты по поводу массы введенных преданием наружных обрядов, которых не соблюдали ни Иисус, ни его ученики. Фарисеи делали ему за это резкие упреки. Когда он обедал у них, то сильно скандализировал их, не совершая обычных омовений. «Творите милостыню, — говорил он, — и тогда все для вас сделается чистым». Что оскорбляло в величайшей степени деликатное чувство Иисуса, так это тот уверенный вид, какой имели в религиозных делах фарисеи, их отвратительная набожность, клонившаяся к суетным желаниям к старшинству и титулам, а не к улучшению своего сердца. Удивительная притча выражала с бесконечным очарованием и правдивостью эту идею. «Однажды, — говорил он, — вошли помолиться в храм два человека; один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю тебя за то, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из

всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» Говорю вам, что последний возвратился в свой дом оправданиым более первого».

Результатом этих споров явилась ненависть, которая могла насытиться только смертью Иисуса. Иоанн Креститель уже вызвал вражду того же характера. Но презиравшие его иерусалимские аристократы оставили простым людям считать его за пророка. На этот раз война была на смерть. Миру явился новый дух и отменял все, что предшествовало ему. Иоанн Креститель был глубоко иудеем; Иисус же едва был таковым. Иисус постоянно взывает к деликатности нравственного чувства.

Фарисеи стремились погубить Иисуса еще с самой Галилеи и употребляли против него маневр, который должен был удаться им позднее в Иерусалиме. Они попробовали вовлечь в свою распрю партизанов установленного нового политического порядка. Эти попытки были уничтожены тою легкостью, с какой Иисус мог ускользать в Галилею, а также слабостью правительства Антипы. Но он сам пошел в объятия опасности. Он хорошо видел, что если бы он остался в пределах Галилеи, то его деятельность была бы неизбежно ограничена. Иудея влекла его, как бы чарами; он захотел употребить последнее усилие для привлечения мятежного города и, казалось, взял задачею оправдать пословицу, что пророк не должен умирать вне Иерусалима.

ГЛАВА XVIII

Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим

Иисус уже давно чувствовал окружавшие его опасности. Целых почти 17 месяцев он избегал паломничества в Иерусалим. Его родственники побудили его, однако, идти туда на праздник Сенопочтения, в 32-м году (по принятой нами гипотезе). Евангелист Иоанн намекает, по-видимому, что в этом приглашении был некоторый скрытый проект погубить его. «Откройся миру, говорили они ему; таких дел не творят втайне. Иди в Иудею, чтобы видели дела, которые ты творишь». Иисус, остерегаясь некоторого предательства, сперва отказался; потом, когда выступил караван пилигримов, он, со своей стороны, отправился в дорогу без ведома кого бы то ни было и почти один. Это было последним «прости», сказанным им Галилее.

Праздник Сенопочтения приходился в осеннее равноденствие. До роковой развязки должно было пройти еще 6 месяцев. Но в течение этого времени он не видел больше своих дорогих северных провинций. Время удовольствий прошло; теперь придется шаг за шагом пройти скорбную дорогу, которая окончится томлениями смерти.

Его ученики и служившие ему благочестивые женщины нашли его в Иудее. Но как здесь все изменилось для Иисуса! Он был чужд Иерусалиму. Он понимал, что перед ним была тут упорная стена, через которую он не мог проникнуть. Окруженный ловушками и возражениями, он постоянно был преследуем злыми намерениями фарисеев. Вместо той безграничной способности верить — счастливого дара молодых натур, находимых Иисусом в Галилее, вместо доброго и мягкого населения, к которому вовсе не имело доступа возражение (всегда являющееся плодом известного недоброжелательства и непокорности), он на каждом шагу встречал здесь упрямое неверие. И на последнее имели мало влияния те средства воздействия, которые так хорошо удавались ему на севере. Его учеников презирали, как галилеян. Никодим, имевший в одно из предыдущих путешествий Иисуса беседу с последним, чуть не скомпрометировал себя в глазах синедриона, желая защищать Иисуса. «Как! Ты тоже галилеянин? — говорили ему. — Посмотри в писании, может ли прийти пророк из Галилеи!»

Как мы уже сказали, Иисусу не нравился город. До сих пор он избегал крупных центров, предпочитая для своей деятельности незначительные деревни и города. Некоторые из данных им своим апостолам правил были абсолютно неприложимы вне простого общества маленьких людей. Так как Иисус не имел никакого представления о мире и привык к дорогому галилейскому коммунизму, то у него постоянно проскальзывали наивности, которые могли показаться странными в Иерусалиме — Его воображению и его любви к природе было тесно в этих стенах. Истинная религия должна была выйти не из сумятицы городов, а из спокойной ясности полей. Надменность священников делала неприятными Иисусу преддверия храма. Однажды некоторые из его учеников, знавшие лучше него Иерусалим, хотели обратить его внимание на красоту сооружений храма, удивительный выбор материалов и богатство покрывавших стены обетных приношений. «Видите ли эти здания, — сказал он; — истинно говорю вам: здесь не останется камня на камне». Он ничему не удивлялся; разве только одной бедной вдове, проходившей в эту минуту и бросившей в сокровищницу мелкую монету. «Она положила больше других, — сказал Иисус, — другие клали от своего избытка, она же от самого необходимого». Эта манера критически относиться ко всему происходившему в Иерусалиме, возвышать бедняка, дававшего мало, унижать богача, дававшего много, порицать богатое духовенство, которое ничего не делало для народа, естественно вывела из себя священническую касту. Храм — столица консервативной аристократии, как мусульманский haram, который наследовал ему, был последним местом, где могла бы удаться революция. Однако это был центр иудейской жизни — место, где Иисус должен был победить или умереть. В этом Калвере[1], где Иисус страдал бесконечно более, чем на Голгофе, его время протекало в спорах и колкостях среди скучных словопрений о каноническом праве и экзегетике. Тут его великая нравственная сила давала ему мало преимущества — да что говорю я? являлась как бы причиною его неуспеха.

Среди этой беспокойной жизни, чувствительному и доброму сердцу Иисуса удалось создать себе убежище, где он наслаждался большим спокойствием. Проведя день в спорах в храме, Иисус спускался вечером в долину Кедрона и отдыхал немного во фруктовом саду земледельческого поселения (вероятно, угольной эксплуатации), по имени Гефсиманском. Последний служил для жителей местом развлечения. Оттуда Иисус отправлялся провести ночь на Масличную гору, окаймлявшую восточный горизонт города. Только эта сторона в окрестностях Иерусалима представляет немного веселое и приятное зрелище. Тут во множестве находились плантации маслин, фиговых деревьев и пальм, дававшие свои имена деревням, фермам и огороженным местам Виффагии, Гейсимании и Вифании. На горе Маслин находилось два больших кедра, о которых у рассеянных впоследствии иудеев сохранялось долго воспоминание; их ветви служили убежищем массе голубей, и под их тенью устраивались небольшие базары. Весь этот пригород был как бы кварталом Иисуса и его учеников. Надо полагать, что они знали его от поля до поля и от дома до дома.

---

[1] Собственно, гора Голгофа; нарицательно, как невыносимо тяжелое место. — *Перев.*

Местом проповеди Иисуса особенно являлась деревня Вифания, расположенная на вершине холма, на склоне, идущем к Мертвому морю и Иордану на расстоянии полутора часов пути от Иерусалима. Иисус познакомился там с одним семейством, состоявшим из 3-х лиц, двух сестер и брата. Дружба с ними имела для Иисуса много прелести Одна из сестер, по имени Марфа, была обязательной, доброй и услужливой особой; другая, по имени Мария, напротив, нравилась Иисусу как бы томностью и своим сильно развитым влечением к созерцательности. Сидя у ног Иисуса и слушая его, она часто забывала об обязанностях реальной жизни. Тогда ее сестра, на которую падала вся работа, кротко жаловалась. «Марфа, Марфа, — говорил ей Иисус, — ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Брат Елеазар, или Лазарь, был также очень любим Иисусом. К семейству, как кажется, принадлежал и некто Симон Прокаженный, бывший владельцем дома.

Там, на лоне благочестивой дружбы, Иисус забывал неприятности общественной жизни. Среди этой спокойной домашней жизни, он утешался от клеветы, которой не переставали раздражать его фарисеи и книжники. Он часто садился на горе Маслин, против горы Мориа, имея внизу перед глазами пленительную перспективу террас храма и его крыш, покрытых сверкающими полосами. Это зрелище удивляло иностранцев; священная гора ослепляла глаза, особенно при восходе солнца, и казалась как бы массой снега и золота. Но глубокое чувство печали отравляло Иисусу зрелище, наполнявшее радостью и гордостью других израильтян. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и ты не захотел!»

Это не значит, что здесь, как в Галилее, не нашлось нескольких добрых людей, которые дали обратить себя Но давление господствующей ортодоксии было таково, что очень немногие осмелились признать Иисуса. Присоединением к школе Галилеянина опасались уронить себя в глазах иерусалимлян; ведь, делая это, подвергались риску быть изгнанными из синагоги, а это в ханжеском и отвратительном обществе считалось верхом бесчестия. Сверх того, отлучение от церкви влекло за собою конфискацию всех имуществ. Переставая быть иудеем, не делались римлянином; приходилось оставаться беззащитным под ударами теократического законодательства, которое отличалось самой жестокой строгостью. Однажды нижние чиновники храма, присутствовавшие при беседах Иисуса и очарованные ими, явились поверить свои сомнения священникам. «Разве кто из начальников или фарисеев поверил в него? — отвечали им, — но этот народ невежда в законе, проклят он».

Итак, Иисус оставался в Иерусалиме провинциалом, удивительным для таких же провинциалов, как он, но отталкиваемый всей национальной аристократией. Вождей школ было слишком много, чтобы сильно взволноваться, увидев, что явился еще один. Голос Иисуса в Иерусалиме имел мало силы. Там слишком укоренились расовые и сектантские предрассудки — прямые враги евангельского духа.

Его учение в этом новом мире должно было неизбежно сильно видоизмениться. Его прекрасные проповеди, действие которых всегда было рассчитано на юность воображения и чистоту нравственного сознания слушателей, падали здесь на камень. Он, стеснявшийся и на приволье берегов своего очаровательного озера, смущался перед педантами. Он должен был сделаться спорщиком, юристом, экзегетом и богословом. Его беседы, обыкновенно полные прелести, превращаются в беглый огонь споров, в нескончаемый ряд схоластических сражений. Его стройный гений истощается в нелепых аргументациях относительно закона и пророков. В общем, он с большим искусством выходил из затруднений. Когда бесподобному очарованию его ума удавалось обнаружиться, то это были триумфы. Однажды Иисуса хотели привести в замешательство; к нему привели распутную женщину и спрашивали, как поступить с ней. Известен удивительный ответ Иисуса. Тонкая насмешка светского человека, умеренная божественной добротой, не могла быть выражена в более изысканной форме. Но глупцы менее всего извиняют соединение ума с нравственным величием. Произнося свое изречение, полное справедливого и чистого чувства: «Пусть тот из вас, кто без греха, бросит в нее первый камень», — Иисус поразил ханжество в самое сердце и тем же самым ударом подписал свой смертный приговор.

На самом деле, возможно, что без раздражения, вызванного столькими неприятными для фарисеев поступками, Иисус долго бы мог оставаться незамеченным и погиб бы в ужасной грозе, долженствовавшей вскоре смести целиком всю иудейскую нацию. Высшее духовенство и саддукеи питали к нему скорее презрение, чем ненависть. Большие первосвященнические фамилии: Боэтизимы, фамилия Ханана — выказывали себя фанатиками разве только спокойствия. Не из подобной партии могла явиться очень резкая реакция против Иисуса. Официальное духовенство, стремясь к политической власти и тесно связанное с ней, ничего не понимало в этих энтузиастических движениях. Последними тревожились фарисейская буржуазия и бесчисленные книжники, жившие наукой «преданий», и действительно их предрассудкам и интересам угрожало учение нового учителя

Одним из самых постоянных усилий фарисеев являлось вовлечение Иисуса на почву политических интересов и стремление замешать его в партию Иуды Голонита. Тактика была ловкая: ведь требовалось глубокое простодушие Иисуса для того, чтобы еще не поссориться с римскою властью, несмотря на провозглашение царства божия. Эту двусмысленность хотели уничтожить и принудить Иисуса изъясниться. Однажды толпа фарисеев и политиков, по прозвищу «иродианы» (вероятно, Боэтизимы), подошла к Иисусу и под видом благочестивой ревности сказала ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому либо. Итак, скажи нам: как тебе кажется, позволительно ли давать подать Кесарю?» Они ожидали ответа, который дал бы им предлог предать его Пилату. Ответ Иисуса был удивителен. Он заставил показать ему изображение монеты. «Отдавайте, сказал он, кесарево Кесарю, а божие Богу». Глубокое изречение, решившее будущность христианства! Фраза совершенного спиритуализма и удивительной справедливости, которая положила начало разделению духовного и светского и дала основание истинному либерализму и цивилизации!

Мягкий и проницательный гений Иисуса внушал ему, когда он находился наедине со своими учениками, полные очарования мысли. «Истинно, истинно говорю ва́м: кто не дверью входит во двор овчий, тот вор, а входящий дверью — истинный пастырь. Овцы слушаются его голоса, и он зовет их по имени и водит их на пастбище; он идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. Вор приходит только для того, чтобы украсть и погубить; наемник, которому овцы не принадлежат, видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. Но я — пастырь добрый; я знаю своих овец и мои овцы знают меня; и жизнь мою я полагаю за овец». Мысль о близкой развязке путем кризиса человечества часто приходила ему. «Когда смоковница, говорил он, покрывается молодыми побегами и нежными листьями, вы знаете, что близко лето. Подымите глаза и взгляните на мир: он созрел для жатвы».

Его сильное красноречие обнаруживалось всякий раз, как дело заходило о том, чтобы сразиться с ханжеством. «На седалище Моисея сидят книжники и фарисеи. Делайте, что они вам говорят, но не делайте, как они поступают; ибо они говорят и не делают. Они налагают бремена неудобоносимые на плечи других, а сами и одним перстом не хотят двинуть их.» — «Они все дела свои делают с тем, чтобы люди видели их; они ходят в длинных одеждах,

расширяют свои хранилища[1] и увеличивают воскрилия одежд своих; они любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия на улицах, и чтобы звали их: «учитель». Горе им»!

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что взяли ключ разумения и пользуетесь им, чтобы затворить царство небесное! Сами не входите туда и хотящих войти не допускаете».

«Горе вам, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь; за это примете тем большее осуждение. Горе вам, что обходите сушу и море, чтобы обратить хоть одного, и делаете его лишь сыном геенны!»

«Горе вам, ибо вы как могилы, которых не видно и по которым ходят, не зная этого[2]. Безумные и слепые! которые даете десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе: суд, милость и чистосердечие; вот что надлежит соблюдать, а того достаточно лишь не оставлять. Слепые вожди, процеживающие свое вино, чтобы не проглотить комара, и поглощающие верблюда, горе вам!»

«Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда[3], между тем как внутри они полны хищения и неправды. Слепой фарисей, очисти прежде внутренность, а потом позаботься о чистоте внешности.

«Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам[4], которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.»

«Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведных, и говорите: «если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в убиении пророков!» Таким образом, вы сами свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Истинно рекла мудрость божия, говоря: «Я посылаю к вам пророков, мудрых и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в ваших синагогах и гнать из города в город; и наконец падет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого вы убили между храмом и жертвенником».

«Истинно говорю вам, что с настоящего рода взыщется вся эта кровь».

Его грозный догмат замены иудеев язычниками, идея, что царство божие будет отдано другим — тем, кому он назначил, не желая сам этого, — были страшной угрозой против аристократии; и его титул «сын божий», открыто признаваемый им в тех резких притчах, где враги его играли роль убиц посланников неба, был вызовом официальному иудейству. Смелый призыв, обращенный Иисусом к угнетенным, был еще более мятежен. Он объяснял, что пришел озарить слепых и ослепить мнящих себя зрячими.

Однажды его нерасположение к храму вырвало у него неосторожное выражеиие: «Сей храм рукотворенный, сказал он, я мог бы, если бы хотел разрушить и снова воздвигнуть чрез три дня другой, нерукотворенный». Неизвестно хорошо, какой смысл придавал Иисус этому выражению, в котором его ученики искали натянутых аллегорий. Но так как нужен был лишь предлог, то выражение было живо подхвачено. Оно будет фигурировать, как одна из причин смертного приговора Иисуса, и раздастся в его ушах среди последних томлений Голгофы.

Эти раздражающие споры всегда оканчивались бурно. Фарисеи бросали в него камни; последним они только исполняли правило закона, повелевающего побивать камнями всякого пророка и даже чудотворца, если тот отстраняет народ от старой религии. Иной раз они называли его сумасшедшим, одержимым бесом, самарянином, или пытались даже убить его. Примечали его слова, желая вызвать против него законы нетерпимой теократии, еще не отмененные римскою властью.

Продолжение следует.

---

[1] Металлические полосы или повязки из пергамента, заключающие места из Закона, которые иудейские ханжи носили привязанными ко лбу или правой руке. Р.

[2] Прикосновение к могилам делало нечистым человека.

[3] Очищение посуды у фарисеев было в зависимости от самых путаных правил.

[4] Ввиду того, что могилы считались нечистыми, их белили известью, чтобы предохранить от приближения к ним.



ЛИТЕРАТУРА

Стихи. Рассказ. Портрет.

ИВАН БУНИН

«ТРЕТИЙ ТОЛСТОЙ»

Вышло уже три собрания сочинений выдающегося русского писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870—1953): пятитомное (1956), девятитомное (1965—1967) и шеститомное (1987—1988). И тем не менее, ни одно из них не является хотя бы относительно полным. Причины этого были прежде всего политическими. Под запретом оказались многие произведения, созданные писателем в годы гражданской войны и эмиграции. Десять книг бунинской прозы и дневниковые записи «Окаянные дни» до сих пор известны нашему читателю далеко не в полном виде. А потому хочется надеяться, что Полное академическое собрание сочинений И. А. Бунина, к подготовке которого приступил вновь созданный сектор литературы русского зарубежья Института мировой литературы имени М. Горького АН СССР, восполнит этот пробел. Но пока это академическое собрание готовится (такая подготовка может затянуться на многие и многие годы), редакция «Слова» намерена продолжить публикации неопубликованного И. А. Бунина, начатые с «Окаянных дней» (см.: 1989, № 7—8, 12), в том числе произведений, появившихся в предыдущие годы с купюрами и выдирками. Типичным примером такой чудовищной конъюнктурной правки может служить известный очерк «Третий Толстой».

«Слово» впервые воспроизводит этот очерк-воспоминание не в изуродованном виде, выделив изъятый текст, как это было сделано в книге: «И. А. Бунин. Под серпом и молотом. Сборник рассказов, воспоминаний. Лондон, 1975». В этом издании очерк сопровождается весьма примечательной сноской: «Текст, изъятый советской цензурой, печатается *курсивом*». Примечания приводятся по лондонскому изданию.

В ближайших номерах «Слово» предложит вниманию читателей еще ряд публикаций, посвященных 120-летию со дня рождения И. А. Бунина.

Ив. Бунин

впервые по оригиналу

«Третий Толстой» — так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождение по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых — граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции. *Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности (ничуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции*[1], *безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой «советской» России, где только чекисты друг с другом советуются, особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным «советским» писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф, да еще Толстой. Недаром «сам» Молотов сказал на каком-то «Чрезвычайном восьмом съезде Советов»:*

«Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской!»[2]

Последние слова Молотов сказал тоже недаром: ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого «великим писателем земли русской».

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и *ласково*, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дурковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему, что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда в каком-нибудь «салоне», сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.

Был ли он действительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно, — например, так:

«А. Н. Толстой родился в 1883 году, в бывшей самарской губернии и детство провел в небольшом имении второго мужа его матери, Алексея Бострома, который был образованным человеком и материалистом...»[1]

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году, в бывшей самарской губернии...» Но где именно? В имении графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, где прошло его детство. Кроме того, полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой, так, точно он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россию. Сам он за все годы нашего с ним приятельства и при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношению ко мне, тоже никогда, ни единым звуком не обмолвился о графе Николае Толстом... За всем тем касаюсь я его родословной только по той причине, что, до своего возвращения в Россию, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им в литературе и в жизни. Страсть ко всяческим житейским благам и к приобретению их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россию, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас же принялся не только за писание гнусных сценариев, но и за сочинения на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал «в долг» в эмиграции, и за нелепейшие измышления о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русские «белогвардейцы».

Совершенно правильны, вероятно, сведения о том, когда он родился и где прошло его детство. Но что было дальше? По свидетельству его советских биографий, снабженных его собственными автобиографическими показаниями, было вот что:

«В 1905 году, во время первой русской революции, Толстой писал революционные стихи. В следующем году, когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет...»[1]

Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революционные стихи — и вдруг выпустил всего через год после того и как раз тогда, «когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нечто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов»[2]*, которую потом будто бы стал скупать и жечь!*

Однако, даже и такие биографические сведения ничто перед тем, что следует дальше:

«Первая мировая война поставила перед Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок...»

Поистине только в Москве можно лгать так глупо! Толстой — и «масса» вопросов, да еще «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов. А тут явились еще и новые, а кроме того и «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру; но иных что-то не помню.

«В Великую Октябрьскую революцию Толстой растерялся... Уехал в Одессу, зиму прожил там. Весною 1919 г. уехал в Париж. О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобиографии так: «Это был самый тяжелый период в моей жизни...» В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошел в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в

---

[1] Весной 1923 г.
[2] В. М. Молотов. Статьи и речи 1935—1936. Партиздат ЦК ВКП(б). 1937, стр. 225. Слова эти Молотов произнес в 1936 г.

[1] Здесь и дальше Бунин приводит цитаты с большими неточностями из статьи: М. Чарный, «Алексей Толстой», «Новый мир», 1947, № 6 (июнь), стр. 194—217.

[1] Там же. Стр. 195—196.
[2] Речь идет о книге А. Н. Толстого «Лирика», изд. автора. СПб., 1907.
[3] Вышеуказанная статья М. Чарного. Стр. 197.

Париже... Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских расстрелов и расправ... Он писал на родине еще и сатирические картины нравов капиталистической Америки, о которых гениально писал и великий поэт Маяковский...»

Где все это напечатано? И на потеху кому? Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый Мир», где сотрудничают знатнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: «Совершенное одичание белогвардейцев... Кошмары белогвардейских расправ и расстрелов...» Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого расстреливали? И почему французское правительство с м о т р е л о *сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно был все-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россию, где теперь никакие сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не расстреливают, а Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое «предсмертное» веселье во времена пребывания в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерического разврата в весельи и роскоши: так по крайней мере утверждает некто Юрий Жуков, парижский корреспондент Москвы, напечатавший в другом московском ежемесячнике, в журнале «Октябрь», статью под заглавием «На западе после войны»: этот Жуков сообщает, что по Большим парижским бульварам то и дело проходят францисканские монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, и с утра до вечера «фланируют завитые и напомаженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах»[2]. Этот Жуков и про меня зачем-то солгал: будто я «маленький, сухонький, со скрипучим голосом и с лицом рафинированного эстета»[3]. Когда-то в России говорили: «Врет как сивый мерин». Далекие наивные времена! Теперь, после тридцатилетнего, неустанного, ежедневного упражнения «Советов» во лжи, даже самый жалкий советский Жуков сто очков дает вперед любому сивому мерину! Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, и во время «первой русской революции» и первой мировой войны «массу» всяческих душевных и умственных терзаний, и о том, как он растерялся и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, и в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актерским, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть ни рыдал Горький.*

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «Мы — дети страшных лет России — забыть не можем ничего!» — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, — как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слыхал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революции», да скоро бросил — то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-«богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до «декадентской» его книжки, то я ее читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел: сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, приспособлялся очень находчиво. *Он даже свой роман «Хождение по мукам», начатый печатанием в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию, к большевицким требованиям, что все «белые» герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми «красными». Известно, кроме того, что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославления Сталина, затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуну, затем пасквильная повесть о парижских «акулах капитализма» из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием «Черное золото»...*[1]. *Что такое его «Сатирические картины нравов капиталистической Америки», я не знаю. Никогда не бывши в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горький, Маяковский... Горький съездил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусием назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, будто бы бывшего всегда ненавистным ему, Горькому. Горький дал такую картину этого будто бы «дьявольского города»:*

«Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа. Улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дороги — огромные черви; локомотивы — жирные утки...»[2]

После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: «Моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и

[1] Там же. Стр. 197—198 и др.

[2] Юрий Жуков. «На Западе после войны» (Записки корреспондента), «Октябрь», 1947. Кн. 10 (октябрь), стр. 123. Бунин неточно цитирует Ю. Жукова.

[3] Там же. Стр. 128. Бунин неточно цитирует Ю. Жукова.

[1] Алексей Толстой. «Черное золото» — роман, изд. «Книга и сцена», Берлин, 1931.

М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, Москва, 1950, т. 7, стр. [illegible]9. Описание Нью-Йорка у Горького длиннее. Бунин цитирует с пропусками.

Речь идет о второй жене А. Н. Толстого С. И. Дымшиц.

в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

— Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он небрежно пробормотал в ответ:

— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и *сразу*[1] сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

— Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

— Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук, в талию, рубашки голландского полотна с этаким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы... Это мошенничество, по-вашему? Да кто же теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковский носит женскую желтую кофту, Андреев и Шаляпин — поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», — а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!»

Так с самого начала захвата большевиками власти в октябре семнадцатого года были мы с ним в мирных приятельских отношениях, но потом два раза поссорились. Жить стало уже очень трудно, начинался голод, питаться мало-мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их — подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобие коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковский, Брюсов и прочие) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные, произнося все заборные слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся и мы поругались. А затем появилось в печати произведение Блока «Двенадцать». Блок, как стало известно впоследствии, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до «февральской революции» так:

«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу. И в разреженном воздухе горький запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз...»

И еще так, столь же дьявольски поэтично:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут даже и для Блока все-таки определились вскоре цвет и запах нового шквала, хотя и раньше не требовалось для этого особо зоркого зрения и обоняния. Тут царский период русской истории кончился (при доброй помощи солдат петербургского гарнизона, не желавших идти на фронт), власть перешла к Временному Правительству, все царские министры были арестованы, посажены в Петропавловскую крепость, а Временное Правительство почему-то пригласило Блока в «Чрезвычайную Комиссию» по расследованию деятельности этих министров, и Блок, получая 600 рублей в месяц жалования, — сумму в то время еще значительную, — стал ездить на допросы, порой допрашивал и сам и непристойно издевался в своем дневнике, как это стало известно впоследствии, над теми, кого допрашивали. А затем произошла «Великая октябрьская революция», большевики посадили в ту же крепость уже министров Временного Правительства, двух из них (Шингарева и Кокошкина) даже убили, без всяких допросов, а Блок перешел к большевикам, стал личным секретарем Луначарского, после чего написал брошюру «Интеллигенция и Революция», стал требовать: «Слушайте, слушайте, музыку революции!»[1] и сочинил «Двенадцать», написав в своем дневнике для потомства очень жалкую выдумку: будто он сочинял «Двенадцать» как бы в трансе, «все время слыша какие-то шумы — шумы падения старого мира». Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:

— Господа, вы знаете, что происходит в России на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, которые творит русский народ с начала февраля прошлого года, с февральской революции, которую все еще называют совершенно бесстыдно «бескровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чем неповинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слез вдов и сирот заливает русскую землю. Убивают все, кому не лень; солдаты, все еще бегущие с фронта ошалелой ордой, мужики в деревнях, рабочие и всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, еще в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, все еще продолжают убийства, бегут домой захватывать и делить землю не только помещиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают все, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станций, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет... Из нашей деревни пишут мне, например, такое: мужики, разгромивши одну помещичью усадьбу, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губернии[2], и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю

---

[1] Курсив Бунина.

[1] А. Блок. Собр. соч. в восьми томах. Москва-Ленинград, 1962, т. 6, Заключительные слова статьи.

[2] Речь идет об имении Васильевском, которое принадлежало Софии Николаевне Пушечниковой (рожд. Буниной), двоюродной сестре И. А. Бунина.

усадьбу, хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной скотный двор: огромный пьяный солдат-дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стал еще бешенней орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нее. А вот на днях прибежал из Симферополя всем вам известный Н., — я назвал точно его фамилию, — и говорит, что в Симферополе рабочие и дезертиры ходят буквально по колена в крови, живьем сожгли в паровозной топке какого-то старенького отставного военного. Не странно ли вам, что в такие дни Блок кричит на нас:

«Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочиняет «Двенадцать», а в своей брошюре «Интеллигенция и революция» уверяет нас, что русский народ был совершенно прав, когда в прошлом октябре стрелял по соборам в Кремле, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толстопузый поп целые столетия водкой торговал, икая». Что до «Двенадцати», то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опошлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому непонятных, литературно выдуманных символистических мистических стихов, он написал наконец нечто уже слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый, плоский трюк: он берет зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днем на улицу из боязни быть ограбленным и раздетым догола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, буйной солдатней, но ведь в конце концов все ее деяния святы разгульным разрушением прежней России и что впереди нее идет Сам Христос, что это Его апостолы:

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь,
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Почему святая Русь оказалась у Блока только избяной да еще и толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды поставившие не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением «грабить награбленное». И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным Собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржуем», над обывателем, над священником:

От здания к зданию
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
А вон и долгополый —
Что ныне невеселый,
Товарищ поп?
Вон барыня в каракуле —
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

«Двенадцать» есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И все это прежде всего чертовски скучно бесконечной болтливостью и однообразием все одного и того же разнообразия, надоедает несметными ай, ай, эх, эх, ах, ах, ой, ой, тратата, трахтахтах... Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное:

Буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос...
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост...

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тратата!
А Ванька с Катькой в кабаке,
У ей керенки есть в чулке!
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою попробуй поцелуй!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?
Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Елекстрический фонарик
На оглобельках...
Ах, ах, пади.!

Это ли не народный язык? «Е л е к с т р и ч е с к и й»! Попробуй-ка произнести! И совершенно смехотворная нежность к оглоблям, — «оглобельки», — очевидно, тоже народная. А дальше нечто еще более народное:

Ах ты Катя, моя Катя,
Толстоморденькая!
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла?

История с этой Катькой кончается убийством ее и истерическим раскаянием убийцы, какого-то Петрухи, товарища какого-то Андрюхи:

Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...
Стой, стой! Андрюха помогай,
Петруха, сзаду забегай
Трахтахтахтах!
Что, Катька, рада? — Ни гугу!
Лежи ты, падаль, на снегу!
Эх, эх,
Позабавиться не грех!
Ты лети, буржуй, воробышком,
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку!
И опять идут двенадцать,
За плечами ружьеца,
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица!

Бедный убийца, один из двенадцати Христовых апостолов, которые идут совершенно неизвестно куда и зачем, и из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, уже ревет, рыдает, раскаивается, — ведь уж так всегда полагается, давно известно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться:

Ох, товарищи родные,
Эту девку я любил,
Ночки черные, хмельные,
С этой девкой проводил!

«Ты лети, буржуй, воробышком», — опять буржуй и уж совсем ни к селу, ни к городу, буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, — а дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черные, хмельные — от этого то заборного, то сусального русского стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:

Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле праваго плеча,
Загубил я, бестолковый
Загубил я сгоряча...
Ах!

В этой архи-русской трагедии не совсем ладно одно: сочетание толстой морды Катеньки с «бедовой удалью ее огневых очей». По-моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем кстати и «пунцовая родинка», — ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха!

А «под занавес» Блок дурачит публику уж совсем галиматьей, сказал я в заключение. Увлекшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пес — опять пес! — и патологическое кощунство: какой-то сладкий Иисусик, пляшущий (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убийц:

Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,

Впереди — с кровавым флагом,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз
Впереди — Иисус Христос!

Как не вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, которого Мефистофель привел в Кухню Ведьм:

Кого тут ведьма за нос водит?
Как будто хором чушь городит
Сто сорок тысяч дураков!

Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, — большевик до глубины души, и я ретроград, контрреволюционер и т. д.

Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавием «Скифы», написанное («созданное», как неизменно выражаются его поклонники) тотчас после «Двенадцати». Сколько было противных любовных воплей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографического «узорного платка до бровей»! Но вот наконец весь русский народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азиатом «с раскосыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам, Блок говорит от имени России не менее заносчиво, чем говорил от ее имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги») и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера:

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами!
Да, скифы мы! Да, азиаты — мы
С раскосыми и жадными очами!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перла,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет и губит.
Мы любим плоть — и вкус ее и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых...

В этих комических угрозах, в этой литературщине, которой я привожу лишь часть, есть конечно совсем непонятное, что значит, например, «копя и плавя наши перла»? Все остальное что ни слово, то золото: тьмы азиатов, раскосые и жадные очи, вкус и смертный запах плоти, тяжелые, нежные лапы, хрустящие людские скелеты и даже ломаемые конские крестцы, хотя ломать их за игривость коней есть дело не только злое и глупое, но и совершенно невозможное физически, так что уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» — грубая подделка под Пушкина («Клеветникам России»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это ведь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря: нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время создания «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за все существование России, развалилась вся русская армия, защищавшая ее от немцев, и поистине «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, — «Попробуйте сразиться с нами!» — удирали с фронта во все лопатки, и всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест-Литовске знаменитый «похабный мир»...

Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно:[1] за год до февральской революции я оказал большую услугу некоему приват-доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекции, ярому социал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольные революционные брошюрки, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станции Орша, за которой находились области оккупированные), и он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем зачем-то туда. Так мы и уехали из Москвы, — навсегда, как оказалось, — и какое это было все-таки ужасное путешествие! Поезд шел с вооруженной охраной, — на случай нападения на него последних удиравших с фронта скифов — по ночам проходил в темноте и весь затемненный станции, и что только было на вокзалах этих, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть «музыкой революции»!

В тот год власть большевиков простиралась еще на небольшую часть России, все остальное было или свободно или занято немцами, австрийцами, и с их согласия и при их поддержке управлялось самостоятельно. В тот год уже шло великое бегство из Великороссии людей всех чинов и званий, всякого пола и возраста — всякий, кто мог, бежал в еще свободную и неголодающую Россию. И вот оказался через некоторое время в Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандиевская[2], с двумя детьми, потом появился и он сам. Тут он встретился со мной как ни в чем не бывало и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще и не знал в нем:

— Вы не поверите, — кричал он, — до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собрании по поводу идиотских «Двенадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно решил удрать и при том как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинел русский народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и в поездах, такие речи хороших, бородатых мужиков насчет не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберемся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, — вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их![1]

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным, то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам. — Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, — но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцию, потом в Болгарию, в Сербию и, наконец, во Францию чуть не через год после того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под боль-

52

---

[1] 23 мая (по старому стилю) 1918 г.
[2] Н. В. Крандиевская, третья (а не вторая, как пишет Бунин) жена А. Н. Толстого

[1] К. М. Симонов, встречавшийся с Буниным в Париже в 1946 г., вспоминает замечание Бунина об А. Н. Толстом: «Что бы я там ни писал, однако и все же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как это рекомендовал в ту пору в одной из своих статеек Алеша Толстой (Литературная Россия, 1966, № 30, 22 июля, стр. 9) — **«Что бы я там ни писал»** Речь идет о дневнике И. Бунина «Окаянные дни», который печатался в 20-х годах в парижской газете «Возрождение», вошел в X том Собр. соч., Берлин, 1935, и вышел отдельной книгой к двадцатилетию со дня смерти Бунина в изд. «Заря», Лондон (Онтарио, Канада), 1973, под редакцией С. П. Крыжицкого. В «Окаянных днях» Бунин занял непримиримую антибольшевистскую позицию.

шевиками, освобождены были добровольцами Деникина, — его главная армия чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, — но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россией[1].

Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков[2], грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница-албанец, не знавший Черного моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русский моряк, заменивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бессмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской Академии), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», — сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помещение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал «Грядущая Россия» (начавший выходить в Париже)[2], затем одно огромное издание, куда я приглашен редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо...»

В первом письме были еще такие строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажиливать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов в 18-20[3]. Написано — одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно — сценарий... Франция — удивительная прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом... Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия — всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе, — тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников — Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей — Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу — в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но это мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты с отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстым. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

— Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

— В какой суматохе?

— Ну я уж не знаю в какой;

---

[1] И. А. Бунин и его жена В. Н. Муромцева-Бунина уехали из Одессы 26 января 1920 г.

[2] Кондаков Н. П. (1844—1925) — историк искусства, академик.

[1] Львов Г. Е., князь (1861-1925) — председатель совета министров, и министр внутренних дел Временного правительства, после Октябрьской революции — эмигрант.

[2] Журнал «Грядущая Россия» начал выходить в Париже в 1920 году. Журнал редактировался М. А. Алдановым (Ландау), В. И. Анри, А. Н. Толстым и Н. В. Чайковским. Вышло только два номера этого литературного журнала.

[3] Речь идет о первой части «Хождения по мукам» («Сестры»), появившейся в I-IV книгах парижского журнала «Современные записки» (1920-1921). «Современные записки» задуманы были группой эсеров, М. В. Вишняком, А. И. Гуковским и В. В. Рудневым. Позже начали работать в них Н. Д. Авксентьев и И. И. Фондаминский. Журнал возник в конце 1910 г. и просуществовал до 1940 г.

главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь — истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек, считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А, будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.

— Я не дурак, — говорил он мне, смеясь, — тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны...

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение, выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

— Понимаете, какая дурацкая история вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодий, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да, к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава Богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:

«У нас нынче буйабез от Прюнье и такое пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком — выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:

— Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков, — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, — иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, — и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

— Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милый друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть «тительные» денежки — рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает — надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши...»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующие письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, — Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантюре, — революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают, как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, — все черное. Живем мы в пансионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем — Наташа с детьми в Фрейбург, я — в Мюнхен... Здесь вовсю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города девять месяцев: жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать — четырнадцать тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около тридцати издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой *А. Толстой*».

Очень значительна в этом письме строка: «Если я получу что-нибудь

со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» Значит, он тогда еще и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне.

В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года, в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, — зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, — издалека увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? *А. Толстой*». *Я встал и прошел в ту сторону, кото*рую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» — спросил он, *вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом*, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

— Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, — меня ждали те, с кем я пришел в кафе, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече; и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского...

1949 г.



Редакция журнала «Слово» обратилась к известному писателю Олегу *МИХАЙЛОВУ — заведующему сектором Русского Зарубежья Института мировой литературы имени* А. М. Горького АН СССР, ведущему специалисту по русской зарубежной литературе, составителю и редактору девятитомного собрания сочинений Бунина, вышедшего в 60-х годах, с просьбой рассказать о судьбе бунинского наследия в нашей стране, о последних изданиях И. А. Бунина и о готовящемся Полном академическом собрании сочинений великого русского писателя.

— Вспоминаю, Олег Николаевич, как в конце семидесятых годов я прочитал до того времени совершенно мне неизвестную книгу Бунина «Окаянные дни». Она произвела на меня, можно сказать, ошеломляющее впечатление. Мне тогда удалось добыть в собственное владение ее ксерокопию. Все прекрасно помнят, что «деяния» подобного рода в те годы могли быть сочтены кое-кем почти за преступные... Сейчас можно только улыбнуться, но, не скрою, нет-нет, да становилось как-то «неуютно» — вдруг эту книгу у меня «обнаружат»? Но сила бунинского слова — как она была велика! Как было нужно это слово — и именно тогда, — ведь от всеобъемлющей, торжествующей лжи было уже и не «неуютно», и даже не страшно, а просто невыносимо скучно. Книга была пущена по рукам, ее читали друзья, знакомые, знакомые знакомых. Многие просили ее еще и еще раз. Я думаю потому, что она давала надежду. И в то время, конечно, никому бы в голову не пришло оспорить утверждение одного неглупого журналиста, который, как значилось в предисловии к книге, писал в парижской газете «Русская мысль»: «Можно держать на что угодно пари, что... они («Окаянные дни») в Советском Союзе не выйдут никогда...»

— Да, Бунин, у нас — будто бы и признанный классик, но писатель с драматической судьбой. Я имею в виду судьбу его книг в нашей стране, и даже в наше время — время перестройки, которое мы называем временем гласности и демократизации. Если же обратиться к более отдаленной поре, то там есть просто разительные примеры, как менялось отношение к Бунину. Так, например, Варлам Шаламов рассказывал мне, что в 1943 году, на Колыме, он получил дополнительный срок, — десять лет, — за то, что назвал Бунина — классиком. А всего лишь через одиннадцать лет, в 1954 году на Втором Всесоюзном съезде писателей то же самое утверждение, высказанное Фединым, вызвало писательские аплодисменты. С тех пор бунинские произведения публиковались обильно, были изданы три собрания сочинений. И тем не менее существует целый пласт произведений Бунина, на его родине никогда не печатавшихся или же печатавшихся с купюрами, выдирками, *искажающими смысл и содержание*.

— Последний том его девятитомного собрания сочинений, в который включены такие произведения, как «Освобождение Толстого», «О Чехове», автобиографические заметки, дневники, записные книжки, воспоминания, статьи и рецензии, тяжело, обидно и как-то даже унизительно читать, потому что то и дело натыкаешься на значок ⟨...⟩, обозначающий пропуск текста...

— Все это связано было, конечно же, прежде всего с причинами политическими, потому что Бунин не только не принял Октябрьский переворот, но и Февральскую революцию, а в пору братоубийственной гражданской войны занял недвусмысленную позицию противника большевизма...

— ...о котором он, как вы помните, в одном из своих писем 1934 года со свойственной ему прямотой, категоричностью и некой, я бы сказал, даже «ядовитостью» написал следующее: «Я лично совершенно убежден, что низменней, лживее, злей и деспотичней этой деятельности еще не было в человеческой истории даже в самые подлые и кровавые времена».

— Ряд послереволюционных произведений Бунина, видимо, безвозвратно утрачен. Я не уверен, существуют ли физически его произведения, печатавшиеся в таких изданиях, как «Одесская газета» и «Южное слово», которые мы не найдем ни в одесском, ни в московском спецхранах. А между тем тогда Бунин напечатал целый ряд очерков (например, «Великий дурман», о котором мы ничего не знаем — только заглавие). Не переиздан не только в России, но и за рубежом ряд статей и очерков Бунина, публиковавшихся в парижской газете «Возрождение», например, «Заборная орфография» или статья к юбилею Алексея Константиновича Толстого. Но на Западе есть и книги, которые у нас пока не опубликованы. Это прежде всего дневники Бунина, напечатанные Милицей Грин в трехтомнике «Устами Буниных».

— Но ведь в последнее шеститомное собрание сочинений Бунина эти дневники вошли?

— В этом издании, которое считается у нас наиболее полным, даны лишь их фрагменты с купюрами политического характера, хотя шестой том вышел в 1988 году (!). Не известны отечественному читателю такие его программные выступления, как речь «Миссия русской эмиграции», произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года. Все это служит легенде о Бунине, как о писателе, далеком от злобы дня. Между тем даже в поэтическом романе «Жизнь Арсеньева» немало страниц, где ощутима открыто полемическая тенденция (например, в изображении революционеров-народовольцев). Да что там «Жизнь Арсеньева»! В философско-религиозном трактате 1937 года «Освобождение Толстого» посреди глубоких прозрений о смысле русского гения и его нравственного подвига прорывается темпераментная полемика с марксистами:

«Крайний пример наиболее тупого толкования его учения и даже смысла всех его писаний дали русские марксисты. Еще много лет тому назад, еще до воцарения коммунистов в России, читал в Париже известный марксист Дейч лекцию «О Толстом с точки зрения научного социализма». Лекция сопровождалась выступлениями других ораторов, в том числе одного из самых известных не только в России, но и во всем социалистической Европе марксиста Плеханова. Он вполне серьезно слушал Дейча, не во всем согласился с ним, однако в конце концов приветствовал его: «Все-таки, сказал он, это первая попытка подобрать ключ к творчеству Толстого». Алданов, сведениями которого я тут пользуюсь, замечает, говоря об этом ключе в своей статье, написанной в столетнюю годовщину рождения Толстого, что с таким же правом можно было бы подыскать ключ к творчеству Бетховена в связи с теорией о происхождении видов Дарвина. Позволительно было надеяться, говорит он, что «первая попытка» подобрать такой ключ к Толстому останется последней; но надежда эта не оправдалась: в коммунистической России вышло уже свыше 80 работ о Толстом — все «с точки зрения научного социализма». Точка эта очень проста: «Толстой поражает своим социальным убожеством, идеологической ложью, но ценен тем, что в дни мрачной царской реакции возвысил свой голос против паразитствующих и насильничающих», — о том, что Толстой возвысил бы свой голос и в дни коммунистической «реакции» против всех ее насилий, не говорится, конечно; «Толстой делал подрыв буржуазии и дворянско-помещичьему самодержавию... Читать о Толстом нужно теперь у Ленина, у Луначарского...» Что же можно прочесть у Ленина!

В его статье, написанной по поводу восьмидесятилетия Толстого, я прочел следующее: «Противоречия в произведениях, взглядах, учениях в школе Толстого — кричащие. С одной стороны — гениальный художник, давший не только несравненную картину русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны — замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, а с другой стороны — «толстовец», то есть истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «Я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным усовершенствованием, я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны — беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны — юродивая проповедь «непротивлению злу насилием». С одной стороны — самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; с другой стороны — проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете — религии, стремление поставить на место попов на казенной должности попов по нравственному убеждению, то есть культивирование самой утонченной и поэтому особенно омерзительной поповщины». Тут вспоминается и Горький. Горький, тоже имевший удивительную способность делать решительно все, о чем бы он ни заговорил, пошлым и плоским, говорит в своих воспоминаниях о Толстом (безмерно пживых чуть не на каждом шагу), будто Толстой сделал ему однажды такое заявление: «Наука есть золотой слиток в руках шарлатана-химика; вы хотите ее упростить, сделать ее доступной для всех: оказывается, что вы начеканили кучу фальшивой монеты, и народ не поблагодарит вас, когда узнает действительную цену этой монеты». Тут нет, конечно, ни единого толстовского слова, — все выдумано и все совершенно противоположно духу и речи Толстого. Но не в том *дело. Говоря по существу, так ли уж* отличается Горький от всяких прочих толкователей Толстого! Прочие говорят в том же роде. Этот моралист и социальный реформатор был опаснейший революционер, выразитель наиболее бунтарских свойств русской души, — так, возмущаясь, говорят толкователи «правые». «Левые» же восхищаются: «Не было, кажется, ни одного рокового вопроса в сфере экономической, государственной, международной, которого не коснулся бы он!» Уличают на это и его биографы: один (Бирюков) ставит во главу угла всех толстовских терзаний такое положение: «Над народом находится так называемый высший, правящий класс, — преступный, по мнению Толстого». Другой (Полнер) — «несправедливость существующих земельных отношений: в этом великом грехе старец Толстой видел главную причину всех социальных невзгод».

Как видите, в этом отрывке ничего «крамольного» нет. Изрядную его часть занял кусок из хрестоматийной ленинской статьи, который, кстати, никак Буниным не комментируется...

Когда мы готовили это шеститомное собрание сочинений, я как член редколлегии потребовал, чтобы книга «Освобождение Толстого» была, наконец, опубликована полностью. Но, несмотря на то, что на дворе стоял разгар перестройки, издатели и тут посчитали, что необходимо оберегать идейную девственность нашего читателя, чтобы он не заразился, чего доброго, опасной ересью. Вот, например, рассказ 1925 года о легкомысленном, болтливом соседе-помещике. Весь он, кажется, написан ради концовки: «Каким далеким кажется мне теперь этот весенний вечер! Я вспоминаю его с разительной живостью, стоя под зимним дождем на Константинопольской улице и предлагая прохожим купить газету. В этой газете я недавно прочел о больших успехах по службе некоего «бывшего царского офицера», а ныне красного генерала, моего «дорогого соседа» из «Дубровки».

Как поступали в этом случае? Комментатор сообщает, что Бунин будто бы исключил этот абзац из-за «полного несоответствия с содержанием рассказа». Пойдя на эту «ложь во спасение», он одновременно подменяет бунинское заглавие «Красный генерал» другим, нейтральным — «Сосед». В таком изуродованном виде рассказ напечатан и в последнем, шеститомном собрании сочинений Бунина.

Если в художественной прозе изымались абзацы, то в бунинских воспоминаниях производились сокрушительные сокращения. Александр Трифонович Твардовский, будучи членом редколлегии собрания сочинений Бунина в девяти томах, с возмущением писал 10 марта 1967 года заведующей редакцией классической литературы издательства «Художественная литература»: «Решительно не помещать очерки-портреты А. Толстого и М. Волошина в таком изуродованном виде, — нет так нет, а то что же: один очерк урезан наполовину, другой на две трети. Это невозможно». Письмо не подействовало. Искромсанные цензурными ножницами очерки появились в заключительном, девятом томе этого собрания, а затем уже в 1988 году в том же самом искаженном виде были перепечатаны, несмотря на мои протесты как члена редколлегии, в шестом томе последнего бунинского собрания. Проще всего поступали с произведениями, в которых усматривалась «антиреволюционная тенденция». Их (например, рассказ «Товарищ Дозорный») просто не публиковали. Не публиковались даже хронологически далекие от современности рассказы о французской революции восемнадцатого века — «Андре Шенье», «Камилл Демулен» — из опасения, что читатель отыщет в них современные аналогии с развязанным якобинцами жестоким террором. Лишь по фрагментам наш читатель может судить об упоминавшейся вами книге публицистики Бунина «Окаянные дни». Более подробно я уже говорил о ней в журнале «Слово» (1989, № 7). Дожидается своего часа публикация и

другой его принципиально важной книги — «Воспоминания», некоторые главы из которой публиковались либо в усеченном виде, либо не публиковались у нас вообще («Горький», «Маяковский», «Гегель, фрак, метель»).

— Когда же, в конце концов, такое ненормальное положение изменится?

— Положение это совершенно недопустимое, и мы должны его решительно поправить, хотя бы потому, что у Бунина, как у классика, ничего второстепенного нет. В этом отношении принципиальным для нас является начало работы над академическим Полным собранием сочинений Бунина в двадцати томах, которое будет формироваться усилиями прежде всего сектора литературы русского зарубежья ИМЛИ.

— Каков план этого издания?

— В собрание сочинений войдут все доступные нам художественные тексты, публицистика, дневники, а также важнейшая часть бунинских писем. Так как значительная часть архивных материалов Бунина находится за пределами нашей страны, мы предполагаем обратиться к зарубежным исследователям, в том числе и к Милице Грин с просьбой принять участие в работе над этим собранием.

— Наша «неторопливая» издательская практика показывает, что выпуск многотомных академических изданий подобного рода занимает уйму лет...

— Мы намерены завершить это издание к 125-летию со дня рождения Бунина.

— Дай Бог, чтобы это исполнилось. В заключение хочу привести одно высказывание Бунина. Еще в 1926 году он, прекрасно понимая, к чему ведет диктатура в области художественного творчества, насильственно насаждаемая его регламентация, стандартизация и монополизация, в статье «Думая о Пушкине» писал: «Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы, — можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она — и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса?» Именно таким «воплощением простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса» стало для нас творчество самого́ Бунина, давно причисленного нами к тем русским писателям, которых мы называем великими.

И вам, Олег Николаевич, и всем, кто будет работать над его новым собранием сочинений, редакция журнала «Слово» желает непременного успеха.

Беседу вел
Ю. ЧЕХОНАДСКИЙ.

Уважаемая редакция «Слова»!

В статье «Разговоры с Леоновым»*, к сожалению, автором допущена досадная неточность в старинном изречении, относящемся к доисламскому периоду арабской литературы. Изречение это настолько широко известно, что стало своего рода поговоркой. Оно выражает глубокое народное почтение к тогдашним мастерам слова. В оригинале оно читается так: «чернила поэта стоят столько, сколько кровь мученика». Имеется в виду отнюдь не цветное снадобье, употребляемое при письменных занятиях, а глубочайшее, благоговейное отношение к художникам поэтического слова за философскую емкость и глубину их мысли, за предельный лаконизм и ювелирную афористичность их языка.

Кстати, остроуховский особняк-музей находился в Трубниковском переулке, 17. На Якиманке же, в снесенном ныне доме жил и работал другой, не менее известный художник-график В. Д. Фалилеев. А упоминаемый в статье дневник, который сам Илья Семенович Остроухов мне показывал при жизни, загадочно исчез сразу после его смерти.

С уважением,
Леонид ЛЕОНОВ

10 МАЯ 1990 г.

* — Журнал «Слово», № 5. 1989 г.

●

Опубликованный в № 1 за 1990 г. отчет о заседании секретариата Правления СП СССР, полученный из архива одного из руководителей СП того времени, оказалось, мало чем отличается от стенографических записей, которые вел на заседании сам «виновник» обсуждения А. И. Солженицын, включивший их впоследствии в вышедшую за рубежом книгу «Бодался теленок с дубом». Более того, как нам теперь стало известно от литературного посредника А. И. Солженицына и от самого Александра Исаевича, он считает эту стенограмму авторской, принадлежащей только ему со всеми вытекающими из данного обстоятельства последствиями. Не будем оспаривать подобное право, слишком сложна, тяжела и трагична была жизнь тех лет для писателя, да и не только для него. Принимаем это как данное и выражаем сожаление, что не могли снабдить публикацию стенограммы соответствующей ссылкой. Однако, думается, лучше поздно, чем никогда.

●

В № 5 нашего журнала под рубрикой «Книги из-под пломбы» мы познакомили читателей с главой из книги А. Авторханова «Загадка смерти Сталина (Заговор Берия)», изданной за рубежом, долгое время находившейся в спецхране и лишь совсем недавно ставшей доступной читателям.

Во вступлении к публикации мы выразили уверенность, что эта книга скоро будет переиздана и в нашей стране. И, как выяснилось, в своем предположении мы не ошиблись. В редакции журнала «Новый мир» нам сообщили, что издательское предприятие «Центр „Новый мир"», получившее от автора права на издание его книг в СССР, книгу «Загадка смерти Сталина» намерено выпустить в ближайшее время

Пользуясь случаем, редакция журнала «Слово» приносит извинения ее автору А. Авторханову за то, что не имела возможности своевременно известить его о публикации главы из этой книги

ДАНИИЛ МОРДОВЦЕВ

ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ

В застенке

На следующую ночь в ямской избе собрались бояре — князь Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский. Им предстояло трудное государское дело — пытать трех баб: боярыню Морозову, князя Петра Урусова жену Евдокию, да из дворянского рода Даниловых девицу Акинфею. Диву дались бояре, рассуждая о том, что ныне творится в московском государстве, а особливо в царствующем граде Москве: «бабы взбесились, все-таки до единой перебесились и бабы и девки». Забрали себе в голову — шутка сказать! — идти за Христом, — да так и прут и на все фыркают: боярыни фыркают на боярство, княгини и княжны на княжество, стрельчихи — на стрелецкую честь. На поди! говорят, что Христос-де и царского роду был, а жил смердом, мужиком, ходил мало без сапог — без лаптей, и спал, чу, под заборами, а питался-де под окнами — где день, где ночь жил. А об боярстве-де у него да о княжестве и помину не было, и кругом-де него все были мужики и смерды, рыбаки да пастухи. И кинулись это бабы все добро делать: сами нищих одевают и моют, боярышни им шти варят, да хлебы пекут — срам да и только».

Что это поделалось с бабами — бояре и ума не приложат. Житья не стало им дома от этих баб — не приступись к ним, так все рвут и мечут, а смотрят смиренницами.

— Вот и на моей княгине бес поехал, — говорил массивный, остробородый толстяк князь Воротынский: — уйма ей нету с тех самых мест, как увидела Морозову на дровнях — везли ее тады зимой под царские переходы; совсем взбесилась моя баба — «хочу, говорит, и я за Христом итти!» — «Да где тебе, говорю, полоротая, за Христом иттить, коли у тебя дом на руках и хозяйство?» — «Нищим, говорит, раздай все»... А! слышали! Ну, признаюсь, я ее маленько-таки, как закон велит, и постегал по закону: вежливенько, соймя рубашку...

— Что жена! — перебил его Одоевский: — у меня дочушка девчонка взбеленилась: «не хочу, говорит, быть княжной и служить диаволу, хочу, говорит Павловы узы носити»... А! и откуда оне взяли эти Павловы узы?

⟨...⟩ А всему виной Морозиха эта да Урусиха...

⟨...⟩ А ныне на поди! — обо всем-ту оне говорят, во все вмешиваются: и Никон-ту нехорош, и Аввакум-то хорош, и кресты-те не те, и просфоры не те, и клобук на чернецах велик да рогат-де, да римский-де он, неправый... И в закон бабы пустились: скоро нас, чаю, из боярской думы выгонят, да за веретено посадят, а сами в боярской думе будут государевы дела решать... Фу ты пропасть!

— И детей портят — и дети туда же за ними, — печаловался Одоевский.

— Что дети! Вон царевна София Алексеевна «комидийныя действа» смотрит, а на божественном писании, да на хитростях всяких Алмаза Иванова загоняет, — пояснил Воротынский.

— Что и говорить! А поди тут дело без черкас не обошлось — без хохлов этих... У! зелье народ!

— А вот теперь великий государь сердитует, гневом пышет, говорит — мы распустили узду, крамоле-де в зубы смотрим, — с огорчением пояснил Одоевский. — Ах, Боже мой! мы ли не стараемся?! Вон ноне все тюрьмы полны, сколько заново земляных тюрем выкопали и все полнехоньки... А крамола, словно гриб после дождя, из земли выскакивает...

За дверями послышалось звяканье кандалов. Бояре встрепенулись.

— Ведут ведьму-ту...

— Хорошенько надо попарить, да расправить боярские косточки...

В палату ввели, скорее на руках втащили, Морозову. Ее с помощью стрельцов привел Ларион Иванов. Бояре невольно встали, увидав ее спокойное лицо, которому они когда-то при дворе и в собственном доме так усердно кланялись.

За Морозовой ввели Урусову и Акинфеюшку. Сестры издали поздоровались.

— Здравствуй, Дунюшка! Жива еше? Не удавили?

— Жива, сестрица. А ты?

— Скучаю об венце... А ты, Акинфеюшка?

— Об странствии соскучилась я... хочу скорее иттить на тот свет, да посошка еще мучители не дали...

Арестантки разговаривали, как будто бы перед ними никого не было.

— Полно-ко вам! — перебил их Воротынский. — Вы приведены сюда не на поседки, а за государевым делом: для пыток.

— Али ты, князь Воротынский, из холопей в палачи пожалован? — заметила Морозова: — велика честь!

Воротынский не нашелся, что отвечать.

— Скора ты! — глянул на непокорную боярыню Одоевский. — Что-то скажешь на дыбе?

— Скажу тебе спасибо, князь Яков; не забыл-де мою хлеб-соль, как при покойном муже у меня ежеден гащивался, — по-прежнему спокойно отвечала боярыня.

И Одоевский поперхнулся: он вспомнил, как заискивал у этой самой Морозовой, как холопствовал перед ней и ее мужем и как, действительно, Морозовы до отвалу кормили его вместе с другими прихлебателями, льнувшими, как осы к меду, к царской родственнице и любимице.

Воротынский, который тоже кое-что вспомнил, желая замять свою неловкость, подошел к Акинфеюшке.

— Ты кто такая? Как твое имя? — спросил он.

— Мария, — был ответ.

— Как Мария? В отписке ты именована Акинфеею Герасимовою, Даниловых дворян.

— Была Акинфея... токмо не я, а другая... Я Мария.

— А чьих?

— Тебе на что? Богова — не твоя и не царева... На том свете не спросят мою душу: Данилова ты, али Гаврилова?..

— Покоряешься ли ты царю и собору?

— А тебе какое дело до моей покорности?

— Так мы повелим тебя пытать огнем.

— Пытайте: это ваше дело... Я ничего не украла, никого не убила, никому худа не делаю, токмо люблю моего Христа; за Христа и жгите меня, жиды новые.

Воротынский приказал вести ее в застенок. Она сама пошла впереди стрельцов. За стрельцами последовали Воротынский, Одоевский и Волынский. За ними ввели Морозову и Урусову.

В просторном застенке висели привешенные к потолку «хомуты» — хитрые приспособления для дыбы и встрясок. По стенам висели кнуты, плети, клещи. На полу, у стен, стояли огромные жаровни, лежали гири, веревки... На всем этом чернелись следы запекшейся крови... Огромный горн был полон — в нем тлели и вспыхивали синеватым огнем дубовые уголья... У горна и у хомутов

Продолжение. Начало в № 4/1990 г.

возились палачи с засученными рукавами, в кожаных фартуках, словно кузнецы.

— Оголи до пояса, — указал Воротынский палачам на Акинфеюшку.

Она было вздрогнула, но потом перекрестилась и опустила руки.

— Христа всего обнажили, чтобы ребра прободать и голени перебить, — сказала она как бы про себя.

— Дерзай, миленькая, дерзай! — ободряла ее Морозова: — будешь российскою первомученицею.

Палачи сорвали с Акинфеюшки верхнюю одежду и спустили рубаху до пояса... Она было прикрыла руками девичьи груди, согнулась, но палачи розняли руки и связали их за спиной... Несчастную подняли на дыбу... Она не вскрикнула и не застонала... Сделали встряску — руки несчастной выскочили из суставов...

— Господи! благодарю тебя! — прошептала мученица.

— Повтори встряску! — хрипло проговорил Воротынский.

Встряску повторили... Удивительно, как совсем не оторвались руки от туловища, от плеч... Несчастная висела долго... Морозова и Урусова глядели на нее и молча крестились.

Что же оцт и желчь не подаете? — проговорила с дыбы жертва человеческой глупости.

— Много чести, — злобно заметил Воротынский.

— Копием прободайте...

— Нет, мы плеточкой — любезное дело!

— Худа больно, легка на весу; ее дыба не берет, — глубокомысленно заметил Одоевский.

— Проберет, дай срок, — успокоил его Волынский.

— А теперь княгинюшку, — злорадно показал палачам Воротынский на Урусову, и сам сорвал с нее цветной покров, заметив: ты в опале царской, а носишь цветное!

— Я ничем не согрешила перед царем, — ответила Урусова тихо.

Палачи хотели было и ее обнажать.

— Не трошь ее! — раздался вдруг чей-то грубый голос.

Все с изумлением оглянулись. Из отряда стрельцов, стоявших в дверях застенки, отделился один, бледный, с дрожащими губами... То был Онисимко... Морозова узнала его: он целовал ее ноги, когда в первый раз заковывал их в железо... Она перекрестила его.

— Благословен грядый во имя Господне.

Палачи, озадаченные первым возгласом, опустили было руки, но теперь снова подняли их.

— Не трошь, дьяволы! она княгиня! — повторил Онисимко, хватаясь за саблю.

— Взять его! — закричал Воротынский.

Онисимку схватили за руки сотники и стрельцы и увели из застенка.

— Идолы! мало им! Скоро всех детей малых заберут в застенки! — слышался протестующий голос уведенного стрельца.

— Делай свое дело! — прикрикнул на палачей Воротынский.

На Урусовой разорвали ворот сорочки и обнажили, как и Акинфеюшку, до пояса. Она вся дрожала от стыда, но ничего не говорила. Всем, даже стрельцам, стало неловко: слышно было их тяжелое дыхание, словно бы их поджаривали на полке в бане... У Лариона Иванова даже лицо побледнело и глаза смотрели сурово...

Урусову подняли на дыбу... Она застонала...

— Потерпи, Дунюшка, потерпи — не долго уж! — ободряла ее сестра.

— Тряхай хомут-от! — командовал Воротынский.

И у Урусовой руки выскочили из суставов...

— Мотри и кайся, — обратился Воротынский к Морозовой. — Вот что ты наделала! От славы дошла до бесчестия. Вспомни: кто ты и какова от роду! И все от того, что принимала в дом юродивых...

— Я и тебя принимала — не ты ли урод у дьявола? — перебила его Морозова.

— О! ты востра на язык — знаю... да царь-от на вострoту твою не посмотрел... Где ныне твое благородие?

— Не велико наше телесное благородие, и слава человеческая суетна на земле, — с горечью отвечала Морозова. — Сын Божий жил в убожестве, а распят же был жидами, вот как и мы мучимся от вас.

— Добро! равняй себя со Христом-те...

— Я не равняю... отсохни и мой и твой язык за такое слово.

— Добро! Поговори-ка вон с ними — их поучи, мудрая! — указал он на палачей, которые усердствовали около Урусовой и Акинфеюшки. — Взять эту! Покачайте-ка боярыньку на качельцах.

Два палача приступили к Морозовой. Она кротко взглянула им в лицо и перекрестила того и другого.

— Здравствуйте, братцы, миленькие, — также кротко сказала она: — делайте доброе дело.

Палачи растерянно глядели на нее и не трогались. Она еще перекрестила их. У одного дрогнули губы; глаза удивленно заморгали; он глянул на стрельцов, на Воротынского.

— Делайте же доброе дело, миленькие, — повторила Морозова.

— Доброе... эх! какое слово ты сказала! — как-то отчаянно замотал головой второй палач.

— Ну-у! — прорычал Воротынский.

Палач глянул на него и еще пуще замотал головой.

— Воля твоя, боярин... вели голову рубить, — бормотал он: — али на нас креста нету?

— А! и ты!.. вот я вас! — задыхался, весь багровый, Воротынский. — Вяжите ее! — крикнул он на стрельцов.

И стрельцы ни с места... Воротынский, с пеной у рта, бросился было на стрельцов; те отступили... Он к палачам с поднятыми кулаками — и те попятились назад...

— Так я же сам! — и он, схватив Морозову за руки, потащил к свободному «хомуту».

К нему подбежал Ларион Иванов, и они вдвоем связали Морозовой руки за спину...

— Спасибо, что не побрезговали, — как бы про себя сказала она.

Подняли на дыбу и Морозову... В это время Акинфеюшку, вынутую из «хомута», положили вниз лицом на «кобылу» — нечто вроде наклонно поставленного длинного стола с круглой прорезью в верхней части «кобылы» для головы, чтобы, во время истязания кнутом или плетьми по спине, кнут не попадал в голову, и с кольцами по сторонам, для привязывания к ним истязаемой жертвы: руки и ноги несчастной прикрутили ремнями к кольцам, и два палача вперемежку стегали ее ременными кручеными плетьми по голой спине... Белая, нежная спина пытаемой скоро покрылась багровыми поперечными полосами, а вслед затем из багровых полос стала струиться темно-алая кровь...

— О-о-о! — вырвался из груди Морозовой стон отчаяния при виде мучений своей подруги по страданиям. — Это ли христианство, чтобы так людей учить?!

— Мы не попы, — злорадно огрызнулся Воротынский: — те учат словесами, а мы эдак-ту.

— А Христос так ли учил?

— Мы не Христы; где нам с суконным рылом!

Прежде других сняли с дыбы Урусову. Вывихнутые из суставов руки торчали врозь...

— О, что вы наделали? — залилась несчастная слезами: — ох, мои рученьки! Креститься мне нечем... Ох!

Палачи взяли ее за руки, потянули со встряской. Урусова вскрикнула от боли... но руки вошли в свои суставы... Она с трудом перекрестилась...

Акинфеюшку, с кровавою спиной, отвязали от колец и сняли с кобылы. Урусова, видя ее всю в крови, взяла свой белый покров, брошенный палачами на землю, и стала прикладывать им к истекающей кровью спине Акинфеюшки...

— Милая, голубушка, мученица... это святая кровь...

— Слава Тебе, Спаситель наш... сподобил меня...

— Бедная, горемычная...

Урусова целовала ее руки... Лицо Акинфеюшки выражало блаженство...

— Ох, как мне легко, Дунюшка!

Она взяла из рук Урусовой весь пропитанный кровью покров и, отыскав своего палача, подала ему...

— Возьми, братец миленький, этот покров, снеси его к брату моему кровному, Акинфею, отдай ему и скажи: «сестра-де тебе своею кровью кланяется...» Он тебя не оставит без награждения.

Когда вынули из «хомута» Морозову, то вывихнутые из суставов и еще не вправленные руки ее с широкими рукавами белой сорочки представляли подобие распростертых и запрокинутых назад крыльев...

Урусова и Акинфеюшка упали перед ней на колени и подняли руки на молитву...

— Матушка! ангел! ангел сущий во плоти..

— И крылышки... точно ангел... ах!

— Крыле, яко голубине... матушка! сестрица!

Но палачи поспешили превратить крылатого ангела в плачущую женщину...

«Чи я-ж тебе не люблю — не люблю,
Чи я-ж тоби черевичкив не куплю — не куплю!
Ой моя дивчинонько!
Ой моя рыбко!»

выбивал гопака в Чигирине, на улице, Петрусь, заметая широкой матнею улицу и площадь, в те самые часы, как в Москве, в ямской избе, шли пытания Морозовой, Урусовой и Акинфеюшки...

— Добре, Петрусь, добре! — кричала улица. — А ну, хлопче, ушкварь «гречаники».

И Петрусь «ушкварил».

Гоп, мои гречаники! гоп, мои били!
Чому-ж, мои гречаники, вас свини не или...

А на другом конце улицы дудит дуда́ на весь Чигирин:

Дуд у Дуды ночував,
Дуд у Дуды дудку вкрав...

— Уж дьяволова же сторонка! вот сторона! — ворчал, между тем, Соковнин, которому не спалось под этот полуночный гомон. — И когда они спят, дьяволы чубатые? — ну, сторона!.. А хорошая сторонка, что ни говори... А что-то на Москве теперь?.. что сестры?.. э-эх!

Мы сейчас видели, что его сестры...

Морозова в заточении

Воротынский доложил царю о безуспешности «розыска» над Морозовой и ее сестрой. Он доложил это с такими потрясающими подробностями, что Алексей Михайлович невольно побледнел.

— Палачей в трепет привела своим неистовством и стрельцов к своему суеверию наклонила, — пояснил Одоевский.

— Волосы ходили у меня, великий государь, по голове аки живы, — доложил и Волынский, — дьяк Алмаз, великий государь, занеможе от виду тоея муки.

Царь оглянулся кругом: дьяка Алмаза Иванова, действительно, не было среди приближенных.

— Что же делать с ними? — обратился царь к сонму князей и бояр: — и церковь, и земная власть бессильны над ними.

Все потупились, страшно было отвечать на такой вопрос...

— Огонь осилит, — послышался чей-то мрачный голос.

Все поглядели на говорившего: это был «краснощокий» Павел, митрополит крутицкий. Алексей Михайлович долго молча глядел на него.

— Огонь? — как бы не понимая этого слова, спросил он.

— Огонь небесный, великий государь.

— А в наших ли руках огонь-ат небесный? — качая головой, снова спросил царь.

— В твоих, великий государь: сказано бо — сердце царево в руце Божии...

— А Бог милостив.

— Милостив к верным, а на Содом и Гоморру он сослал с небесе огнь и жупел.

Бояре безмолвно переглядывались. Долгорукий, князь Димитрий, отец вдовы Брюховецкой, раздумчиво качал головой. Он вспомнил Морозову на свадьбе своей дочери, когда ее выдавали за Брюховецкого. Морозова была посаженной матерью и утешала плакавшую Оленушку... Сердце сжалось у Долгорукого при этом воспоминании: «обеим не задалось счастье... та там, эта — здесь...»

— Прикажи, великий государь, сруб поставить на Болоте, — продолжал жестокий митрополит «оладейник», — затепли свечу пред Господом, свеча эта будет Морозова...

Многие невольно вздрогнули от этого предложения...

— Из живова тела свечу Господу — ах! — отозвался кто-то.

— И свеча та спасет православный народ, — настаивал Павел.

Долгорукий не вытерпел: Морозова и его бедная погибшая дочь живыми стояли перед ним... одна горела, другая — так таяла.

— Али тебе, митрополит, мало свечнова сбору, что ты вздумал нас свечами поделать?! — с дрожью в голосе заговорил он: — спасай словом, а не огнем... Христос не жег огнем неверующих, а молился за них — «не ведают бо что творят...»

Царь ласково посмотрел на Долгорукого: ему самому тяжелы были эти пытки да казни.

Но так на этот раз ничем и не порешили.

Как бы то ни было, на другой день, за Москвой-рекой, на Болоте, как раз против тюремных окон, с раннего утра ставили какое-то странное здание. Это был четырехугольный сруб из сухих сосновых бревен, с одной дверкой, но без окон. В срубе складены были костром дрова, а пол устлан был соломой и уставлен снопами, которые доходили до самых верхних венцов сруба.

Любопытствующие толпились около этой странной горенки.

— Мотри-мотри, братцы, мышь бежит из сруба! — кричал парень с лотком на голове.

— То-то, *подлая*, знает, что в горенке-ту тепло будет, — осклабился другой малый.

— А вон и другия. Ах ты курова дочь!.. Н-ну!

К горенке подошли две монашки. В старшей, с низко опущенным на глаза клобучком, можно было, хотя с трудом, признать мать Меланию, отыскать которую не могли никакими средствами. Другая была молоденькая, и бледное, изящно округленное лицо ее обнаруживало, что не простого рода эта монашка. Это и была боярышня, сестра Анисья, которой писал когда-то Аввакум из своей тюремной кельи у Николы на Угреше, чтобы она забыла свое боярство, и «сама месила бы хлебы да варила шти для нищих».

Мелания грустно покачала головой, глядя на странную горенку...

— Уготована-уготована... постель брачная, — тихо бормотала она.

— Да, и снопами уложена, как подобает на свадьбе, — добавила Анисья.

— Так-так, Анисьюшка, эти хоромы краще царских...

Они заглянули и внутрь горенки...

— Да-да... чинно, зело чинно устроено...

Молодая монашка дотронулась рукой до снопов, до бревен... Руки ее дрожали...

— Ох, Федосьюшка! помолись за нас!

Мелания перекрестила все четыре угла страшной горенки. Все это она делала тихо, плавно; бесстрастное лицо ее выражало спокойствие, и только рысьи глазки светились ярче обыкновенного из-под своих навесов. Зато лицо ее молодой спутницы отражало на себе все волновавшие ее душу движения.

— Пойти утешить Федосьюшку, — сказала наконец Мелания.

— Чем, матушка?

— Да, вот, горенкой новой.

— О-ох! помилуй Господи!

— Да письмом Аввакумовым.

— Точно, точно, матушка... утешь ее, горемычную, порадуй... Вон она, мученица, что ту ночь вытерпела на пытке, Онисимко стрелец сказывал...

Молодая монашка нагнулась, выдернула из одного

снопа небольшой пучок соломы и поцеловала его. Затем они поклонились ужасной горенке и пошли в город. Молодая монашка шла с пучком соломы, словно бы она возвращалась с вербой от вербной заутрени... Она сама думала об этом...

— И точно верба... И под Христа ваии метали пред распятием.

— Только некого нам будет «плащаницею чистою обвить», — многозначительно сказала Мелания.

Ночью Мелании удалось пробраться в темницу к Морозовой. Как она проникла в это недоступное место — эта была тайна ее неотразимого влияния на всю, поголовно подчиненную ей, при том тайным подчинением, Москву. Меланию все знали, начиная от князей и бояр и кончая последними стрельцами, тюремщиками и палачами. Ей все повиновались, она проникала всюду, перед ней расступалась стража, отмыкались замки; но когда царь требовал сыскать эту опасную женщину, грозил опалой за неотыскание ее — Мелания точно сквозь землю проваливалась...

Стража Морозовой пропустила к ней мать Меланию.

Морозова стояла у тюремного окошечка и, держась руками за железную решетку, смотрела на бледные, слабо мерцающие звезды. Ей казалось, что кто-то смотрит к ней в темничное оконце, смотрит с того далекого, неведомого неба... Ей представлялось оно населенным живыми, светлыми, родными ей существами: и Ванюшка, сынок ее, и тот княжич, что полег давно на литовских кровавых полях, и добрый муж ее Глебушко, и тот сильный, страшный, но смирившийся Степанушко Разин... Где подели его голову, его кости? Куда ворон занес их?..

Дверь тихо визгнула и отворилась...

Федосьюшка! дочка моя! — послышался знакомый голос.

Матушка! мати моя! радость моя!

Морозова бросилась на землю и восторженно целовала руки своей учительницы. Мелания благословила ее. Слышны были только не то радостные, не то горькие всхлипывания...

За окном завыл протяжный оклик часового...

- Словно ангел, дверем затворенным пришла, — захлебывалась и радостью, и слезами Морозова.

— Не плачь, дочь моя, а радуйся, — внушительно сказала Мелания. Уж дом тебе готов, весьма добр, чинно устроен и соломою целыми снопами установлен — сама ходила на Болото посмотреть... Радуйся! уже отходишь ты в блаженство ко Христу, а нас сирых оставляешь...

Что чувствовала при этих словах своей наставницы Морозова — это знают только те немногие, которые решились идти на вольную смерть за идею... Они чувствуют то, что чувствовал Христос в саду Гефсиманском, когда молился о чаше: страшна эта чаша, хоть избранники своей волей тянутся испить содержимое в ней, — в этом сосуде смерти, хоть и сладко утешение там, глубоко где-то, в пламенеющей восторгом душе...

Морозова снова упала на колени и подняла руки к небу, которое слабо мерцало звездами сквозь тюремную решетку: она тихо молилась...

— Аввакумово послание к тебе принесла я, — пояснила старица. — Слово тебе великое, похвальное...

И она вынула из-под рясы сложенную в дудочку бумагу.

— От Аввакума! Господи, благодарю тебя! сподобил меня! — каким-то подавленным голосом воскликнула узница. — Перед смертью хоть... благословит меня...

Мелания подала ей сверток. У Морозовой дрожали руки, и она не могла развернуть послания...

Странничек в посохе принес из Пустозерья, — пояснила старица. — Просверлили подожок и вложили туда послание, страха ради никонианска: — а то никониане отняли бы...

Морозова развернула свиток, пригнулась к нему, поцеловала; но читать еще было темно, хотя летняя ночь уже посылала в тюремное оконце бледнорозовую зорю.

Потерпи мало, миленькая, уж светает, — успокаивала ее старица: — светлый лик Господа скоро глянет к тебе в оконце.

Морозова стала расспрашивать ее о том, что делалось в Москве, кого еще взяли, кто цел остался, кого замучили. Старица рассказывала, как плакал и целовал брат Акинфеюшки кровавое покрывало, которое она прислала ему из застенка, прямо с пытки, со стрельцом, как он призвал потом к себе стрелецких сотников, дарил их, угощал...

— А все ухлебливал их для того, чтобы не свирепы были к вам, дети мои, — поясняла старица.

Потом рассказала, как они с Анисьюшкой ходили на могилку к ее сынку, Ванюшке, помолились, панихидку отпели...

— И таково хорошо там у него, — прибавляла старица: — цветики лазоревы и аленьки, и синеньки посажены на могилке — таково хорошо цветут.

Все эти вести для заключенной казались принесенными из другого, далекого мира, в который для нее уже не было возврата.

— А братца твово Федора царь послал с грамотами в черкасскую землю, к гетману Петру Дорошонку, — сообщила старица, — а тот Дорошонок держит в полону нашу бывшую княжну Долгорукову...

— Оленушку — как же бедная! — еще я у ей посажоной матерью была, — горько покачала головой узница.

Заря уже ярко глядела в оконце, и хотя с трудом, но читать Аввакумово послание можно было. Морозова перекрестилась, снова поцеловала его, приблизила сверток к оконцу и стала читать.

«Аввакум протопоп, раб Божий, живый в могиле темней, кричит вам, чада мои: мир вам! — начала она.

Увы! измолче гортань мой, исчезосте очи мои, свет мой государыня Федосья Прокопьевна! Откликнись в могилу мою: еще ли ты дышишь, или удавили, или сожгли тебя, яко хлеб сладок? Не вем и не слышу. Не ведаю живо, не ведаю сконча ли чадо мое церковное, драгое? О, чадо мое милое! провещай мне, старцу грешну, един глагол: жива ли ты?»

Морозова невольно опустила бумагу на колени и утерла катившиеся из глаз слезы, которые, падая на лист, мешали читать...

Жива еще — дышу благодатию Божиею, — тихо, сквозь слезы, говорила она.

Вытерев глаза, она опять поднесла к свету бумагу.

— «Увы, Феодосия! увы, Евдокия»! — начала она снова, и остановилась.

— А что Дуня? — спросила она.

— Вечор я заглянула и к ней, — отвечала старица. Земно кланяется тебе.

— А что руки у нее — как?

— Опадать стала опухоль в плечах, — легшает.

— А духом как?

— Бодра... истинный воин Христов...

— «Увы Феодосия! увы Евдокия! — продолжала читать Морозова. — Два супруга нераспряженная, две ластовицы сладко глаголивыя, две маслины и два свещника пред Богом на земли стояще! Воистину подобни есте Еноху и Илии, женскую немощь отложивше и мужескую мудрость восприявше, диавола победиша и мучителей посрамиша, вопиюще и глаголюще: «Приидите, телеса наши мечи ссецыте и огнем сожгите, мы бо, радуяся, идем к жениху своему Христу. О, светила великия, солнце и луна русския земли. Феодосия и Евдокия»...

— Ах, матушка, мне стыдно читать, — потупилась узница, — я не стою этого...

— Он, свет наш, знает, чего ты стоишь, — успокаивала ее старица, — чти дале.

«О, две зари, освещающие весь мир на поднебесней! Воистину красота есте церкви и сияние присносущныя славы Господни, по благодати! Вы забрала церковная и стражи дома Господня, возбраняете волком вход во святыя. Вы два пастыря — пасете овчее стадо Христово на пажитех духовных, ограждающе всех молитвами от волков губящих; вы руководство заблудшим в райския двери и вшедшим древа животнаго насаждение. Вы похвала мучеников и радость праведным и святителем веселие. Вы ангелом собеседницы и всем святым сопричастницы и преподобным украшение. Вы и моей дряхлости жезл и подпора, и крепость и утверждение, и — что много говорю! — всем вся бысте ко исправлению и утверждению во Христа Иисуса...»

Она припала лицом к ладоням и тихо плакала радостными слезами...

— Не заслужила я, ох не заслужила...

— Полно-ка! — чти — скоро день, — понуждала ее старица, — он знает, что говорит.

«Как вас нареку? Вертоград едемский именую и Ноев славный ковчег, спасший мир от потопления. Древле говаривал и ныне тоже говорю: киот священия, скрижали завета, жезл Ааронов прозябший, два херувима одушевленная. Не ведаю как назвать. Язык мой короток, не досяжет вашея доброты и красоты. Ум мой не обымет подвига вашего и страдания. Подумаю, да лише руками возмохну! Как так государи изволили и такия высокия степени сступить и в безчестие вринуться! Воистину подобны Сыну Божию, от небес сступил, в нищету нашу облечеси и волею пострадал. Тому ж и зде прилично. О вас мне разсудить не дивно яко 20 лет и единое лето мучат мя»...

— Двадцать лет! — невольно воскликнула молодая узница, подняв глаза к потолку тюрьмы.

— Двадцать лет и с годом, — тихо поправила ее Мелания.

— А я то — что противу него! Мне и году нет, как я в заключении...

— Добро и то: нонешнюю ночь вспомни...

— Что, матушка, нонешнюю?

— Вчерашнюю, дочь моя, как на виске-те висела: там миг един годом кажется.

Старица была права: Морозова вспомнила прошлую ночь — ночь в застенке... Да, там минута острой боли казалась годом... Она невольно вздрогнула...

«На се-бо зван есмь, да отрясу бремя духовное, — продолжала она читать: — аз человек нищей, непородной и неразумной, от человек беззаступной, одеяния и злата и сребра не имею, священническа рода, протопоп чином, скорбей и печалей преисполнен пред Господом Богом. Но чудно и пречудно о вашей честности помыслити: род ваш Борис Иванович Морозов сему царю был дядька и пестун и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей день и нощь, покоя не имуще. Он сопротив того, царь-от, племянника его роднаго, Ивана Глебыча, опалою и гневом смерти напрасно предал твоего сына и моего света...»

Дрогнули у несчастной матери руки при чтении этих слов; но она отогнала от себя образ сына и продолжала читать.

«Увы, чадо драгое! увы, мой свете, утроба наша возлюбленная, твоя сын плотской, и мой духовной! яко трава посечена быст, яко лоза виноградная с плодом к земле преклонился в отыде в вечная блаженства со ангели ликовствовати и со лики праведных предстоит святей троице. Уже к тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебе уже некого четками стегать и не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, и по головке некого погладить...»

Она не могла дальше читать... «Некого по головке погладить»... Эта курчавая головка так и стоит перед нею... стоит — вот тут — в душе стоит... а погладить некого!

— О, мой сыночек! о, мой крин сельный!..

Она обхватила голову руками и закачалась на месте как бы от нестерпимой боли.

— Не плачь, Федосьюшка-свет, скоро сама с ним увидишься, — бросила ей жестокое утешение мать Мелания. — Он, светик, скоро встретит тебя...

— Ох! дитятко мое!

— А ты полно, родная, — чти... Он утешит тебя... чти, голубка!

Морозова оторвала руки от лица, подняла голову к небу и застонала, крепко стиснув руки.

— Читай же, чти, золотая.

— «Помнишь ли, как бывало миленькой мой государь, — читала несчастная, захлебываясь, — в последнее увидался я с ним, егда причастил его? Да пускай! Богу надобно так, и ты не больно о нем кручинься. Хорошо, право, Христос изволил. Явно разумеем, яко царствию небесному достоин. Хотя бы и всех нас побрал, гораздо бы изрядно: с Федором там себе у Христа ликуйствуют. Сподобил их Бог, а мы еще не вемы, как до берега доберемся. Поминаешь ли Федора и не сердитуешь ли на него? Поминай Бога-для, не сердитуй...»

— За что ж мне сердитовать на него? Божий был человек, — горестно покачала она головой: — помню, как раз он со мной в карете к Ртищевым ехал, миленькой... Да что про то вспоминать!

Становилось совсем светло. Восток розовел и на монастырском дворе и в зелени для мелкой птицы уже настал день радостей и забот — говорливый птичий день. Мать Мелания встала — на лицо ее легла особая тень...

Морозова все поняла чутким сердцем и, казалось, приникла, опустилась всем телом: сердце и лицо Мелании сразу сказали ей, что с ней хотят — «прощаться»... «прощаться в последний раз... навеки — прощаться, чтоб уж не свидеться более до страшной трубы ангела...»

— Матушка! ты покидаешь меня, — прошептала она, словно бы чужими дрожащими губами.

— Не я покидаю тебя, а ты нас: отходишь в блаженство, — резанули ее по сердцу беспощадным утешением. — Ты, свечечка наша воскояровая, гаснешь...

— О-о! мать моя! матушка!

Мелания незаметно вынула из-под своей черной рясы что-то блестящее... Звякнули ножницы...

— Матушка! что это?

— Ножницы, сладкое чадо мое.

— Зачем они тебе?

— А затем, дочушка моя, что ты отходишь от нас в жизнь вечную, покидаешь нас сирых... А нас много, что будут вспоминать тебя да плакать по тебе: мы с Анисьюшкой, Анна Амосова да Степанида Гневная — рабыни твои и сестры по Боге, раб твой Иванушка, что злато и серебро твое, все сокровища твои скрыл от царя и никониан и за что ныне взят в мучению предан...

— Так и Иванушку, старого раба дому моего, взяли? — спросила, о чем-то думая, узница.

— Взяли, милая.

— А богатства мои — золото и серебро и камни многоцветные?

— Сокрыты от всех... Иванушка и под пыткою не выдал тебя.

— Кому же открыл он?

— Мне, милая... Одна я, старая грешница, все знаю... Так вот нам на память об тебе хоть по прядочке волосочков твоих шелковых оставь, миленькая, чтоб было чем вспоминать тебя...

— Хоть всю косу мою возьмите! — страстно воскликнула молодая боярыня.

— Зачем всю косу? С косою ты должна предстать жениху твоему — Христу Богу...

— Матушка! Святая моя!

— С косою... с косою, дитятко... Эко коса у тебя!

И старая «наставница», распустив роскошную косу своей «послушницы», выбрала одну прядь и отрезала ее ножницами.

— Эко коса невиданная! — бормотала она, навертывая прядь на свой сухой палец. — Так-ту... А то вся бы сгорела — ни волосочка бы не осталось.

Морозова упала на колени, как бы на молитву.

— Благослови меня, матушка! подкрепи меня!

— Не ноне подкрепа моя нужна тебе, милая, а после... там...

Старая наставница не договорила. Морозова глядела на нее заплаканными глазами и, казалось, не понимала, что ей говорили.

— Ну, прощай, дочурка моя любимая, — перекрестила ее старуха. — А ты вот что слушай: когда возьмут тебя никониане на казнь и поставят на сруб и подожгут под тобой солому и дрова, тогда перекстись истово и покажи народу руку с двумя перстами: тут и меня увидишь... Я тоже подыму руку... по руке меня и узнаешь... Сквозь огонь и дым увидишь меня... Тогда я подкреплю тебя...

Где-то за монастырской стеной послышалась песня:

Как журушка по бережку похаживает,
Шелковую травинушку пощипывает!..

Продолжение следует.

ВСТРЕЧА С МАКСИМОВЫМ

Так получилось, что пишу и предисловие к отрывкам из романа Владимира Максимова «Заглянуть в бездну» (в будущем году выйдет в издательстве «Советская Россия») в тот день, когда писатель впервые после долгих лет отсутствия приехал в Москву. К нам возвращается еще один мастер русской прозы. Оказывается, жив человек. И не хлебом единым жив... Когда после осуждения романа «Семь дней творения» Владимиру Емельяновичу Максимову пришлось эмигрировать из России, он не ушел в тихую литературную жизнь, а возглавил Интернационал Сопротивления, организовал журнал «Континент», по единодушному мнению — лучший из сегодняшних журналов русского зарубежья...
...Из России уезжал несломленный молодой писатель, автор двух книг и неопубликованного романа. Сегодня приехал в Москву один из лидеров русского литературного зарубежья, европейски известный прозаик... Рассказывают, что двенадцатилетним подростком он сбежал из дома, пообещав сестре вернуться только тогда, когда станет знаменитым. Отец давно погиб в сталинских репрессиях, сестра, так же как и он, живет за границей, по стечению обстоятельств — редактирует другой известный литературный журнал за рубежом — «Грани».

Приехал из Парижа автор шеститомного собрания сочинений, среди которых такие яркие произведения, как «Семь дней творения», «Ковчег для незванных», романтизированная автобиография «Прощание из ниоткуда», «Карантин» и «Сага о Савве»...

Известны его яростные публицистические произведения, прежде всего «Сага о носорогах», вызвавшая гневные нападки даже в западной левой прессе...

Читатели уже познакомились с его выступлениями в «Литературной России», «Литературной газете», «Книжном обозрении», слышали беседы с ним по телевидению, встречались с ним во Дворце культуры и ЦДЛ. Скоро прочтут его романы в московских журналах.

Последний его роман, и на мой взгляд, один из лучших в современной прозе — «Заглянуть в бездну». Роман об адмирале Колчаке, и не только о нем. Роман о верной его подруге, и не только о ней. Роман о гражданской войне, и не только о ней. Владимир Максимов обращается к исторической прозе, так популярной и на Западе, и у нас в России, чтобы еще раз попытаться разобраться в великой русской трагедии двадцатого века, разобраться в себе и своем народе...

В своей жизни и своей публицистике Владимир Максимов бескомпромиссен. Он и в прозе старается четко обозначить добро и зло, отказываясь от модной в наше время нравственной расплывчатости.

Исторический фон романа «Заглянуть в бездну» — Сибирь периода гражданской войны. Психологический фон — одиночество Колчака, его последняя и безнадежная любовь, верность возлюбленному и после его гибели... Но главное в романе, на мой взгляд, попытка понять причины революции. Он считает: «Когда вы спуститесь в самое начало, дойдете до самой сути, вы поймете, что при всей чудовищности этого вывода виноватых-то не было. Каждый из нас в этом участвовал. И большевики виноваты, и Сталин виноват, и Ленин виноват... Соблазн равенством, братством, чудом всеобщего благоденствия. В конечном же счете прикосновение к этому соблазну всегда оборачивается трагедией... Вот почему мне кажется, что оздоровить общество может только всеобщее признание того, что все мы жертвы...» Для Владимира Максимова главная точка зрения — точка зрения самого народа. Даже, когда он ошибается, незачем высокомерно обвинять его, высмеивать его, унижать. Не мы ли сами навязывали народу то одну, то другую утопию, заставляли молиться на мнимых богов, сами при этом ни во что не веря. Мы подвели народ к бездне, а теперь стремимся отречься от него. Чтобы не пересказывать главные мысли писателя, лучше приведу убедительный отрывок из одной его яркой публицистической статьи. Внимательный читатель уже заметил, что наш плюрализм как бы спотыкается перед именами лидеров русского зарубежья. Почему-то как по приказу молчим о яростной публицистике Александра Солженицына, хотя его «Наши плюралисты» ой как нужны широкому читателю. Затягивается и возвращение прозы Владимира Максимова. Все-таки, не случайно, публиковать его мы начинаем после В. Аксенова и В. Войновича, И. Бродского и Г. Владимова. Всему виной — его страстное публицистическое перо, его воистину русская тяга к выяснению истин социальных, политических, перестроечных...

Вновь и вновь задаюсь вопросом — почему это все великие русские писатели, включая Чехова, Бунина, Булгакова — не числили себя в либералах? Что мешало Лескову стать любимцем нашей демократической публики? Зачем Чехов дружил с Сувориным? Почему мы сегодня распечатываем во всех журналах А. Синявского и не спешим публиковать совсем не демократического А. Зиновьева?

Вот и несомненный лидер после А. Солженицына русского литературного зарубежья, автор романов, обогативших русскую литературу последних десятилетий, человек, сознательно уходящий от любой дешевой групповщины, Владимир Максимов не боится задавать себе и всему обществу самые болезненные вопросы. Как легко сегодня все «перестройщики» разом очистились от своего прошлого и вновь выступают в качестве судей и пророков, вновь сваливают все беды на народ, вновь привычно обвиняют его. Владимир Максимов дает свою жесткую оценку происходящему в нашей культуре:

«В подавляющей части их теперешних литературных упражнений довольно откровенно проступает одна общая для всех них мысль: режим, установленный после Октября, в общем-то неплох и даже, более того, хорош, но вот исторически детерминированная сущность русского народа (заметьте, прежде всего русского, остальные как бы не в счет!) помешала его гармоническому развитию к всеобъемлющей свободе. В связи с этим, они всерьез пишут романы о принципиальной разнице между двумя партийными паханами, вроде Сталина и Кирова... взывают к совести народа, не спешащего ставить памятник палачу кронштадтских матросов и тамбовских крестьян Михаилу Тухачевскому... Тогда, спрашивается, при чем же здесь народ, к которому, судя по их сочинениям, у них так много претензий? Разве народ, а не они создавали во славу Ленина, а затем последовательно — Сталина, Хрущева, Брежнева, а теперь вот уже и Горбачева, — поэмы, романы, песни и кантаты? Разве в рабских недрах народа родилась написанная в самый разгар террора «Песня о Встречном» или позднее — музыка к «Падению Берлина», «Песнь о лесах», «Марш милиции»? Разве колхозник написал самую талантливую поэму во славу коллективизации и прочувствованные стихи на смерть Сталина? Разве народ поставил в кино «Ленин в Октябре» или «Тринадцать»? Разве люди улицы на протяжении семидесяти лет ежедневно и ежечасно со страниц газет и журналов, по радио, а затем и по телевидению, с кафедр лекционных залов и университетских аудиторий заполняли страну беспардонной ложью? Нет, уважаемые неуважаемые, это делали вы — мастера советской культуры, доведя в конце концов наш народ до полного духовного и материального обнищания. И если иные из народа, подписывая состряпанные за них разоблачительные тексты, порою даже толком не знали, кого они клеймят, то вышеозначенные мастера прекрасно ведали, что творят, когда ставили свои имена под кровожадными при-

зывами к беспощадным расправам. Рискуя сильно разъярить слабонервных, я все же осмеливаюсь назвать хотя бы несколько имен..., вроде Всеволода Иванова Игоря Грабаря, Давида Ойстраха и Переца Маркиша Вот, к примеру, хотя бы стишок тех лет «За все мы воздадим», принадлежащий перу последнего:

На бойни гнать бы вас с веревками на шее,
Чтоб вас орлиный взор с презреньем провожал
Того, кто родину, как сердце, выстрадал в траншеях,
Того, кто родиной в сердцах народа стал...

Трогательно, не правда ли? Но, если судить по литературным упражнениям его сыновей спустя пятьдесят лет, то окажется, что в успехе кровавых вакханалии «кавказского горца» виноваты не сочинители подобных стишков, а рабская психология русского народа. Тут уж поневоле сплюнешь в сердцах: чума на оба ваши дома!.. И если у меня нет права судить кого-либо за прошлое, у меня есть основания настаивать на покаянии нашей отечественной интеллигенции перед тем самым народом, который она годами околпачивала, а порою и продолжает околпачивать в соответствии с очередными колебаниями партийной линии. В противном случае ее нынешней антисталинской отваге грош цена!.. Пусть выложит советской общественности Алесь Адамович, какая смертельная опасность ожидала его, если бы он все-таки ответил на письмо, полученное им от дочери его переводчицы Зои Крахмальниковой, загнанной в горно-алтайскую ссылку за свои религиозные убеждения? Пусть, наконец, объяснит страждущему человечеству Александр Борщаговский, что, какие репрессии вынудили его в застойные времена активно участвовать в травле инакомыслящих писателей?.. Но, думаю, что им просто ни к чему. Шкала ценностей, которой они руководствуются, не знает никаких постоянных величин. Завтра, если понадобится, они будут проклинать все, что воспевают сегодня с той же искренностью, с какой вчера кляли позавчерашнее. И так до бесконечности...»

Считаю принципиально важной эту позицию Владимира Максимова — покаяние интеллигенции перед народом, а не наоборот. Сам Владимир Максимов — всей жизнью, всеми десятками книжек журнала «Континент», романами и повестями — показал свое писательское и гражданское мужество и от своей вины за все происшедшее с народом — никогда не отказывается. Несет ее в себе. Русской болью отзывается у читателей роман «Заглянуть в бездну». Может быть, это и есть самое главное?!

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО



Владимир Максимов. Москва. 1990

Фото ЮРИЯ САДОВНИКОВА

ЗАГЛЯНУТЬ

Вл. МАКСИМОВ



В БЕЗДНУ

АДМИРАЛ

1

В гулком омуте дворового колодца кружились белые мухи зацветающих тополей. В косых лучах уходящего за ближние крыши солнца цветы в палисаднике, казалось, тоже плыли куда-то наподобие пестрой армады утлых суденышек. Со двора, в распахнутые настежь окна тянуло травяным дурманом, прелью остывающей земли и застоявшейся кухней.

Оттуда, из-за соседнего, выходящего лицевой стороной на проезжую улицу дома, время от времени выплескивался автомобильный гул или паровозная перекличка с дымившей поблизости товарной станции.

В комнате было сухо и сумрачно. В тишине, которую изредка перечеркивало мушиным зуммером, ее собственный голос слышался ей самой чужим, вплывающим в окна откуда-то со стороны.

Эту историю она рассказывала себе всю жизнь с того дня, когда ружейный залп над февральской Ангарой проставил в конце этой истории свое нестройное многоточие. С годами рассказ расцвечивался все новыми и новыми подробностями, возникавшими всегда внезапно, но тут же обраставшими плотью и явью реальных фактов, как бы случившихся когда-то в действительности.

Эта история тянулась за ней, как нитка за иголкой, через Иркутский централ, Бутырки, Забайкалье, Караганду, Енисейск, Рыбинск и Тарусу в этот московский двор на городской окраине, где время замкнуло вокруг нее свой заколдованный круг. И окончательно остановилось.

У этой истории уже не было ни начала, ни конца, а оставалась замкнутая на самое себя бесконечность, единственным выходом из которой было бы полное растворение в ней, смерть, небытие.

Когда это случилось? И случалось ли это вообще? А может быть, это давний сон или госпитальный бред, не отпускающий ее до сих пор, что, однажды провалившись в нее, сам сделался пленником своей жертвы?

Но если это так, то откуда же тогда сквозь тополиный пух майского дня тянуло на нее сейчас зябким холодком февральской поземки, посвистывающей над ледяным панцирем Ангары?

Было это, было, и никуда от этого не денешься!

2

— Я увидела его, деточка, в тот год, когда мир рассыпался в прах и невзнузданные лошади метались по земле, как угорелые. Жизнь, словно линяющая змея, сбрасывала с себя одряхлевшую оболочку, являя человеку свой новый и легко ранимый лик. Он стоял, печальный и бледный среди всеобщей разрухи, и не было вокруг ни одной души, способной понять его или помочь. Священные развалины дымились под ним, страна кабаков и пророков с надеждой обращала к нему пустые глазницы поверженных храмов, и даль клубилась меж копытами разбойничьих табунов. Он был, как новый Адам после светопреставления, сорокалетний Адам в поношенном адмиральском сюртуке с пятнышком Георгиевского крестика ниже левого плеча. У него никогда ничего не было, кроме чемодана со сменой белья и парадным мундиром, а ведь ему приходилось до этого командовать лучшими флотами России. Теперь им пугают детей, изображают исчадием ада, кровожадным чудовищем с мертвыми глазами людоеда, а он всю жизнь мечтал о путешествиях и о тайном уединении в тиши кабинета над картами открытых земель. На своем долгом веку я не встречала человека более простого и уживчивого. Он был рожден для любви и науки, но судьба взвалила ему на плечи тяжесть диктаторской власти и ответственность за будущее опустошенной родины. Стоило мне лишь увидеть его, деточка, как сердце мое безошибочно определило: он! Тот самый, которого я ждала с первых дней своего девичьего сознания и о котором никогда не переставала думать. До него, до встречи с ним меня еще, собственно, не существовало, я была только внешней оболочкой для той души, какую Господь предназначил создать из его ребра. Лишь познав его, я увидела и услыхала себя как женщину и человека. Он тихо сказал мне: «Пойдем со мной». И я пошла за ним, не ведая сожалений и страха. Пошла, благословляя судьбу за выпавшее на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, свеча моя заветная, Сашенька, Александр Васильевич, страшно подумать, коли бы мы не встретились! Помнишь ту ночь нашу в Омске, когда все еще только начиналось? Помнишь, ты сказал мне: «Умереть бы нам вместе, Аннушка!» А потом: «Нет, нет — лучше я один, а ты живи, ты должна жить!» Помню, я плакала от любви и благодарности к тебе и все твердила, целуя тебя и задыхаясь: «Только вместе, Сашенька, только вместе, чтобы и там вместе». Сколько было у нас потом ночей и дней среди огня и крови великого потопа! Я знала, что не обманусь в нем, но он оказался много лучше моих самых радужных предположений. В содоме всеобщего помешательства он сумел сохранить в себе все, чем щедро одарила его природа: тонкость и великодушие, прямоту и мужество, бескорыстие и душевную целомудренность. Вокруг него вилось множество человеческих теней, в которые он пытался вдохнуть живую жизнь, обречь их в плоть и кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом, — но лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демагогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму достался не тот человеческий материал, из которого создают миры. Печальный и одинокий, сидел он в затемненном вагоне, невидяще глядя перед собой. Когда же надежда окончательно оставила его, он бросился в спасительное забытье любви. Мы впервые остались с ним по-настоящему вдвоем. Я молю Бога, деточка, чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы, истощались государства, стон, плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы, вишневый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы, и языческие кифаристы оглашали окрест негой и сладострастием. «Аннушка, — шептал он мне, — прости меня». «За что! — отзывалась я. — За что, Саша!» — «Я не смог сделать тебя счастливой». — «Ты дал мне все, о чем я могла только мечтать». — «Но ты достойна лучшего». — «Я хочу быть достойной одного тебя». Я не помню, я не хочу помнить, сколько это продолжалось, во мне тогда остановилось время и отсчет яви перестал существовать. Что же это были за дни, деточка, что за ночи, если их хватило на пятьдесят лет, чтобы не думать ни о ком, кроме него. Да, да, деточка, верите вы или нет, но я уже больше никому не отдала своего сердца. Я сдержала слово, и умерла вместе с ним в ту же минуту, как только ледяная вода сомкнулась над ним. Пятьдесят с лишним лет лагерей, тюрем и частной жизни я лишь влачила здесь свое бренное тело по воле Господа. Его предали подло и унизительно, предали за кучку золота, предали люди, которым он безоглядно доверился. Что ж, матерь городов славянских, златоглавая Прага, теперь ты пожинаешь плоды своего тогдашнего предательства. Пусть же помнят правители и народы, какой ценой расплачиваются потомки за их легкомысленный флирт с дьяволом! Нет, он не сказал на допросах ничего, что смогло бы повредить мне. Он отрицал нашу связь, наш союз, он отрекался от нашей любви, от наших клятв и обязательств — во имя моего спасения. Адам предавал свою Еву ради ее же блага. Но я не могла, не имела права принять от него подобного дара. Я пошла к ним сама. Я просила одного: смерти рядом с ним. Но даже в их глазах я не заслуживала этого, слишком большой для меня казалась им эта честь, таким недосягаемо высоким они его видели. Говорят, он вел себя до конца, как подобает мужчине и офицеру. Говорят, чекистов в нем покоряло его ровное спокойствие в течение всего следствия, его благородство по отношению к своим бывшим сотрудникам, вину которых он полностью брал на себя. Говорят, единственным занятием его в перерывах между допросами была молитва. Всю жизнь, деточка, он был верен Богу и, как видите, в час испытаний не отрекся от своей веры, наподобие Иова, а принял их, со смирением и молитвой. Я не сужу его убийц, они не ведали тогда, что творили, всем им впоследствии пришлось испить ту же чашу. До сих пор мне непонятно только одно, зачем им

понадобилось скрыть от меня его последнюю записку ко мне, какую опасность она для них представляла, что могла изменить? Где мера этой непонятной черствости, этой душевной глухоты, этого нравственного падения? Но есть, есть Божий суд, через столько лет, сквозь войны и мятежи, версты и голодовки, безвременье и перемены его зов, его последнее «прости» все же дошло до меня, а значит — так было угодно Всевышнему. Я знала, что, идя на смерть, он улыбался. Я знала, что перед расстрелом он пел мой любимый романс, но я никогда не осмеливалась думать, что он пел его для меня, для меня одной... Господи, чем отплачу я Тебе за Твою безмерную милость!.. Саша, Сашенька, Александр, свет, Васильевич!..

Было это, конечно было, хотя намного короче и проще. В лунной ночи за обрешеченным окном потрескивала лютая стужа. В камере давно не топилось, и, кутаясь в шубу, Адмирал пытался уснуть, но сон не шел к нему, оставляя его наедине с собой и своей памятью. Дни тянулись удручающе медленно, скрашенные только сумбурными, похожими скорее на собеседования допросами. Остальное время он был предоставлен самому себе, чем пользовался, чтобы еще и еще раз мысленно прокрутить события последних лет, взвесить все «за» и «против» вчерашних решений и поступков, отдать отчет хотя бы собственной совести: есть ли за ним вина во всем, уже случившемся?

Адмирал заранее знал, что его ждет в ближайшие дни, если не часы. С самого начала он обрек себя на это сознательно. У обстоятельств, сложившихся к тому времени в России, другого исхода и не было, как не было исхода у всякого смельчака, вздумавшего бы остановить лавину на самой ее быстрине. И все же, как теперь думалось ему, возможность задержать или смягчить окончательный обвал у него оставалась, стоило ему только принять предложенные противником законы «игры без правил», что, может быть, если и не изменило бы результаты, то сохранило бы многие преданные ему жизни, правда, за счет чужих и тоже многих. И хотя, конечно же, в его окружении многие не гнушались невинной крови и чужого добра, в слепой разнузданности такой войны, порождавшей взаимную ненависть, слабые быстро теряли голову, сам он, даже в минуты полного отчаяния так и не смог преступить черты, которая отделяла его от мира, заложенного в нем с молоком матери, от своих идеалов и ценностей.

В первые дни после выдачи Адмирал нашел атмосферу в здешней тюрьме почти патриархальной. Надзиратель Андреич, добродушный дядька из старых тюремных служак, относился к важному новичку даже с известным подобострастием, памятуя, видно, мудрое правило осторожной жизни: нынче князь, завтра — в грязь, а послезавтра опять в чести.

Заглядывая в камеру, он по обыкновению мешковато, но старательно вытягивался, начиная всегда одним и тем же:

— Морозит, ваше превосходительство, мочи нету, сопля с лёту мерзнет, собаку зашибить можно.

И лишь после этого, смущенно потоптавшись, выуживал из-под заношеной шинели то записочку от Аннет или Алмазовой, сидевших где-то в соседних камерах, а то — от них же! — какое-либо съедобное подспорье: тюремный рацион не отличался особым разнообразием, если не сказать больше.

То, что она все эти дни содержалась совсем рядом, и их мимолетные встречи на прогулках в тюремном дворе, — облегчало ему собственное заключение, но одновременно он изнуряюще терзался своей виной за ее сегодняшнее положение и будущую участь. И, хотя его не оставляла надежда, что тюремщики не решатся, не осмелятся расправиться с нею наравне с ним, он не переставал бояться за нее: слишком вызывающе вела она себя при аресте.

О, как ему хотелось бы, чтобы они оказались сейчас там же, где спасалась теперь его семья, или же в другом более безопасном месте, тогда бы он ушел из жизни со счастливым сердцем.

«Только бы ее миновала чаша сия, — исступленно молился он про себя, — смилуйся, Господи, над несчастной рабой твоей Анной!»

Когда в одной из последних записок Аннет сообщила ему, что части Каппеля уже на подступах к Иркутску, на него впервые пахнуло дыханием близкого конца: комитетчики, которых теперь полностью контролировали большевики, в случае успеха каппелевцев не оставят его победителям живым. Но, несмотря на это, он страстно желал им такого успеха: если уж ему все равно суждено умереть, он предпочитал умереть с праздничной уверенностью, что еще не побежден.

Ему вдруг пригрезился его давний дрейф на утлом вельботе сквозь ледяное крошево Северной губы в поисках экспедиции барона Толя. Ведь и тогда он если не наверняка знал, то чувствовал, что Толь и его люди погибли, должны были погибнуть, столько месяцев не имея в запасе ни продовольствия, ни средств передвижения. Их могло спасти только чудо, но, как и в начале теперешнего пути, он и в том своем упорстве надеялся на это чудо, которого, конечно же, не случилось, и все же ему никогда не пришлось пожалеть о первоначально принятом решении: не пуститься тогда на поиски означало для него зачеркнуть самого себя или до конца дней отдаться на растерзание собственной совести.

Адмирал очнулся от скрежета ключа в замочной скважине камерной двери. И по настойчивой вкрадчивости этого скрежета он, с мгновенно холодеющим сердцем, догадался, что пришли за ним и — в последний раз.

После первого ледяного ожога все в нем словно бы одеревенело и внутренне замкнулось в немотной отрешенности. Он рывком поднялся навстречу неизбежному и замер посреди камеры: «Господи, — четко отпечаталось в его мозгу, — укрепи душу раба своего Александра!»

Гости с керосиновыми фонарями в руках молча сгрудились тесным полукругом по ту сторону дверного проема, чуть ли не вытолкнув впереди себя единственного знакомого ему из них в лицо по недавним допросам — чекиста Чудновского, который, едва перешагнув через порог, так и остался стоять на том месте, куда его вытолкнули, и оттуда же, подсвеченный сзади зыбучим фонарным пламенем, принялся зачитывать Адмиралу постановление Иркутского ревкома.

Слова выговаривал, будто от кого-то отругиваясь, зло, отрывисто, с вызовом, на Адмирала не глядел, ожесточенными глазами близоруко сверлил бумагу перед собой, и трудно было понять, на кого он больше сердится: на себя или на осужденного.

Выслушав приговор, Адмирал, скорее, чтобы разрядить возникшую напряженность, чем недоумевая, спросил:

— Значит, суда не будет?

Чудновский только нетерпеливо пожал плечами, уступая ему дорогу наружу и вышел за ним следом в такой близости, что Адмирал ощущал его взбудораженное дыхание у себя на затылке.

Так они и проследовали друг за другом в окружении молчаливого конвоя до самой тюремной конторы, куда вскоре доставили Пепеляева.

Бывший премьер, видимо, уже находился в полной прострации. Тяжелая коренастая фигура его заметно съежилась и обмякла, и без того тусклые глазки еще более провалились, превратившись в едва мерцавшие мертвенным блеском в сером блине бесформенного лица бусины, и синюшных губах едва слышно складывалось молитвенное бормотание:

— ...яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля...

Брезгливо поморщившись в его сторону, Чудновский резко вскинулся на Адмирала:

— Есть ли у вас просьбы, адмирал?

— Могу ли я попрощаться с госпожой Темиревой?

— Нет. — Отказывать ему, быть может, и не доставляло радости, но властью своей он упивался. — Еще что?

— Тогда я прошу передать моей жене, которая живет в Париже, что я благословляю своего сына, и для себя — закурить.

— Если не забуду, то сообщу, а курить — курите.
— Благодарю...
Памятью Адмирал еще жил в том мире, где перед смертью допускалось просить с кем-то свидания или кого-то напутствовать и — что самое удивительное! — получать на это разрешение, но ему дано было лишь предчувствовать, а не знать наверное, что на смену этому миру отныне пришел другой, где людям в его положении уже не с кем будет прощаться и некого благословлять.
А Чудновский тем временем в упор подступился к Пепеляеву:
— Что у вас, только не размазывайте?
Тот словно бы внезапно очнулся от забытья, вздрогнул и, порывшись под полой полушубка, извлек оттуда и протянул Чудновскому сложенный вчетверо листок бумаги.
— Что это? — скривился Чудновский.
— Записка матери, — еле выговорил Пепеляев и добавил с усилием, умоляюще: — Пожалуйста.
— А! — отмахнулся от него тот, небрежно ткнул протянутый ему листок в карман шинели, повернулся к конвою. — Выводите!
В неверном свете керосиновых ламп лица двинувшихся к Адмиралу конвойных вдруг обозначились перед ним резче и определеннее. И он не почувствовал в них ни вызова, ни злобы, одно только тревожное любопытство, окрашенное некоторой настороженностью, словно они все еще ожидали от него какой-нибудь выходки или окрика.
И только один из них — из-под офицерской, не по размеру папахи, тюленьи глаза над пуговкой вздернутого носа, — пропуская его вперед, злорадно осклабился:
— Отвоевался, вашество...
«Господи, — шагнул мимо него Адмирал, — они даже шутить уже разучились по-человечески!»
В безветренной ночи скрип наста под ногами казался почти оглушительным. Сквозь едва подсиненную черноту вокруг все воспринималось резче, выпуклей, объемней, чем обычно. Студеный воздух, обжигая легкие, впервые не забивал дыхание, а клубился под сердцем пьяняще и освежающе. На фиолетовом снегу, заштрихованном размашистым углем соснового подлеска, человеческие тени выглядели до неправдоподобности огромными. Душа жила уже сама по себе, воспринимая окружающее как бы сверху или со стороны.
Пепеляевское бормотание за спиной только обостряло в Адмирале это ощущение все нарастающей в нем отстраненности от всего окружающего:
— ...Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков...
Дорога круто взяла на подъем. Зыбкий свет фонарей выхватил из темноты куцые флотилии торчавших из-под снега и морозной наледи могильных крестов, сразу же за которыми маячило черное полотнище сплошного леса, а над ним, этим полотнищем, плыла навстречу идущим, будто знамение, знак, тавро их судьбы, одинокая, но торжествующая звезда. Его звезда.
Подъем выравнивался на излет, когда сбоку, совсем рядом с Адмиралом, прозвучала надсадная команда Чудновского:
— Здесь, — выплюнул он в ночь. — Конвою развернуться в каре. — И уже пристраиваясь в затылок обреченным: — Пройдите вперед!
Пепеляевское бормотание за спиной Адмирала сделалось громче и надрывнее:
— ...Крестителю крестов, всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших: Тебе бо дадется благодать молитися за ны...
Через несколько шагов Чудновский тихо выдохнул сзади:
— Достаточно. Встаньте рядом, — и, приблизившись вплотную к Адмиралу, впервые, за все это время прямо взглянул ему в лицо. — Если у вас есть платок, адмирал, вам завяжут глаза.
— Платок у меня, разумеется, есть, — он откровенно издевался над собеседником, намеренно подчеркивал это самое «разумеется». — Но завязывать мне глаза не обязательно. Возьмите его себе на память, только осторожнее, в нем зашит яд — может, он когда-нибудь вам пригодится.
Ожесточение в бессонных зрачках Чудновского вдруг схлынуло, острое лицо устало осунулось, в голосе уже не оставалось ничего, кроме обычного житейского н е д о у м е н и я:
— Что же вы не воспользовались этим сами, адмирал?
— Вы безбожник, уважаемый, для вас это будет легче.
— Думаю, что мне это едва ли пригодится.
— Кто знает, уважаемый, кто знает, не зарекайтесь.
(Ты вспомнишь его слова, Чудновский, вспомнишь, когда поволокут тебя сопящие от азарта «молотобойцы»* по лестничным пролетам внутренней тюрьмы в ее расстрельный подвал, но не окажется у тебя в те испепеляющие минуты спасительного адмиральского платка, ибо мир, созданный тобой вместе с твоими единомышленниками, зачислит носовые платки заключенных в разряд смертоносного оружия мировой буржуазии!)
— Под твое благоутробие прибегаем, — пепеляевский голос опадал, словно скисшее тесто, — Богородице, моления наша не призри во обстоянии, но от бед избави ны, едина Чистая, едино Благословенная...
Адмирал попробовал было напоследок пробиться к слуху своего напарника:
— Может, простимся, Виктор Николаевич, по-христиански?
— Душе, покайся прежде исхода твоего, суд неумытен грешным есть, и нестерпимы возопий Господу во умилении сердца: согревших Ти в ведении и в неведении, щедрый, молитвами Богородицы, ущдери и спаси мя...
Пепеляев, видно, находился уже по другую сторону сознания.
В медленно удаляющихся шагах Чудновского чувствовалась грузная тяжесть, и — окажись у Адмирала возможность взглянуть сейчас тому в лицо — он мог бы поклясться, что торжество над поверженным врагом не принесло победителю ни радости, ни облегчения.
— На изготовку! — коротко выплеснулось из темноты, почти одновременно с грянувшим где-то вдалеке пушечным выстрелом. — Пли!
Странно, но Адмирал не услышал выстрела и не почувствовал боли. Только что-то мгновенно треснуло и надломилось в нем, а сразу вслед за этим возник уходящий вдаль винтообразный коридор со слепящим, но в то же время празднично умиротворяющим светом в конце, увлекая его к этому свету, и, осиянный оттуда встречной волной, он радостно и освобожденно растворился в ней.
Последнее, что он отметил своей земной памятью, было распростертое на синем снегу его собственное тело, вдруг ставшее для него чужим.

БЕРЖЕРОН

Год девятнадцатый

I

«Осознать мир, как заговор, значит, потерять надежду, — заметил мне однажды полковник Пишон, — путь, на который вы встали, Пьер, ведет только к отчаянью». Наверное, он прав, этот Пишон, но я ничего не могу с собой сделать. На каждом шагу я сталкиваюсь с фактами, подтверждающими мои предположения. Назойливые вопросы прямо-таки одолевают меня. Почему у меня на глазах вполне нормальные, уравновешенные люди вдруг теряют обратную связь, перестают видеть и слышать реальную действительность, принимаются жить болезненными химерами, утрачивают логику в мыслях, поступках, намерениях? Отчего естественные ценности — благородство, великодушие, верность слову — даже мне начинают казаться безнадежно старомодными? Чем объяснить беспричинную злобу, что разливается вокруг, затягивая в свое раскаленное поле и тех, кого я еще

* Молотобойцы — заплечных дел мастера (чекистский жаргон).

вчера считал образчиками добродушия и снисходительности? Взять хотя бы, к примеру, чешских легионеров. По делам службы мне приходилось бывать в чешской части Австро-Венгрии еще до войны. Я встречался там с десятками самых разных людей, от крупных общественных деятелей до простых крестьян. Признаюсь, ни до, ни после я не встречал в своей жизни народа более уживчивого, щепетильного, наделенного неиссякаемым чувством юмора. Что же могло с ним случиться, чтобы, оказавшись на чужой земле вдали от родины, они превратились в ораву полупьяных демагогов, не брезгующих никаким святотатством и хватающим на своем пути все попадающее им под руку, от пары валяных сапог и крестьянских самоваров до роялей и моторных яхт? Тогда что же? Или какие причины заставляют кичащихся своим свободолюбием американцев брататься во Владивостоке со злейшими врагами свободы — большевиками? А что общего вдруг нашлось у привередливых японцев с разнузданной атаманщиной? И какие соображения логического порядка вынуждают англичан почти открыто саботировать снабжение армии Адмирала? Не лучшим образом ведем себя и мы, равнодушно наблюдая за схваткой в ожидании победы сильнейшего. Выходит, не одна только дикость русских и обрусевших племен и народов стала причиной окружающего безумия? Вот тут-то и открывается передо мной бездна, в которую я страшусь окончательно заглянуть. Поговаривают, что Адмирал употребляет наркотики, но если бы я оказался на его месте, то, наверное, я делал бы то же самое. Видно, только приобщившись к всеобщему забытью, можно еще совсем не сойти с ума. Глядя на все вокруг и в самого себя, я невольно вопию к небу: «Боже праведный, Господи, зачем ты оставил нас?»

Год двадцатый

2

«13 января. Вчера за полночь, после долгих речей и споров, союзники наконец выработали текст гарантий для Адмирала Утром этот знаменательный документ уже был у меня на столе: «1. Поезда Адмирала с золотым запасом состоят под охраной союзных держав. 2. Когда обстановка позволит, поезда эти будут вывезены под флагами Англии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Франции, Японии и Чехословакии. 3. Станция Нижнеудинск объявляется нейтральной. Чехам надлежит охранять поезда Адмирала с золотым запасом и не допускать на станцию войска вновь образовавшегося в Нижнеудинске правительства. 4. Конвой Адмирала не разоружать. 5. В случае военного столкновения между войсками Адмирала и нижнеудинскими разоружать обе стороны; в остальном предоставить Адмиралу полную свободу действий». Когда днем я показал этот текст полковнику Пишону, он рассмеялся мне в лицо: «Послушайте, Пьер, кто может принять этот блеф за чистую монету! — воскликнул он. — Гарантия, которая не сто́ит бумаги, на которой дана, обратите внимание на последнюю фразу, она полностью снимает с нас всякую ответственность за последствия!» Увы, по зрелом размышлении, я согласился с ним: отныне Адмирал был обречен».

3

«16 января. Вчера Адмирала вместе с золотым запасом выдали Иркутскому комитету. В среде союзников все наперебой спешат свалить вину на чехов. Мы усиленно стараемся перекричать других, что вполне понятно: наше участие в этом сомнительном деле слишком бросается в глаза. Генерал Жанен официально Главнокомандующий Чехословацким корпусом в Сибири, и без его ведома чехи никогда не решились бы на такой шаг. Головой несчастного Адмирала союзники расплатились с комитетчиками за свой беспрепятственный проезд через Байкальские туннели на Восток. Тимирева сдалась добровольно, предпочитая остаться с ним до конца. Какая сила любви и духа перед лицом циничного предательства! Стыдно считать себя после этого мужчиной и офицером. Встречаясь, мы стараемся не глядеть друг на друга, делаем вид, будто не случилось ничего из ряда вон выходящего, в разговорах об аресте Адмирала ни слова — ни звука, словно мы и впрямь находимся в доме покойника. Такое чувство, что все кругом обгажены с головы до ног, но трусят в этом признаться. Боже, как это унизительно! Утром у меня был на эту тему разговор с полковником Пишоном. Он выслушал меня без особого интереса. «Ах, Пьер, — горестно воскликнул он в ответ, — если бы знали, как мне все это надоело! Мы лжем, изворачиваемся, лукавим, лишь бы уйти от ответственности. Вам, Пьер, известны мои взгляды, я никогда не симпатизировал Адмиралу, но то, что сделали с ним при нашем молчаливом согласии, это свинство, это больше, чем свинство, Пьер, уверяю вас, нам еще придется за это очень дорого расплачиваться».

Мне стало ясно, что я не одинок в своих пугающих предчувствиях. Россия вдруг представилась мне огромной опытной клеткой, в которой некоей целенаправленной волей проводится сейчас чудовищный по своему замыслу эксперимент. В чем замысел этого эксперимента и почему именно здесь, оставалось только гадать. Может быть, географическое пространство России, ставшее плавильным котлом для множества рас, вер и культур Востока и Запада, оказалось наиболее отзывчивым полем для социальных соблазнов и заманчивых ересей, а может, историческая молодость этой страны сделала ее столь беззащитной перед ними, кто знает, но что рано или поздно она втянет в свой заколдованный омут весь остальной мир, сомневаться уже не приходилось. И нечего теперь искать виноватых в этой роковой неизбежности. Большевики, инородцы, еврейский кагал, масоны или русские, с их рабскими инстинктами, какое это имеет значение? Все они, вместе взятые, заодно со своими врагами, лишь слепые пешки в чьих-то искусных и неумолимых руках, от которых не спасется никто: ни побежденные, ни победители. Вполне возможно, что погибающие сегодня окажутся счастливее оставшихся в живых и мне еще придется позавидовать судьбе Адмирала: ему в его трагическом пути было дано то, что навсегда утерял я, — Надежда. Итак, Адмирал: идущие на смерть приветствуют тебя!»

4

«5 апреля. Мы медленно движемся на Владивосток. Мимо окон проплывают невысокие горы, сплошь покрытые лесами. Снег вокруг них уже начинает оседать и темнеть в ожидании близкой весны. Только в таком вот томительно неспешном движении по-настоящему постигаешь всю почти фантастическую огромность этой земли. Мне, выходцу из страны, которую можно пересечь из конца в конец за пятнадцать-двадцать часов, такие расстояния и пространства представляются просто немыслимыми. Наверное, эта мрачная безбрежность и порождает в своих пределах страсти и катаклизмы соответствующего ее размерам масштаба. И если Сатана задумал вступить, наконец, в последнее единоборство с Богом, он не мог найти в мире место более для этого подходящее. В последние дни я занимаюсь тем, что сижу над конфиденциальными документами, пытаясь с их помощью напасть на след, ведущий к разгадке причин нашей дипломатии в Сибири. В первую очередь меня, конечно, заинтересовала переписка Жанена с нашим правительством. Вчитываясь в нее, я все более убеждался, что за ее протокольной лапидарностью кроется какой-то второй план. На первый взгляд, правительство Клемансо довольно последовательно придерживалось ориентации на Адмирала, но с развитием событий, хотя и едва заметно, менялся тон правительственных указаний: они становились все более обтекаемыми, позволяя адресату толковать их по своему усмотрению. Разумеется, как всякий опытный бюрократ, генерал Жанен моментально уловил эти нюансы, курс его политики по отношению к вчерашнему союзнику круто изменился, а в частных разговорах он и вовсе не считал нужным далее сдерживать себя. На одном из совещаний, предшествовавших выдаче Адмирала, он без обиняков заявил нам: «Со всех сторон мне напоминают о чести, совести, благородстве и прочих атрибутах сентиментального рыцарства, но у меня есть те же

самые обязательства и перед чехами, которыми я командую, я не могу отдать их на убой большевикам ради спасения одного отставного русского моряка. К тому же, даже его собственные соратники, например, генерал Дитерихс, считает, что расстрел Адмирала был бы справедлив и что это надо было бы сделать сразу же по прибытии его в Нижнеудинск». Слушая Жанена, я не верил своим ушам: это говорил человек, который всего за несколько месяцев до этого рассыпался в восторженных комплиментах и грубой лести перед тем самым «отставным русским моряком», какого он чернил теперь в глазах своих подчинённых. Есть ли предел человеческой низости! Но что в конце концов значил цинизм этого, любившего пожить, буржуа в генеральском мундире и таких, как он, по сравнению с тем, что стояло за ними! А за ними, отныне я это отлично сознавал, стоял замысел. Замысел, рассчитанный всерьез и надолго, до того самого мгновенья, когда вечная тьма окончательно покроет опустевшую землю. Я не в состоянии закрыть глаза на эту очевидность ради сохранения иллюзорной надежды, я оставляю это пишонам. К сожалению, мир — это все-таки заговор. Заговор безбожного человека против всех и самого себя. И только Бог волен вывести нас из этого замкнутого лабиринта. Но заслуживаем ли мы Его снисхождения? Чтобы отвлечься от изводящей меня тоски, я с утра зарываюсь в бумаги, которые служат мне единственным выходом из всеобщего безумия. Неожиданно среди бумаг мне попалось на глаза письмо, адресованное в Париж на имя вдовы Адмирала. Оно было кем-то уже распечатано и приобщено к его общему досье. К письму прилагалась препроводительная записка. Признаюсь, я начал читать ее не без легкого волнения: «Дорогая Софья Федоровна, к кому обратиться за помощью, кроме Вас, с кем у меня есть возможность связаться хотя бы через французскую миссию? Все остальные пути общения с внешним миром для меня отрезаны, я ничего не знаю о своих родных, близких, а главное, о сыне. Вы женщина и, я уверена, вы поймете меня, несмотря на то, что произошло между нами. Александра Васильевича больше нет, он ушел из жизни, как подобает мужчине и офицеру, даже его враги оценили это. Я была с ним почти до самого конца, но что будет со мною дальше, я не знаю. Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы передать через Вас письмо своему сыну. Может быть, Вам удастся разыскать его. Я все же тешу себя надеждой, что моим близким удалось вывезти мальчика за границу, но даже если нет, то для Вас легче установить, где он и что с ним? С последней надеждой на Вас, бесконечно виноватая перед Вами Ваша А. Тимирева». И затем обращение к сыну: «Дорогой мой! Я не знаю, где ты сейчас и что с тобой, но горячо верю, что ты жив, здоров и чувствуешь себя молодцом. Кто знает, увидимся ли мы с тобой когда-нибудь, но, если не увидимся, ты должен знать, что твоя мать никогда не забывала о тебе, хотя судьбе было угодно отнять тебя у нее в самую трудную пору ее жизни. Когда ты вырастешь, ты поймешь, не сможешь не понять, почему это случилось и какая беда развела нас с тобой. Прощай, мой ненаглядный, кровь моя, любовь моя, боль моя неизбывная...» Дальше я не мог читать, спазмы сдавили мне горло, я лишь с горечью посетовал про себя. «Господи, не слишком ли это много для одной просто женщины!»

5

«26 июня. Сегодня я навсегда покидаю Россию. Год с небольшим, проведенные мною здесь, сделали меня другим человеком. В этой стране я познал то, что наверное не следует знать простому смертному, слишком это ему не по силам. Но я все же благодарен ей за то, что, потеряв надежду, я научился в ней самому спасительному для людей — состраданию. Поэтому, расставаясь с ней сегодня, я не говорю ей «прощай», я говорю ей «до свидания». До скорого свидания, несчастная и благословенная в своем несчастье страна, потому что ты первая взяла на себя роковую ношу! Не знаю, сколько еще мне предстоит существовать на нашей скорбной земле, но жить так, как я жил до тебя, я уже не смогу!»

СЕВЕРНЫЕ БЕРЕЗЫ

В нашем сознании настолько прочно укрепилось, что Владимир Алексеевич Солоухин — прозаик, блестящий эссеист, мастер миниатюры, прозорливый публицист-патриот, что как-то даже и забылось, что он ведь и талантливый поэт. Но вот издательство «Молодая гвардия» решило нам об этом напомнить, выпустив книгу его стихов с эпиграфом самого поэта: «Держитесь, копите силы, Нам уходить нельзя. Россия еще не погибла. Пока мы живы, друзья»

В сборник, наряду с новыми стихами, вошли и стихи прежних лет. Некоторые из них, я помню, мы читали, как публицистические откровения в пору застойного безвременья: «Мы — волки, нас мало. Нас, можно сказать, — единицы. Мы те же собаки, Но мы не хотим смириться». И еще: «Вы смотрите в щелки, Мы рыщем в лесу на свободе. Вы в сущности — волки, Но вы изменили породе».

Да-да, Владимир Алексеевич не изменил себе. Он смел всегда говорить правду. Шла ли речь о варварском уничтожении русского крестьянства и православия, икон и храмов, русской речи и литературы Он был неистов в защите России, он ни перед кем не дрогнул, не отвел глаз, не онемел языком. Он обо всем судил справедливо, взыскательно и беспощадно.

За что ему наш сыновний поклон! И встреча с его новой книгой, это и встреча с поэтом, который в отличие от других известных не знал услужливых качелей и завистливой гонки к кремлевскому холму.

Арс. КУЗЬМИН

В. Солоухин. СЕВЕРНЫЕ БЕРЕЗЫ: Стихотворения. — М.: Мол. гвардия, 1990.

У ИСТОКОВ

Безусловно, альманах этот предназначен *прежде всего* специалистам — филологам, историкам, литературоведам, но заинтересует он и тех, кто хочет лучше узнать нашу тысячелетнюю культуру, обратиться непосредственно к истокам русской духовности. Авторы его, среди которых Д. Лихачев, В. Кожинов, Б. Тарасов, Г. Прохоров, В. Колесов и другие, постарались донести до нас всю прелесть, своеобразие, а главное — актуальность произведений древнерусской книжной культуры. И здесь приходится отметить грустный факт: имея такую богатую и интереснейшую литературу X—XVI веков, мы практически не знаем ее. В школьной программе она представлена лишь «Словом о полку Игореве». А имена Серапиона Владимирского, Вассиана Патрикеева, Даниила Заточника, митрополита Илариона не известны широкому кругу читателей.

Центральное место в альманахе отводится подробнейшему анализу памятника XI века — «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона. «Слово» рассматривается здесь не только как литературный и исторический текст, но и как философский трактат. Авторы подчеркивают необходимость осмысления такого рода литературных произведений в наше переломное время. Потому что уже в них «начинало складываться то целостное понимание России и мира, человека и истории, истины и добра, которое гораздо позднее, в XIX—XX веках, воплотилось с наибольшей мощью и открытостью в русской классической литературе и мысли...»

В альманахе публикуется древнерусский текст «Слова о законе и благодати», его перевод и комментарии, сделанные Виктором Дерягиным.

Здесь же представлены материалы о художественном оформлении русских рукописных книг и исследования из истории русского алфавита. В последнем разделе дается отчет о международной научной конференции в ИМЛИ имени А. М. Горького, посвященной тысячелетию крещения Руси и проблемам развития культуры и заметки Игоря Дьякова с Праздника славянской письменности в Новгороде.

Д. КОСТРОВА

АЛЬМАНАХ БИБЛИОФИЛА: Вып. 26. Тысячелетие рус. письменной культуры (988—1988) / Гл. ред. Е. Осетров Сост. П. Г. Горелов, В. В. Кожинов. — М.: Книга, 1989.

Виктору Бокову
любимцу моему,
горячему живому
поэту в непре-
станном действии,
[illegible], счастливом
[illegible]
Б. Пастернак
[illegible]

ВЫСОТА ДУХА

Ты царь! Иди дорогою свободной — завещал нам Пушкин. Таким свободным царем поэзии я всегда считал Бориса Пастернака. Он шел в самые мрачные времена сталинщины туда, куда влек его свободный ум художника. Его стояние и сопротивление времени поистине героично. Мы отмечаем первое столетие со дня рождения Бориса Пастернака, уверен, что будет отмечаться и второе столетие, ибо Пастернак — гений, он уже при жизни стал легендой. Во время похорон Пастернака, выдающийся философ Валентин Асмус (я это слышал сам!) сказал: Пастернак был одним из самых искренних людей нашего времени, он честно спорил со своей эпохой и гордо нес свою судьбу. В одном из писем к Зинаиде Николаевне Пастернак обмолвился: «я люблю трудную судьбу». Это ли не высота духа и не свойство истинного таланта.

Он был доступен, демократичен, естествен.

Надо было видеть, с каким упоением этот тончайший артист, интеллигент держал лопату и перекапывал землю на даче в Переделкине.

На ногах сапоги, ворот рубахи расстегнут, рукава по-рабочему закатаны, глаза горят вдохновеньем и целесообразностью работы.

Судьба подарила мне дружбу с Борисом Леонидовичем. Эта дружба длилась долго, я был в числе тех, кто нес его гроб от дачи до могилы, кто горестно склонял свою голову над великим покойником.

Много, много раз я встречался с ним в Переделкине, в Чистополе на Каме во время эвакуации. Каждый приход к нему был для меня счастьем. Он заряжал меня, опального поэта, перенесшего Сиблаг, энергией терпения и надежды. Автограф на одной из подаренных мне книг начинался словами — «любимцу моему». Когда я прочел это наедине, у меня в глазах потемнело. Я буквально не шел, а бежал с книгой в руке, не садился на скамью, а складывал крылья, чтобы не вставать, а взлетать и нести с собой бесценный дар — книгу великого поэта!

Мне иногда с упреком говорили: — Ты же крестьянин, а любишь Пастернака. Как это понимать?

А для меня он был самый земной, а для меня он был пахарем и сеятелем в поле литературы и в трудные мои годы и теперь, когда и сам я седой.

Ходил он быстро и размашисто, эта мгновенность в движениях была и в его стихах. Об этом очень хорошо сказал мне Юрий Олеша: — У Пастернака лестничный синтаксис. По перилам спускается без оглядки.

Это круто наливавшийся свист — одно из определений поэзии самим Пастернаком. Вся поэзия Бориса Леонидовича — крутой налив, всевластная над словом музыка.

Однажды во время нашей беседы о поэзии Пастернак, разгорячившись разговором, выпалил на едином дыхании:

— Когда приходит поэзия, открываются все шлюзы, идет высокий уровень слова, в потоке братаются все слова, самые затертые и самые редкостные, тут не зевай!

Мелодический поток стиха у Пастернака всегда мощный, при любой протяженности строки. Едва только вы прочтете «Приходил по ночам», вы уже в плену у музыки, в глубокой сосредоточенности к восприятию.

Глубина дыхания удивительно насыщена. Длинные строки его тоже дышат и увлекают. Органическая, глубокая связь с музыкой обнаруживается сразу: «Февраль, достать чернил и плакать». В этой музыке присутствуют две руки: правая и левая. Это привычка музыканта взять аккорд. Февраль — это левая рука, достать чернил и плакать — правая. Строка сыграна, аккорд взят, звук и возможности музыканта опробованы, можно идти дальше.

Теснота словесного ряда, густота красок, ритмическая натруженность стиха — вот характерные слагаемые стиля поэта, его лирического могущества. Художник высокого артистизма, живой нерв поэзии, музыкальный орган, работающий рядом с Бахом, пианист-композитор, признанный самим Скрябиным, и потому так близкий летучему хмелю этюдов Шопена, Пастернак только еще начинает свой путь в смысле широкой известности. Чем больше общество будет овладевать высотами культуры, тем больше будет читателей Пастернака.

Я хочу обратить внимание на «неслыханную простоту» его словаря, на смелость пользования просторечием:

Город кашляет школой и коксом...
Народ потел, как хлебный квас на леднике...
Как масло били лошади пространство...
И дождь затяжной, как нужда...
Грудь под поцелуи, как под рукомойник...
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет...
Падает чайка, как ковшик...

Такое обращение к быту несет в себе радость узнавания своей земли, своих обычаев, дает возможность поэту приподымать быт до образов высокого значения:

Запахивались вьюги одеялом,
С грудными городами на груди.

Города превращаются в младенцев, которые неотрывны от матери-жизни. Быт в поэзии Пастернака всегда освящен духовностью, он никогда не бывает натурализмом, он несет свет:

Ты вся, как мысль, как этот Днепр
В зеленой коже рвов и стежек,
Как жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.

Гениальное стихотворение «Рослый стрелок, осторожный охотник» посвящено вечной теме — смерти. Я не знаю равного ему в нашей поэзии. Если бы созвать пир метафор, оно бы занимало первое место. Пастернак написал его, когда ему было 42 года, возраст вполне зрелый для поэта. Сюжетно развернутый ряд метафор этого стихотворения великолепен. Рослый стрелок, осторожный охотник — это смерть, которая охотится за каждым из нас, «высота звонкой разлуки» — это тоже смерть, которая неизбежна. Пересказывать нет смысла, надо прочесть.

Из заветов, оставленных нам, поэтам, Борисом Пастернаком, хочу привести вот этот:

Поэзия, не поступайся ширью,
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай!

Это из «Спекторского».

Пастернак никогда не бывает холодным, рассудочным. Его зрение — горячее. Он сам об этом сказал:

Как конский глаз, с подушек жарких, скоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

В год лошади отмечаем столетие Бориса Пастернака.

— Из хомута не вылезаю, — как-то он пожаловался мне.

«Литературу делают волы», — записал Жюль Ренар в своем дневнике.

Таким рабочим волом, добрым конем был Борис Пастернак. Все, что он сделал в литературе, остается, как золотой фонд творчества и чудотворства.

ВИКТОР БОКОВ

Апрель 1990 г. ПЕРЕДЕЛКИНО

Борис Пастернак и Владимир Маяковский



Досадно, что мне изменяет память и что я не могу восстановить разговора (шедшего, естественно через меня) между русским футуристом и футуристом итальянским, между большевиком и фашистом. Помню только попытки Маринетти доказать Маяковскому, что для Италии фашизм является тем же, чем для России является коммунизм, и огорченного Маяковского. Были мы у Пикассо, который тогда жил и работал на улице Боэси. Были у художника Роберта Делоннэ, где Маяковский познакомился с поэтом-дадаистом Тристаном Тцара. Смутно выплывает чья-то большая квартира, люди, толчея, писатель Ясинович, автор тогда нашумевшей книги «Гоа-Юродивый», и все это — люди, писатель, картины на стенах, книги — имеет какое-то отношение к семье Виардо, к певице Полине Виардо, возлюбленной Тургенева, и к самому Тургеневу. Помню заинтересованного, даже взволнованного Маяковского... но все это ускользает от меня, как сон. Что-то в этом смысле несомненно было, недаром в парижском стихотворении Маяковского «Верлен и Сезан» есть строчки:

Туман-парикмахер,
он делает гениев, —
загримировал одного
бородой.
Добрый вечер, m-r *Тургенев.*
Добрый вечер, m-me *Виардо.*

Были мы с Маяковским у моего друга Фернана Леже, в его ателье, на улице Нотр-Дам-де-Шан. С Леже мы встречались чаще, чем с другими французами, эти богатыри сговаривались друг с другом без разговора. Леже показывал Володе Париж, водил нас в танцульки на рю де Лапп возле площади Бастилии, где, случалось, происходили смертельные драки между неуживчивыми, ревнивыми сутенерами. Как-то, в компании, ходили куда-то на Монмартр с поэтом-сюрреалистом Роже Витраком... Словом, Маяковский видел в Париже несчетное количество людей искусства, видел и самый Париж, с лица и изнанки, и его великолепные кварталы, и рабочий район Бельвилль, и пышные рестораны, и скромные трактирчики, музеи, соборы...

Окончание. Начало в №№ 1, 3/1990.

С какого-то времени за нами повсюду начали ходить шпики, может быть, с тех пор, как Володя стал часто встречаться с товарищами из полпредства. Куда мы, туда и шпики. Что-то записывали в книжечки, и Володя научил меня выражению: «взять на карандаш» — «Смотри, Элечка, они взяли тебя на карандаш!». Шпиков этих мы знали в лицо. Как-то пошли мы с товарищами завтракать все в тот же ресторан «Гранд-Шомьер», который Володя окончательно облюбовал (он любил ходить всегда в одно и то же место, как привычный посетитель, садиться за тот же столик и даже есть то же самое), и рядом с нами, за соседним столиком, расположились наши шпики — пожилой и молодой. Истые французы. Маяковский был в хорошем настроении, беспрестанно острил, и мы безудержно смеялись. Шпики сидели тихо, как ничего не понимающие, и пожирали свои бифштексы. До тех пор пока Маяковский не начал рассказывать про одну биллиардную партию на позор и про то, как проигравший, солидный, серьезный человек лез под биллиард... Мы рыдали от смеха! Маяковский говорил нарочито громко и, наконец, иаших соседей прорвало: они начали смеяться тем неудержимым смехом, который сильнее карьеры и чувства долга! Их так разобрало, что они долго не могли успокоиться. Полное разоблачение! Если они «взяли нас на карандаш», то интересно было бы посмотреть, что же они такое написали в этот день про Маяковского.

* * *

В 1925-м году я собралась в Москву. Меня одолевала тоска, и я бередила свои раны еще тем, что писала в то время «Земляничку», повесть, отчасти автобиографическую, и жила Москвой. Володе я читала «Земляничку»[30], только начатую, по мере написания. Он ходил по поло-

сатой комнате отеля «Истрия», стукаясь «о стол, о шкафа острия», пожевывал папиросу, сопел... Нравились ему имена двух девочек, сестер — Земляничка и Лиска. Рыжая Лиска. Поучал не сразу, резко, и не по поводу только что написанного. Говорил, например, об изношенных эпитетах, сравнениях, припомнил мне «На Таити», где есть у меня, к сожалению, выражение «королевская поступь маори»: «По-твоему, если поступь, то обязательно королевская? А по-моему, у королей капуста в бороде...». Говорил обидно, спуска не давал, а потому, смею вас уверить, что с тех пор, прежде чем воспользоваться сравнением, я трижды его проверю! Говорил о том же, о чем подробно писал в «Как делать стихи», о том, что я пишу только еще первые книги всем накопившимся, но когда я все это, готовое, поистрачу, что же я тогда буду делать? Поучительно говорил, что надо делать запасы из всего, что встретится, и не транжирить их зря. Для примера: как-то я при Маяковском начала рассказывать о том, как в лондонских кино, куда молодежь ходит целоваться, барышни-разносчицы, продающие сласти, перед тем как зажигается свет, начинают предупреждающе кричать: «Шоколад! Шоколад!» Володя отчаянной мимикой пытался меня остановить и, наконец, шепнул мне с миной заговорщика: «Молчи! Пригодится!». Не раз он меня так останавливал, и я по сей день это помню и, случается, прикусываю язык и говорю себе: «Молчи! Пригодится!».

Так вот, в то время я особенно затосковала по Москве, хотя бы — пожить немножко! А тут как раз и консульство советское открылось. Я отправилась в консульство. Там было переполнено, перед длинным как бы прилавком толкались парижские русские. Я объяснила консульскому служащему зачем я пришла, и он тут же напустился на меня со своей подозрительностью к эмиграции. Почему у меня французский паспорт?.. А где мой советский, по которому я выехала? «Вы его скрываете, утаиваете! Оттого, что вы бежали, что заграничного паспорта у вас никогда и не было». Я начала объяснять все по порядку, что мне на Новой Басманной дали советский заграничный паспорт «для выхода замуж» и что я вышла замуж в 19-м году, и что мне дали французский паспорт, когда у меня выбора не было. Но он не слушал, и я пришла домой в слезах. Под володины утешения я начала рыться в чемоданах и — о, чудо! — нашла свой старый заграничный советский паспорт. В консульство я вернулась уже с паспортом и под прикрытием Маяковского. Володя защитно обнимал меня и объяснял, что Элечку обижать никак нельзя. Паспорт мой произвел сенсацию, на него сбежалось смотреть все консульство — он носил чуть ли не первый номер советских заграничных паспортов. Меня попросили подарить его консульству как исторический документ, и я на радостях согласилась его отдать. Визу мне дали.

Вскоре Маяковский уехал в Мексику. А через некоторое время уехала и я в Москву.

* * *

В то время Брики и Маяковский жили круглый год на даче, в Сокольниках. Кроме того, у Маяковского была комната в Москве, в Лубянском проезде; в этой комнате помещалась также и редакция «Лефа».

Я приехала летом, и в Сокольниках, на даче с садом, было свободно. Когда же наступила зима, то оказалось, что на даче повернуться негде: в общей комнате стояли большой стол, большой диван, большой рояль и откуда-то прибывший большой биллиард; кроме общей, большой, были еще две комнаты поменьше и еще одна совсем маленькая. Из двух, что поменьше, одна была спальней, а другую, холодную, запирали на висячий замок, и там стояли ящики и чемоданы. Я спала в совсем маленькой.

Жить зимой в Сокольниках было небезопасно, двери и окна толком не запирались, и на ночь мы к дверным ручкам привязывали стулья, чтобы, если кто толкнется, стулья поехали и нашумели. Это называлось «психологическими запорами». Кроме того, повсюду валялись пистолеты, и разумные люди опасались их больше жуликов: спросонок могло привидеться бог знает что и тут недолго выстрелить и просто в человека, вставшего с постели в неурочный час. И пистолеты, действительно, вещь опасная: один из заночевавших у нас даже прострелил сам себе палец. Револьвер был при нем, в портфеле, оттого, что идти от трамвая к даче тоже было страшновато, особенно зимой, когда кругом ни души, а снег заметает следы, и кажется, что тут никогда никто не проходил... Удивительно ясно вспоминается эта нетронутая белая гладь, снежный блеск на дороге, деревьях. В детстве, когда шел снег, я думала, что это с неба падают звезды, оттого, что снежинки — звездочками, и оттого, что снег блестит.

Пока Володя был в Америке, да и после его приезда, когда он жил в Сокольниках, я ночевала у него, в Лубянском проезде. Подъезд во дворе огромного хмурого дома; комната в коммунальной квартире, дверь прямо из передней. Одно окно, письменный стол, свет с левой стороны. Клеенчатый диван. Тепло, глухо, не очень светло, отчего-то пахнет бакалейной лавкой. Спать на клеенке было холодновато, скользила простыня. Я видела в Музее Маяковского, в Москве, макет этой комнаты, в которой Маяковский застрелился — когда я там жила, и мебель была не та, и стояла она иначе.

Лиличка поехала встречать Володю в Берлин. Это наверное было зимою, она вышла из вагона в Москве в серой беличьей курточке. За ней Володя. Впоследствии, когда мне случалось ходить с Маяковским по московским улицам, я поняла, какая же у него теперь слава! Извозчики, и те на него оглядывались, прохожие говорили: «Маяковский!.. Вот Маяковский идет!..» А что делалось в Политехническом музее, на его вечере — «Мое открытие Америки»! Как было хорошо! И мне вспоминался Маяковский в день выборов «короля поэтов»... Врагов и теперь было немало, а то и больше, но как же теперь Маяковский владел собой, залом, своим мастерством! Восторг молодежи сметал все остальное. Как это было прекрасно.

* * *

На даче у нас бывало много народа: Никулин, Асеев, Осип Бескин, Яша Эфрон, Пастернак, Шкловский, Родченко, Крученых, молодой Кирсанов... С тех пор мне запомнились первые стихи, которые я слышала от Кирсанова, они произвели на меня впечатление, и часто я их про себя повторяю: называются они «Бой быков» и посвящены Маяковскому. В них говорится о том, как тореро убивает быка под восторженные крики толпы, а бык ведь хотел человеку служить.

Он томился, стоная:
— «Ммму...
Я бы шею отдал
ярму,
У меня сухожилья
мышц,
Что твои рычаги
тверды.
Я хочу для твоих
домищ
Рыть поля и таскать
пуды-ы»...

С тех самых пор я эту бычью мýку часто сама для себя цитирую, с тех пор, с тех самых пор...

Бывал также на даче в Сокольниках Жан Фонтенуа, тот самый молодой человек, который проводил Маяковского в «Истрию» от министра де Монзи, «свой парень», бывший комсомолец, только в партию не вступил почему-то... В Москве он пребывал в качестве корреспондента агентства Гавас, французского Тасса. В начале Фонтенуа, или, как его прозвали в Москве, Фонтанкин, посылал из Москвы восторженные корреспонденции, но вскоре его вызвали в Париж, где ему, очевидно, было сделано должное внушение, так как, по возвращении, тон его статей внезапно круто изменился. Как-то раз, еще до моего приезда в Москву, он привез к Маяковскому и Лиле, которые тогда еще жили в Водопьяном переулке, извест-

ного французского писателя Поля Морана[31]. Писателя встретили чрезвычайно гостеприимно, кормили пирогами и отпустили нагруженного подарками. Вернувшись в Париж, Моран в скором времени выпустил книгу рассказов, в одном из которых, под заглавием «Я жгу Москву», он описал вечер, проведенный с Маяковским, и всех присутствовавших на этом вечере. Это был гнуснейший пасквиль, едва прикрытый вымышленными именами. Я помню, как много позднее, в Париже, Маяковский по этому поводу недоуменно пожимал плечами, и все собирался выпустить книгу, где бы напротив каждой страницы Морана шел рассказ о том, как оно все было на самом деле. Жаль, что он этого не сделал, блестящий бы получился рассказ, помимо ответа Морану.

При мне Фонтанкин привез в Сокольники журналиста Анри Берро. Анри Берро, вернувшись во Францию, написал о Советской России отвратительный репортаж. Когда сведения об это дошли до Москвы, а Фонтанкин появился в Сокольниках, Маяковский, не отрываясь от игры на биллиарде, сказал ему: «Фонтанкин, если ты еще раз приведешь к нам француза, я тебе морду набью».

Фонтенуа в скором времени выслали из Москвы. Его последующая судьба настолько показательна, кривая нравственного падения настолько крута, что в романе писатель вряд ли разрешил бы себе с такой отчетливостью описать жизнь растленного человека. Что касается Поля Морана, то он во время оккупации работал с немцами и после освобождения бежал в Швейцарию. Сейчас вернулся в Париж и пишет в газетах, как ни в чем не бывало. Анри Берро был после освобождения посажен, потом помилован, и умер своей смертью.

* * *

Пробыв в Москве больше года, я вернулась в Париж. Перед отъездом Володя советовал мне не уезжать, выйти замуж за такого-то или такого-то, или еще такого-то... Не собираясь ни за кого замуж, я хотела поехать в Париж, законно развестись с моим французским мужем, а там видно будет. В скором времени, ранней весной 1927-го года, в Париж приехал Маяковский.

Опять мы стали ходить в «Гранд-Шомьер» и покупать галстуки и рубашки, встречаться с людьми, опять Маяковскому приходилось разговаривать на «триоле». Возможно, что некоторые из встреч, о которых я уже писала, приходились на этот приезд. Знаю, что в этот раз состоялся вечер Маяковского в кафе «Вольтер», против Люксембургского сада. Было полным-полно. Маяковский посередине, как в цирке: «Ну что же мне им прочесть, Элечка?» Читает, гремит, поражает...

В этот приезд, да, кажется, именно в этот, выплывает из тумана памяти Валентина Михайловна Ходасевич[32], с которой я когда-то познакомилась в Саарове, у Горького. Алексей Максимович звал ее «купчихой», а Маяковский — Вуалетой Милаховной. Возле нее с нами ходил Миклашевский (автор книги «Комедия-дель-арте»), с лошадиными, выступающими вперед зубами... Бывал с нами Фернан Леже.

Веселые, идем гурьбой по бульвару Монпарнасс, отчего-то прямо по мостовой. Володя острит, проверяя на нас свое остроумие. Он весь день провел с одной девушкой, Женей, и ему ни разу не удалось ее рассмешить! И это начинало его беспокоить, не выдохся ли он, не в нем ли тут дело? Рассказывает, как он с Женей катался по Парижу, и как, проезжая мимо Триумфальной арки, она его спросила, что это за огонь горит над аркой? Парижанин Володя объяснил ей, что то неугасимая лампада на могиле неизвестного солдата. Но Женя, привыкшая к тому, что Володя шутник, презрительно ответила: «Никогда не поверю, чтобы из-за одного солдата такую арку построили». Мы все уже обессилели от смеха, а Володя рассказывает еще про то, да про это. Фернан Леже ничего не понимает, удивляется: «Ни разу не промахнулся! Каждое слово — в цель!» Шагаем все вместе под сочиненный Маяковским марш:

Идет по пустыне и грохот, и гром,
бежало стадо бизоново.
Старший бизон бежал с хвостом,
младший бежал без оного...

Марш был известен всем русским на Монпарнассе и подхватывался всеми, вплоть до Ильи Григорьевича Эренбурга, на террасе «Ротонды», где шел «и грохот и гром»... Гуляли, шли на ярмарку — в Париже ярмарка круглый год переезжает из района в район. Маяковский любил ярмарочный шум, блеск, музыку, толчею, любил глазеть на балаганы, играть во все игры, стрелять в тире и выигрывать бутылки плохого шампанского, покупать билетики в лотерею и смотреть на вертящееся колесо «фортуны»... Вот, уже ночью, мы все, также гурьбой, спускаемся с Монмартра по узкому тротуару. На одном из домов, перпендикулярно к нему, вывеска в виде золотого венка. Володя метко бросает трость сквозь отверстие в венке, кто-то берет у него трость и тоже пробует бросить ее сквозь венок... И тут же начинается игра, вырабатываются правила. Володя всех обыгрывает: у него меткий глаз и рука, да и венок почти на уровне его плеча!

Но не всегда Маяковский бывал весел... Есть у меня одна ярмарочная фотография, где мы сняты с Вуалетой Милаховной, художником Делоннэ, поэтом Иваном Голлем и его женой — Клэр Голль... Володя стоит ко всем нам спиной. Плохой это был вечер! Маяковский хмурый, злобный. Даже помню предлог для этого тяжелого настроения: кто-то ему рассказал ходившие по Парижу толки, что, мол приехал советский поэт, ходит по кафе и кабакам, а денег у него! куры не клюют! А тоже говорит — кто не работает, тот не ест! Оно и видно! Володю раздражало, что все эти «люди искусства» пользуются тем, что ему нравится бывать там, где шумно и весело, что они рады удобному случаю оговорить советского поэта, и что эта дешевая демагогия попадает на благодатную почву... Ведь работать надо за письменным столом дома, с утра, а не ночью, мол, под шум каруселей. Маяковский совершенно не переносил судачеств и сплетен и переживал их мучительно.

И с кем бы Маяковский ни говорил, он всегда и всех уговаривал ехать в Россию, он всегда хотел увезти все и вся с собой, в Россию. Звать в Россию было у Володи чем-то вроде навязчивой идеи. Стихи «Разговорчики с Эйфелевой башней» были написаны им еще в 1923-м году, после его первой поездки в Париж

...Идемте, башня!
к нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
......
......
Идемте!
К нам!
К нам, в СССР!
Идемте к нам —
я
вам достану визу!

Так он собирался достать советский паспорт или, вернее, вернуть советский паспорт Асе, восхитительной девушке, которую в начале революции увез из Советской России без памяти влюбившийся в нее иностранец. Асе было тогда шестнадцать лет, иностранец оказался неподходящий, и она жила одна, неприкаянная, травмированная нелепой историей с ненормальным мужем. Окруженная сонмом поклонников, она не находила себе места, и постоянная праздность, жизнь без своего угла и привязанности, довели ее до отчаяния. Это было прелестное существо, маленькая, сероглазая, белозубая, да к тому же еще и умница и, по существу, весельчак. Когда у нее «вышел роман» с Володей, он очень хотел ей помочь и говорил Асе, как и всем прочим:

Идемте!
К нам!..
я
вам достану визу!

Володя умел быть с женщиной нежным, внимательным. Но с Асей все вышло по-другому, и это уже касается ее личной биографии. Тут не было ни слез, ни скрежета зубовного и, верно, они друг друга поминали добрым словом.

Гораздо более бурно протекал роман Маяковского с Татьяной Яковлевой, с которой он встретился в 1928-м году. Роман этот «отстоялся стихами» и «тем и интересен». Я познакомилась с Татьяной перед самым приездом Маяковского в Париж и сказала ей: «Да вы под рост Мая-

ковскому». Так из-за этого «под рост», для смеха, я и познакомила Володю с Татьяной. Маяковский же с первого взгляда в нее жестоко влюбился.

В жизни человека бывают периоды «предрасположения» к любви. Потребность в любви нарастает, как чувство голода, сердце становится благодатной почвой для «прекрасной болезни», оно, горючее, и воспламеняется от любой искры, оно только того и ждет, чтобы вспыхнуть. В такие периоды любовь живет в человеке и ждет себе применения. В то время Маяковскому нужна была любовь, он рассчитывал на любовь, хотел ее... Татьяна была в полном цвету, ей было всего двадцать с лишним лет, высокая, длинноногая, с яркими, желтыми волосами, довольно накрашенная, «в меха и бусы оправленная»... В ней была молодая удаль, бьющая через край жизнеутвержденность, разговаривала она, захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам... Не знаю, какова была бы Татьяна, если б она осталась в России, но годы, проведенные в эмиграции, слиняли на нее снобизмом, тягой к хорошему обществу, комфортабельному браку. Она пользовалась успехом, французы падки на рассказы эмигрантов о пережитом, для них каждая красивая русская женщина-эмигрантка в некотором роде Мария-Антуанетта...

Татьяна была поражена и испугана Маяковским. Трудолюбиво зарабатывая на жизнь шляпами, она в то же время благоразумно строила свое будущее на вполне буржуазных началах, и если оно себя не оправдало, то виновата в этом война, а не Татьяна. Встреча с Маяковским опрокидывала Татьянину жизнь. Роман их проходил у меня на глазах и испортил мне немало крови... Хотя, по правде сказать, мне тогда было вовсе не до чужих романов: именно в этот Володин приезд я встретилась с Арагоном. Это было 6-го ноября 1928-го года, и свое летоисчисление я веду с этой даты. Познакомил нас, по моей просьбе, один из сюрреалистов, Ролан Тюаль, после того как я прочла в журнале очерк Арагона «Крестьянин из Парижа». Очерк меня поразил поэзией этой изумительной прозы, и в первый раз в жизни мне захотелось посмотреть на автора замечательного произведения, а не только читать его. Я часто встречалась с Тюалем, он часто встречался с Арагоном, и познакомиться с ним было совсем непросто. Маяковский же встретился с Арагоном независимо от меня, на день раньше: Маяковский был в баре «Куполь» на Монпарнассе — туда зашел Арагон, и кто-то из окружавших Маяковского подошел к нему и сказал: «Поэт Маяковский просит вас сесть за его столик...». Арагон подошел к столику. Но разговора не вышло, в тот вечер меня с Володей не было, и они не могли говорить друг с другом даже на «триоле».

И вот мы уже с Володей никуда вместе не ходим. Встретимся бывало, случайно — Париж не велик! — Володя с Татьяной, я с Арагоном, издали поздороваемся, улыбнемся друг другу... Я продолжала заботиться о Володе, покупала и оставляла у него на столе все нужные ему вещи — какие-то запонки, план Парижа, чей-нибудь номер телефона — и Володю это необычайно умиляло: «Спасибо тебе, солнышко!». С Татьяной я не подружилась, несмотря на невольную интимность: ведь Володя жил у меня под боком, все в той же «Истрие», радовался и страдал у меня на глазах. Татьяна интересовала ровно постольку, поскольку она имела отношение к Володе. Она также не питала большой ко мне симпатии. Не будь Володи, мне бы в голову не пришло, что я могу встречаться с Татьяной! Она была для меня молода, а ее круг, люди, с которыми она дружила, были людьми чужими, враждебными. Но так как Татьяна имела отношение к Володе, то я с ней считалась, и меня сильно раздражало то, что она Володину любовь и переоценивала и недооценивала. Приходилось делать скидку на молодость и на то, что Татьяна знала Маяковского без году неделю (если не считать разжигающей разлуки, то всего каких-нибудь три-четыре месяца), и ей, естественно, казалось, что так любить, как ее любит Маяковский, можно только раз в жизни. Неистовство Маяковского, его «мертвая хватка», его бешеное желание взять ее «одну или вдвоем с Парижем», откуда ей было знать, что такое у него не в первый и не в последний раз? Откуда ей было знать, что он всегда ставил на карту все, вплоть до жизни? Откуда ей было знать, что она в жизни Маяковского только эпизодическое лицо?

Она переоценивала его любовь оттого, что этого хотелось ее самолюбию, уверенности в своей неотразимости, красоте, необычайности... Но она не хотела ехать в Москву, не только оттого, что она со всех точек зрения предпочитала Париж: в глубине души Татьяна знала, что Москва это Лиля. Может быть, она и не знала, что единственная женщина, которая пожизненно владела Маяковским, была Лиля, что, чтобы там ни было и как бы там ни было, Лиля и Маяковский неразрывно связаны всей прожитой жизнью, любовью, общностью интересов, вместе пережитым голодом и холодом, литературной борьбой, преданностью друг другу не на жизнь, а на смерть, что они неразрывно связаны, скручены вместе стихами и что годы не только не ослабили уз, но стягивали их все туже... Где было Володе найти другого человека, более похожего на него, чем Лиля? Этого Татьяна знать не могла, но она знала, что в Москве ей с Володей не справиться. А потому трудному Маяковскому в трудной Москве, она предпочла легкое благополучие с французским мужем из хорошей семьи. И во время романа с Маяковским продолжала поддерживать отношения со своим будущим мужем... Володя узнал об этом.

Тяжелое это было дело. Я утешала и нянчила его, как ребенка, который невыносимо больно ушибся. Володя рассеянно слушал и, наконец, сказал: «Нет, конечно, разбитую чашку можно склеить, но все равно она разбита». Он взял себя в руки и продолжал роман с красивой девушкой, которая ему сильно нравилась.

Как ни парадоксально это звучит, но Татьяна переоценивала собственную роль в любви к ней Маяковского — любовь была в нем, а она была лишь объектом для нее. Что ж, она не виновата, что он напридумывал любовь, до которой она не доросла.

Опомнившись, Володя чувствовал себя перед Татьяной ответственным за все им сказанное, обещанное, за все неприятности, которые он ей причинил, но он уже искал новый объект для любви... Он еще писал Татьяне, еще уговаривал ее приехать в Советскую Россию...

Идемте, башня!
К нам...

и в то же время, встретив в Москве красавицу Нору Полонскую[33], пытался и тут развернуть свою не помещавшуюся нигде любовь...

В последний раз я видела Маяковского в 1929 году, весной... Помню, он ездил в Ниццу. Отчего-то вспоминается его рассказ про маленькую девочку, которая сказала, увидев в первый раз пальмы: «Мама, посмотри, какие большие цветы!».

Не верю, что есть цветочная Ницца,
Мною опять славословятся
Мужчины, залежанные, как больница,
И женщины, истрепанные, как пословица.

Но это — только так, к слову пришлось...

Примерно через год, 15 апреля 1930 года, рано утром, Арагона и меня поднял телефонный звонок: нас извещали о самоубийстве Владимира Маяковского. Лиля была тогда за границей. Будь она при нем в минуту душевного и физического упадка, может быть, Володя жил бы.

Память о Володе живет во мне беспрерывно. Долго он снился мне, еженощно. Все тот же сон: я уговариваю его не стреляться, а он плачет и говорит, что теперь все равно, поздно... Скучно мне стало жить, ничто меня не интересовало, не отвлекало от этой скуки.

ПРИМЕЧАНИЯ

[30] Автобиографическая повесть Э. Триоле, издана в Москве в 1926 году.

[31] Поль Морен — французский писатель и дипломат.

[32] В. М. Ходасевич (1894—1970), советская художница, живописец и декоратор.

[33] Полонская Вероника Витольдовна (род. в 1908 г.), советская актриса. В те годы играла во МХАТе.

ИСТОРИЯ

Очерки. Мемуары. Документы.

ОТ ФЕВРАЛЯ



ДО ОКТЯБРЯ

**Рубрику ведут
Андрей Кочетов
и Алексей Тимофеев**

Летопись
в рассказах
лидеров,
участников
и очевидцев
революционных
дней.

Продолжение. Начало
в № 11, 1989,
№№ 2—4, 1990.

Богатую пищу для размышлений и сопоставлений предоставляет читаемая сегодня с особым интересом хроника событий апреля — мая 1917 года. Сухие телеграфные строчки напоминают нам о важнейших событиях и тенденциях тех дней. Некоторый спад февральской всеобщей эйфории, все более ощутимая поляризация революционных сил, крах многих либералов (таких, как Гучков и Милюков), оказавшихся несостоятельными в своих политических «комбинациях», совещания, съезды, демонстрации, митинги, манифестации школьников, протесты рабочих против приговора социалисту в Австрии... Как следствие ослабления центральной власти — растущий сепаратизм окраин, в первую очередь, Украины, возникновение очагов недовольства в армейских верхах, раздражаемых вмешательством в их действия «безответственных лиц и организаций», рост «аграрных беспорядков», закрытие, несмотря на объявленную свободу печати, т. е., говоря современным языком, «плюрализм», «контрреволюционных» газет, первые призывы с Дона «к борьбе с анархией в России», создание Красной гвардии, возвращение политэмигрантов, властная решимость в заявлениях Троцкого...

В конце мая большевики голосовали против предоставления избирательных прав Учредительного собрания членам дома Романовых. До расстрела в Екатеринбурге оставалось немногим более года. В своих «Мемуарах дипломата» посол Великобритании в России Джордж Уильям Бьюкенен (1854—1924) оправдывается перед эмигранткой княгиней Палей, обвиняя ее в пристрастности. Пишет бывший посол о своих симпатиях к императору НиколаюII, о попытках спасти его... Но и сам дипломат едва ли может быть объективным и полностью откровенным, сложно ему бесповоротно опровергать и подозрения в подготовке переворота. Широкие связи в правительственных кругах, в руководстве либеральной оппозиции, особые источники информации давали повод немцам считать Бьюкенена по степени его влияния (с некоторым, конечно, преувеличением) «некоронованным королем России».

Более полувека подвизавшийся на дипломатической службе, в 1910—1918 роковых годах находившийся в нашей стране, Бьюкенен, покидая не по своей воле уже советскую республику, писал: «И все же, несмотря на все то, что мы здесь пережили, у нас грустно на душе. Почему это Россия захватывает всякого, кто ее знает, и это непреодолимое мистическое очарование так велико, что даже тогда, когда ее своенравные дети превратили свою столицу в ад, нам грустно ее покидать?»

В предисловии к работе «Рождение революционной России (Февральская революция)» одного из основателей и теоретиков партии эсеров Виктора Михайловича Чернова (1873—1952) пишется о том, что эта книга является «отправным пунктом для освещения всего цикла развития Великой Русской Революции». До этого труд подобных масштабов предпринимали лишь А. Деникин («Очерки русской смуты»), П. Милюков («История второй русской революции») и Л. Троцкий («История Русской Революции»). Взгляд Чернова, министра земледелия во Временном правительстве, — точка зрения центристской «революционной демократии». Фрагмент из этой книги (Париж — Прага — Нью-Йорк, 1934), предлагаемый читателю в этом номере «Слова», — освещение известного апрельского кризиса. Затронута здесь еще одна важнейшая и до сих пор весьма таинственная тема масонства. И сейчас еще любое прикосновение к этой проблеме чревато незамедлительными обвинениями в «черносотенстве». Многие годы у нас в стране попытки исследований в этом направлении (наряду, впрочем, со многими другими) жестко блокировались, в том числе и академиком И. И. Минцем и его учениками, относящими масонство к малозначительным, а то и вовсе несуществующим политическим силам. Между тем, в последние годы установлено (см., например, журнал «Родина» № 9, 1989) — в первом составе Временного правительства из 11 министров — 10 были масонами, сохраняющими связи с «материнскими» ложами за границей... Тема эта, а о ней писали и пишут многие журналисты и историки (в их числе — Н. Н. Яковлев, В. И. Старцев, В. Я. Бегун), еще ждет своего развития.

Критически о Временном правительстве, об А. Ф. Керенском пишет и Владимир Дмитриевич Набоков (1869—1922), представитель родовитой и богатой дворянской семьи, адвокат по образованию, принципиальный англоман, один из видных деятелей партии кадетов. В 1908 году за свои взгляды он даже был подвергнут суровому наказанию — трехмесячному тюремному заключению в «Крестах»... Уже в эмиграции В. Д. Набоков был убит монархистом, заслонив собой Милюкова (о котором высоко отзывался в своих воспоминаниях). В наши дни, пожалуй, более известен его сын В. В. Набоков, по словам З. Шаховской, — «одинокий изгнанный принц» русской и англоязычной литературы...

Должны отметить, что издательства уже начинают в чем-то и опережать наши публикации. Так, в Политиздате массовым тиражом изданы воспоминания Ф. Ф. Раскольникова. Почти одновременно с нашим четвертым номером в «Советском писателе» вышел в свет сборник «Отречение Николая II». Что ж, подобные усилия можно только приветствовать.

В следующем выпуске рубрики «От Февраля до Октября» — отрывки из книги одного из морских мемуаристов русского зарубежья капитана 2 ранга Г. К. Графа, из рукописи «Две революции» митрополита Вениамина.

В. Д. НАБОКОВ

ИЗ-ПОД МАСКИ АКТЕРА



С первых дней переворота я стоял довольно близко к Временному Правительству; ■ течение первых двух месяцев (до первого кризиса) занимал должность управляющего делами Временного Правительства, а впоследствии находился ■ ним — по разным поводам и при разных обстоятельствах — ■ довольно тесном контакте. К сожалению, я не вел тогда ни дневника, ни каких-либо систематических записей. Занятый с утра и до поздней ночи, я еле находил время для того, чтобы выполнять всю выпавшую на мою долю работу. Поэтому у меня не сохранилось почти никаких документальных данных, относящихся к тому времени. Я долго колебался, стоит ли теперь, по прошествии стольких месяцев, приниматься за перо и пытаться записать то, что уцелело в памяти.

И тем не менее, я все-таки решил приступить к этим запискам. Как ни скуден тот материал, которым располагает моя память, все же было бы, думается мне, жаль, если бы этот материал погиб бесследно. Я считал бы крайне важным, чтобы все те, кто так или иначе оказались причастными работе Вр. Правительства, поступили бы так же. Будущий историк соберет ■ оценит все эти свидетельства. Они могут оказаться очень разноценными, но ни одно из них не будет лишенным цены, если пишущий задастся двумя абсолютными требованиями: не допускать никакой сознательной неправды (от ошибок никто не гарантирован) и быть вполне и до конца искренним.

...Прошло семь месяцев с тех пор, как я в последний раз видел Керенского, но мне не стоит никакого труда вызвать в памяти его внешний облик. Я впервые с ним познакомился лет восемь тому назад. Наши встречи были совершенно мимолетные, случайные: на Невском, на какой-нибудь панихиде и т. п. Мне про него говорили (еще до избрания его в Госуд. Думу), что это человек даровитый, но не крупного калибра. Его внешний вид — некоторая франтоватость, бритое актерское лицо, почти постоянно прищуренные глаза, неприятная улыбка, как-то особенно открыто обнажавшая верхний ряд зубов, — все это вместе взятое мало привлекало. Во всяком случае, ни ■ нем самом, ни в том, что приходилось ■ нем слышать, не только не было ничего, дающего хотя бы отдаленную возможность предполагать будущую его роль, но вообще не было никаких данных, останавливающих внимание. Один из многих политических защитников, далеко не первого разряда. ■ большой публике его стали замечать только со времени его выступлений ■ Госуд. Думе. Там он ■ силу партийных условий фактически оказался ■ первых рядах и, так как он во всяком случае был головою выше той серой компании, которая его ■ Думе окружала, — так как он был недурным оратором, порою даже очень ярким, а поводов к ответственным выступлениям было сколько угодно, то естественно, что за четыре года его стали узнавать и замечать. При всем том настоящего, большого, общепризнанного успеха он никогда не имел. Никому бы не пришло ■ голову поставить его, как оратора, рядом ■ Маклаковым или Родичевым, или сравнить его авторитет, как парламентария, ■ авторитетом Милюкова или Шингарева. Партия его ■ четвертой Думе была незначительной ■ маловлиятельной. Позиция его по вопросу ■ войне была, в сущности, чисто циммервальдской. Все это далеко не способствовало образованию вокруг его имени какого-либо ореола. Он это чувствовал и, так как самолюбие его — огромное и болезненное, а самомнение — такое же, то естественно, ■ нем очень прочно укоренились такие чувства к своим выдающимся политическим противникам, с которыми довольно мудрено было совместить стремление ■ искреннему ■ единодушному сотрудничеству. Я могу удостоверить, что Милюков был его bête noire ■ полном смысле слова. Он не пропускал случая отозваться ■ нем с недоброжелательством, иронией, иногда ■ настоящей ненавистью. При всей болезненной гипертрофии своего самомнения он не мог не сознавать, что между ним ■ Милюковым — дистанция огромного размера. Милюков вообще был несоизмерим ■ прочими своими товарищами по кабинету, как умственная

АПРЕЛЬ
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1—14 — суббота. Назначение нач. штаба верх. главн. ген. Алексеева верховным главнокомандующим. — На Всеросс. совещании Советов Л. Б. Каменевым оглашена резолюция Бюро Ц.К.Р.С.-Д.Р.П. (б-ов) об отношении ■ Временн. Правит.

3—16 — понедельник. Возвращение в Россию из-за границы ■ И Ульянова (Н. Ленина); рабочие организации, солдаты, представители Ц. и П. К. Р. С.-Д. Р. П. (б-ов). Исп. Ком. С. Р. ■ С. Д. и т. д. устроили торжественную встречу Н. Ленину С Н. Лениным прибыли 32 эмигранта, среди них 19 большевиков, 6 бундистов, 3 сторонника парижской интернационалистической газеты «Наше Слово».

7—20 — пятница. Постановление Исп. Ком. Сов. Р. Д. об активной поддержке «Займа Свободы» (принято большинством 21 гол. против 14). — Открытие Совещания делегатов с фронта в Таврическом Дворце ■ Петрограде — Открытие ■ Минске фронтового съезда военных и рабочих депутатов армии и тыла западного фронта — Открытие ■ Москве съезда лиги равноправия женщин. — Открытие Крестьянского Учредительного съезда Пензенской губ.

8—21 — суббота. Телеграмма Исп.-Ком. Сов. Р. Д. английскому правительству ■ английским газетам по поводу ареста ■ Галифаксе на пароходе «Христиан — Фиорд» русских политических эмигрантов во главе с Л. Д. Троцким.

10—23 — понедельник. Митинг ■ Измайловскеом полку, на котором выступали Н. Ленин и Г. Зиновьев

11—24 — вторник. Запрос с.-д фракции большевиков, внесенный ■ заседание С. Р. и С. Д., по поводу реакционной деятельности Временного Правительства, выразившейся ■ препятствии пропуска эмигрантов, в отправке воинских частей петроградского гарнизона на фронт, ■ замене милиции старым составом полицейских чинов, в выдаче пенсии арестованным генералам, сторонникам старого режима.

12—25 — среда. Собрание делегатов 12 армии постановило: предъявить И. К. С. Р. ■ С. Д. категорическое требование ■ переводе царя ■ Петропавловскую крепость

15—28 — суббота. Обращение Ц. и П. К. Р. С.-Д. Р. П. (б-ков) к рабочим, солдатам и всему населению Петрограда по поводу погромных действий буржуазной печати против пролетарских организаций и прессы. — Постановление Вр. Пр. ■ признании 18 апреля (1 мая н. ст.) днем свободным от занятий. — Постановление Вр. Пр. об учреждении милиции. — Открытие ■ Зимнем Дворце ликвидационной комиссии по делам Царства Польского. — Открытие Московской общегородской конференции Р. С.-Д. Р. П. (б-ов).

сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и широкого ума.

Трудно даже себе представить, как должна была отразиться на психике Керенского та головокружительная высота, на которую он был вознесен в первые недели и месяцы революции. В душе своей он все-таки не мог не сознавать, что все это преклонение, идолизация его, — не что иное, как психоз толпы, — что за ним, Керенским, нет таких заслуг и умственных или нравственных качеств, которые бы оправдывали такое истерически-восторженное отношение. Но несомненно, что с первых же дней душа его была «ушиблена» той ролью, которую история ему — случайному, маленькому человеку — навязала, и в которой ему суждено было так бесславно и бесследно провалиться.

Я сейчас сказал, что в «идолизации» Керенского проявился какой-то психоз русского общества. Это, может быть, слишком мягко сказано. Ведь в самом деле нельзя же было не спросить себя, каков политический багаж того, в ком решили признать «героя революции», что имеется в его активе? С этой точки зрения любопытно теперь, когда «облетели цветы, догорели огни», перечитать в газетной передаче faits et gestes Керенского за 8 месяцев, его речи, его интервью... Если он действительно был героем первых месяцев революции, то этим самым произнесен достаточно веский приговор этой революции.

С упомянутым сейчас болезненным тщеславием в Керенском соединялось еще одно неприятное свойство: актерство, любовь к позе и, вместе с тем, ко всякой пышности и помпе. Актерство его, я помню, проявлялось даже в тесном кругу Вр. Правительства, где, казалось бы, оно было особенно бесполезно и нелепо, так как все друг друга хорошо знали и обмануть не могли...

Те, кто были на так называемом Государственном Совещании в большом Московском театре в августе 1917 года, конечно, не забыли выступлений Керенского — первого, которым началось совещание, и последнего, которым оно закончилось. На тех, кто здесь видел или слышал его впервые, он произвел удручающее впечатление. То, что он говорил, не было спокойной и веской речью государственного человека, а сплошным истерическим воплем психопата, обуянного манией величия. Чувствовалось напряженное, доведенное до последней степени желание произвести впечатление, импонировать. Во второй — заключительной — речи он, по-видимому, совершенно потерял самообладание и наговорил такой чепухи, которую пришлось тщательно вытравлять из стенограммы. До самого конца он совершенно не отдавал себе отчета в положении. За четыре-пять дней до октябрьского большевистского восстания, в одно из наших свиданий в Зимнем дворце, я его прямо спросил, как он относится к возможности большевистского выступления, о котором тогда все говорили. «Я был бы готов отслужить молебен, чтобы такое выступление произошло» — ответил он мне. «А уверены ли вы, что сможете с ним справиться?» — «У меня больше сил, чем нужно. Они будут раздавлены окончательно».

Единственная страница из всей печальной истории пребывания Керенского у власти, дающая возможность смягчить общее суждение о нем, это его роль в деле последнего нашего наступления (18 июня). В своей речи на московском совещании я указал на эту роль в выражениях, быть может, даже преувеличенных. Но несомненно, что в этом случае в Керенском проявилось подлинное горение, блеснул патриотический энтузиазм, — увы! слишком поздно...

Я не стану отрицать, что он сыграл поистине роковую роль в истории русской революции, но произошло это потому, что бездарная, бессознательная бунтарская стихия случайно вознесла на неподходящую высоту недостаточно сильную личность. Худшее, что можно сказать о Керенском, касается оценки основных свойств его ума и характера. Но о нем можно повторить те слова, которые он недавно — с таким изумительным отсутствием нравственного чутья и элементарного такта — произнес по адресу Корнилова. «По-своему» он любил Родину, — он в самом деле горел революционным пафосом, — и бывали случаи, когда изпод маски актера пробивалось подлинное чувство. Вспомним его речь о взбунтовавшихся рабах, его вопль отчаяния, когда он почуял ту пропасть, в которую влечет Россию разнузданная демагогия. Конечно, здесь не чувствовалось ни подлинной силы, ни ясных велений разума, но был какой-то искренний, хотя и бесплодный, порыв. Керенский был в плену у своих бездарных друзей, у своего прошлого. Он органически не мог действовать прямо и смело, и, при всем его самомнении и самолюбии, у него не было той спокойной и непреклонной уверенности, которая свойственна действительно сильным людям. «Героического» в смысле Карлейля в нем не было решительно ничего. Самое черное пятно в его кратковременной карьере — это история его отношений с Корниловым, но об ней я говорить не буду, так как знаю о ней только то, что общеизвестно.

Как мне уже, кажется, пришлось выше сказать, несомненно, что во временном правительстве первого состава самой крупной величиной — умственной и политической — был Милюков. Его я считаю, вообще, одним из самых замечательных русских людей и хотел бы попытаться дать ему более подробную характеристику.

Мне много и часто приходилось слушать Милюкова: в центральном комитете, на партийных съездах и собраниях, на митингах и публичных лекциях, в государственных учреждениях. Его свойства, как оратора, тесно связаны с основными чертами его духовной личности. Удачнее всего он бывает тогда, когда приходится вести полемический анализ того или другого положения. Он хорошо владеет иронией и сарказмом. Своими великолепными схемами, подкупающими логичностью и ясностью, он может раздавить противника. На митингах ораторам враждебных партий никогда не удавалось смутить его, заставить растеряться. О внешней форме своей речи он мало заботился. В ней нет образности, пластической красоты. Но в ней никогда нет того, что французы называют du remplissage. Если он и в речах, и в писаниях бывает многословен, то это только потому, что ему необходимо с исчерпывающей полнотой высказать свою мысль. И тут также сказывается его полное пренебрежение к внешней обстановке, соединенное с редкой неутомимостью. В поздние ночные часы, после целого дня жарких прений, когда доходит до него очередь, он неторопливо и методически начинает свою речь, и тотчас же для него исчезают все побочные соображения: ему нет дела до утомления слушателей, он не обращает внимания на то обстоятельство, что они, быть может, просто не в состоянии следить за течением его мысли. И в газетных своих статьях ему также нет дела до соображений чисто журналистических. Если ему нужно 200 строк, он напишет 200 строк, но если в них не уместится его мысль и его аргументация, ему совершенно будет безразлично, что передовая статья растянется на три газетных столбца.

И Милюков, как и многие другие, живет и жил в крайне неблагоприятный для его личных дарований исторический момент. Волею судеб Милюков оказался у власти в такое время, когда прежде всего необходима была сильная, не колеблющаяся и не отступающая перед самыми решительными действиями власть...

●





Шульгин рассказывает в своей книжке «Дни», как в комнату, где ютился Временный Комитет членов Государственной Думы, в разгаре февральских -уличных волнений, в сопровождении нескольких членов, явился Керенский, с папкою бумаг, чтобы снова улетучиться, вручив их присутствующим со словами: «Спрятать! Тут — тайные договоры с союзниками!»; и как, в суматохе, в этот момент было до такой степени некуда девать воплошенную в этой папке бумаг государственную тайну, что их пришлось спрятать под... покрытой длинной скатертью столик в той же комнате...

Какая бессознательная символика!

Под стол запряталось оно — свалившееся на плечи новой России запутанное и обремененное дутыми векселями наследство старой царской дипломатии. Тут были договоры, которые заключались союзниками, в разных комбинациях, секретно даже друг от друга: в разных из них одни и те же территориальные приобретения обещались одновременно разным союзным государствам. В Версале потом победоносные союзники долго и с величайшим трудом распутывали этот клубок, при драматических сценах, вплоть до демонстративного покидания зала заседаний делегатами союзных стран, почитавших себя бессовестно обманутыми. Вся сложная кухня тайной дипломатии, из которой вышли эти перлы творчества, когда-то заработала с новой энергией после толчка, данного царской дипломатией, выставившей требование присоединения к России Константинополя и Дарданелл.

Новой России, поистине, было «некуда деваться» с этим дипломатическим наследством. Оно своим грузом резало бы ее плечи и отягощало бы ее демократическую совесть.

Хлопот с ним было без конца...

Деятели Совета, обсудив положение, решили добиваться, чтобы Временное Правительство сообщило союзникам содержание своего воззвания к гражданам о целях войны официально, в форме дипломатического документа. Стало известно, что П. Н. Милюков от этого категорически отказывается, как и вообще отказывается делать перед союзниками демарши в смысле пересмотра целей войны и составления конкретной программы мира, которая могла бы быть опубликована во всеобщее сведение, — словом, отказывается покинуть почву тайной дипломатии с ее грузом секретных договоров, отказывается вступить на почву дипломатии открытой, ведомой при публичном общественном контроле.

Этот отказ был началом внутреннего кризиса в самом правительстве. В нем началась острая политическая дуэль между Милюковым и Керенским. Последний в этот момент занял как бы «Циммервальдскую» позицию:

«Русская демократия в настоящее время — хозяин русской земли», — заявил он в беседе с французами Мутэ, Кашеном, Лафоном и англичанами О'Грэди, Сандерсом и Торном. — «Мы решили раз навсегда прекратить в нашей стране все попытки к империализму и к захвату». «Энтузиазм, которым охвачена русская демократия, проистекает не из каких-либо идей частичных, даже не из идеи отечества, как понимала эту идею старая Европа, а из идей, которые заставляют нас думать, что мечта о братстве всего мира претворится скоро в действительность... Мы ждем от вас, чтобы вы оказали на остальные классы населения в своих государствах такое же решающее давление, которое мы здесь, внутри России, оказали на наши буржуазные классы, заявившие ныне о своем отказе от империалистических стремлений».

АПРЕЛЬ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

17—30 — понедельник. Манифестация детей-школьников перед Государственной Думой с плакатом, на котором была надпись: «Бесплатное народное образование». — Постановление Временного Правительства об устройстве полковых судов в мирное и военное время.

18—1 — вторник. Празднование по всей России рабочего праздника 1-го мая. — Нота министра ин. дел. Милюкова с подтверждением верности Временного Правительства союзным договорам.

20—3 — четверг. Резолюция экстренного заседания Ц. К. Р. С.-Д. Р.П. (б-ов) о кризисе в связи с нотой Временного Правительства. — Воззвание Ц. и П. К. Р. С.-Д. Р. П.(б-ов) к солдатам всех воюющих стран по поводу братоубийственной войны и ноты П. Н. Милюкова. — Начало митингов протеста и демонстраций по этому же поводу.

21—4 — пятница. Разъяснение Временного Правительства по поводу ноты П. Н. Милюкова с указанием, что это разъяснение будет передано послам союзных держав. — И. К. С. Р. и С. Д большинством 34 голосов против 19 принял постановление считать инцидент с нотой от 18 апреля, после сделанных правительством разъяснений, исчерпанным, причем признал необходимым принять немедленно решительные меры к усилению своего контроля над деятельностью Временного Правительства, и в первую очередь над деятельностью министерства иностранных дел. В связи с этим признано, что без предварительного осведомления Исполн. Ком. не должен издаваться ни один крупный политический акт и что состав дипломатического представительства России должен быть радикально изменен.

24—7 — понедельник. Начало апрельской Всероссийской конференции Р. С.-Д. Р. П.(б-ов). (Присутствуют 133 делегата с реш. голосами, представляющие 76.597 организ. членов партии, 18 чел. с совещ. голосами, предст. 2.627 членов.) — Доклад Н. Ленина о текущем моменте. — Назначение комиссаров Временн. Правит. в армии.

25—8 — вторник. И. К. С. Р. и С. Д. избраны комиссары при главнокомандующем Петрогр. военным округом, ген. Корнилове, в целях «регулирования политической и хозяйственной жизни воинских частей».

26—9 — среда. Декларация Временного Правительства, в которой указывается, что «стихийные стремления осуществлять желания и домогательства отдельных групп и слоев населения явочным и захватным путем, по мере перехода к менее сознательным и менее организованным слоям населения — грозят разрушить внутреннюю спайку и дисциплину» и что необходимо «с особой настойчивостью возобновить усилия, направленные к расширению состава Временно-

Керенский не преминул констатировать, что в правительстве он одинок, представляя в нем революционную демократию. Это было и верно, и неверно. Он был единственный, который с местом в правительстве соединял ответственный пост (товарища председателя) в совете; но формально ничьим «представителем» в правительстве он не был. Зато не был он и совершенно в нем «одинок». Даже в вопросе об «отечестве и человечестве» он имел тогда в нем двух верных союзников — Некрасова и Терещенко. Это были, конечно, не «циммервальдцы», но тоже своеобразные «международники», только не по линии социализма, а по линии русского масонства.

Русское масонство, возродившееся в начале 1900-х годов, считало в своих рядах социолога М. М. Ковалевского, философов-позитивистов Вырубова и де-Роберти, юриста проф. Гамбарова, известного петербургского думца Кедрина, популярного фельетониста Амфитеатрова, психиатра Баженова, основателя «радикальной партии» адвоката Маргулиеса, златоуста Государственной Думы В. А. Маклакова, Керенского, Некрасова, Авксентьева, Ефремова, левого кадета В. П. Обнинского, С. П. Балавинского и многих других. Оно было левого уклона. В его среде и зародилась тайная организация, сплачивавшая перед революцией передовую общественность в виду государственного переворота.

По свидетельству правого кадета Астрова, Некрасов предлагал ему осенью 1916 года войти в состав «секретной пятерки», в которую, кроме него самого, входили уже Керенский, Терещенко и Коновалов; за отказом Астрова, пятым был введен Ефремов. И Коновалова, и Ефремова, а позднее и Авксентьева, мы увидим в кабинетах, формированных Керенским.

Славянофильский международник кн. Львов и масонские международники Некрасов и Терещенко дружно поддерживали «без пяти минут циммервальдца», Керенского. Милюков должен был формально капитулировать. Заявление о целях войны было отправлено союзникам в качестве официального международного документа. Но изворотливый ум дипломата и здесь нашел выход: Милюков присоединил к нему предисловие, в котором отождествил содержание о целях войны с «высокими идеями», которые «постоянно высказывались многими выдающимися государственными деятелями союзных стран»; «общей союзной борьбе» даровал титул «освободительной»; заявил, что в России имеется «всенародное стремление» вести войну «до решительного конца», до получения «санкций и гарантий» (аннексий и контрибуций?), предупреждающих возможность новых войн, и, наконец, еще раз гарантировал «соблюдение обязательств принятых в отношении союзников».

«Уклончивые», по определению самого Милюкова, выражения первоначального воззвания стали, благодаря этому комментарию, более чем двусмысленными.

Постоянные напоминания Милюкова о связывающих Россию обязательствах уже дали перед тем возможность большевикам провести на крупнейших заводах Петрограда (Треугольник, Парвиайнен и другие) резолюции с требованием обнародования тайных договоров, чтобы видеть, наконец, в чем же состоят эти «обязательства» России по отношению к союзникам, унаследованные от царской дипломатии, и совместимо ли их выполнение с демократической совестью революционной страны. Они получили новый козырь в своей игре.

Что же касается до руководящего советского большинства, то оно было буквально ошеломлено этою неожиданностью, которую готово было принять за рассчитанный удар с тыла, за провокационный жест, за вызов. Во всяком случае она чувствовала себя обманутой: вместо обещанного сообщения союзникам отказа от завоевательной политики — она получила попытку утопить уже данное в этом смысле не вполне удовлетворительное заверение в море условных дипломатических банальностей, которыми во время войны обычно отделывались от всенародной жажды мира люди, решившие воевать до тех пор, пока противник не окажется опрокинутым навзничь, с вражеским коленом на груди и безжалостной вражеской рукой, стиснувшей его горло.

Холодным издевательством казалась и дата новой ноты Милюкова: 18 апреля старого стиля, когда по традиции праздновался в России день международного праздника труда и мира, первое мая. День, когда улицы Петрограда видели манифестацию, которой по грандиозности еще не было равной в истории; день, когда непосредственное ощущение рабочим классом России своей мощи подняло его самосознание на небывалую высоту.

Не успел еще ошеломленный Исполнительный Комитет Совета, собравшись ночью с 19-го на 20-е апреля, обсудить удельный вес случившегося, как пришло известие, что спонтанно из казарм разных полков — Финляндского, Кексгольмского, 180 пехотного и 2-го балтийского флотского экипажа — солдаты двинулись к Мариинскому дворцу, где происходили обычно заседания Временного Правительства, с целью арестовать последнее, и что во всех рабочих предместьях столицы собираются толпы для демонстративного движения к центру города. «Измена! Провокация!» — иных слов для характеристики правительственного акта не было.

Были немедленно приняты меры, повсюду разосланы делегации советских людей с предложением солдатам и рабочим воздержаться от каких-либо действий, так как Совет берет на себя ликвидацию возникшего конфликта с правительством. К счастью, Мариинский дворец оказался пуст, и собравшиеся вокруг него воинские части, выслушав успокоительные речи ораторов Совета, послушно вернулись в свои казармы.

Вечером состоялась встреча Временного Правительства с Исполнительным Комитетом Совета. Члены первого представили ряд докладов о тяжком, почти критическом положении страны, как в тылу, так и на фронте, создавая впечатление, что споры о текстах заявлений — сущая мелочь сравнительно с повелительной необходимостью напрячь все силы для избежания грозящей общей катастрофы, в которой погибнут и все завоевания революции. Гучков дрожащим голосом говорил о трагедии людей его типа, которые должны были выбрать между династией и родиной, которые отказались от своей принципиальной лояльности и перешли в лагерь революции, а теперь видят, что и это последнее героическое средство не дает спасения. Кн. Львов говорил, что правительство не держится за власть и готово хоть сейчас уступить ее советским людям, если они думают, что лучше справятся с положением. Представители Совета призадумались, и в глубине души почувствовали еще большее, чем ранее, внутреннее отталкивание от власти и связанной с нею ответственности. Тем не менее, они внешне держались твердо, заявляя, что серьезность общего положения только усугубляет необходимость выдержанной и активной внешней политики, направленной к созданию такой международной политической атмосферы, которая допустила бы постановку в порядок дня вопроса о демократическом мире и правовой организации Европы на началах, исключающих войны и закладывающих краеугольные камни регулирования хозяйственного сотрудничества народов..

Наконец, уже после совместного заседания, переговоры дали коекакой результат: к вечеру 21 апреля сошлись на том, что правительство даст официальное разъяснение двум местам своей ноты. 22 апреля оно действительно, разъяснило, что слова о всенародном желании «решительной победы над врагами» в его ноте означают лишь желание доставить торжество идее отказа от завоевательных целей, провозглашенной в воззвании к гражданам о целях войны, и слова о «санкциях и гарантиях» означают отнюдь не односторонние кары побежденным, — как то было первоначально понято в советских кругах, — а систему международных трибуналов, ограничение вооружений и т. п. меры общего ха-

рактера. Советское большинство сочло ненужным настаивать еще на чем-нибудь большем и торговаться о словах. Оно готово было построить правительству золотой мост для отступления; важнее всяких текстов было поражение, нанесенное Милюкову, и уже обрисовавшаяся вероятность его отставки.

Но поздним вечером 20-го апреля, когда советским «центристам» уже удалось успокоить рабочий и солдатский Петроград, — высыпал на улицу Петроград буржуазный — оказать моральную поддержку угрожаемому рабочей демократией министру. Милюков вышел к демонстрантам и с балкона произносил речь. Когда он говорил, что за криками «долой Милюкова» ему слышалось «долой Россию», — буржуазная толпа разразилась долгими и шумными аплодисментами. Она уже соскучилась по старой, испытанной формуле «государство — это я», служащей неизменным атрибутом «твердой власти». Скоро она почувствует, что в устах глубоко штатского человека эта формула звучит далеко не так внушительно, как прозвучала бы в устах человека, на плечах которого колыхаются генеральские эполеты.

Слуха о вечерней буржуазной демонстрации было достаточно, чтобы на следующий день, 21-го, снова всколыхнулся рабочий Петроград. Движение начал Выборгский район, где большевики были особенно сильны. На этот раз Выборгский район действовал, выйдя из повиновения даже Центральному Комитету собственной партии. Он выступил с лозунгом «долой Временное Правительство» предполагая повторение февральских дней и, быть может, новый переворот. Ленин и его главный штаб считали это преждевременным и рискованным, но они ничего не могли поделать. Милюков отрицательно сагитировал рабочих слишком сильно для того, чтобы подействовали завинчиваемые наскоро Лениным тормоза. Демонстрантов не смогла вернуть из центра обратно в район и специальная делегация Совета, с ее председателем Чхеидзе во главе.

Между тем пришло и новое тревожное известие: на Дворцовой площади опять появились воинские части, с артиллерией. На этот раз они были выведены главнокомандующим петроградского округа ген. Корниловым, приготовившимся «расчистить» рабочий Петроград. Другие воинские части отказались ему повиноваться, митингуя, запрашивая Совет, что им делать; кое-где раздавались голоса, что необходимо выйти и присоединиться к рабочим, которых собираются громить артиллерией. Гражданская война, казалось, готова была опять разразиться на улицах и площадях Петрограда. Вечером между демонстрировавшими за и против Милюкова и Временного Правительства начались столкновения; раздавалась стрельба; красногвардейцы Выборгского района решили доказать, что улицы Петрограда принадлежат им, а не буржуазной «чистой публике».

Как это всегда бывает в подобных случаях, вину за столкновения обе стороны возлагали друг на друга и обе подозревали провокацию какой-то третьей «темной силы»: кадеты толковали о стоящих за спиной большевиков немцах, большевики о стоящих за спиной кадетов монархистах.

В этот момент Совет понял, что наступил момент не слов, а повелительных действий. Под его давлением ген. Корнилов должен был отменить свои приказы; артиллерия скрылась с Дворцовой площади. По всем казармам, — во избежание новых попыток, справа или слева, вывести и пустить в ход вооруженную силу, — было дано знать, что без приказа Исполнительного Комитета, скрепленного его печатью и подписанного особо названными и специально на то уполномоченными лицами, ни одна воинская часть не должна трогаться с места. С другой стороны, Исполнительный Комитет вообще на три дня воспретил какие бы то ни было уличные демонстрации. Автомобили Совета помчались по улицам, разбрасывая эти категорические приказы; и, словно по мановению волшебного жезла, все стихло...

Правительству до осязательности стало ясно то, что оно могло подозревать и ранее. Отношения между ним и Советом можно было определить легко: с одной стороны формальная власть без фактической силы,— с другой фактическая сила без формальной власти. Бессильная власть и безвластная сила...

В составе первого Временного Правительства были люди с крупными именами, а иные из них — и с крупными личными достоинствами. Но эти люди всю жизнь боялись революции и думали только о том, как бы предотвратить ее. Когда же История, мало справлявшаяся с их желаниями, подала знак к ее появлению на сцене, — они решили ее санкционировать с тем, чтобы она немедленно скрылась. «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить».

Но твердою стопою выйти из-за кулис, чтобы тем же порядком, без дальнейших последствий, убраться восвояси, еще мог бы дворцовый переворот, но никогда не массовая революция, раскачивающаяся медленно, но неудержимо, и таящая в себе слишком много до поры до времени затаившихся сил...

Временное Правительство первого состава тщетно пыталось вести себя по отношению к великой революции, будто она была всего-навсего маленьким дворцовым переворотом.

Оно было способно только пытаться принять революцию — без революционных последствий.

В этом и заключался секрет его творческого бесплодия.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

АПРЕЛЬ

го Правительства путем привлечения к ответственной госуд. работе представителей тех активных творческих сил страны, которые доселе не принимали прямого и непосредственного участия в управлении государством».

28—11 — пятница. Общегородское собрание представителей фабрик и заводов (1 от 1000) Петрограда по вопросу об окончательной организации Красной гвардии, избравшее делегацию для переговоров с И. К. С. Р. и С. Д. Районный С. Р. и С. Д. Выборгской стороны постановил преобразовать районную милицию в Рабочую гвардию, поставив задачей последней «борьбу с контрреволюц. противонародными происками господствующих классов и отстаивание с оружием в руках всех завоеваний рабочего класса».

29—12 — суббота. Обращение Вр. Прав. к И. К. С. Р. и С. Д. с просьбой о содействии в связи с захватом анархистами дома герцога Лейхтенбергского и дачи Дурново.

30—13 — воскресенье. Приказ А. И. Гучкова по армии и флоту о сложении им с себя обязанностей военного и морского министра. — Закрытие Всероссийской конференции Р. С.-Д. Р. П.(б-ов). Принятие резолюций о С. Р. и С. Д., по национальному вопросу, об объединении интернационалистов против мелкобуржуазного оборонческого блока, о положении в Интернационале и текущем моменте. В Ц. К. избраны: Н. Ленин, Г. Зиновьев, И. Сталин, Л. Каменев, В. Милютин, В. Ногин, Я. Свердлов, И. Смилга, Федоров.

МАЙ

1—14 — понедельник. Экстренное заседание Исполнительного Комитета С. Р. и С. Д., посвященное вопросу о правительственном кризисе, созданном событиями последних дней (20 и 21 апреля). Заседание окончилось избранием особой комиссии для переговоров с правительством, в которую вошли: И. Г. Церетели, Н. С. Чхеидзе, Б. И. Богданов, Н. Д. Авксентьев, А. В. Пешехонов, Ф. Дан, А. Р. Гоц, В. С. Войтинский, лейтенант Филипповский, поручик Станкевич и Л. М. Брамсон. — Временный Комитет Государственной Думы высказался за образование коалиционного министерства. — Постановление Совета Рабочих и Солдатских Депутатов о борьбе с анархистами в связи с анархическими выступлениями (захват дачи Дурново и проч.). — Столкновение в Киеве во время первомайской демонстрации демонстрантов с монархистами, выкинувшими флаги с монархическими надписями.

2—15 — вторник. Отставка П. Н. Милюкова.

4—17 — четверг. Открытие Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов. — Приезд Л. Д. Троцкого в Россию. — Прибытие в Петроград вождя румынских социалистов Х. Раковского, освобожден-

ДЖОРДЖ БЬЮКЕНЕН

ПРАВА ЛИ КНЯГИНЯ ПАЛЕЙ?



Первый официально признал Временное Правительство посол Соединенных Штатов 22 марта, — поступок, которым он всегда очень гордился. К несчастью, я слег на несколько дней в постель вследствие простуды и только 24 числа я мог встать и отправиться со своими французскими и итальянскими коллегами в министерство, где князь Львов и другие члены правительства нас ожидали. В качестве старшины дипломатического корпуса я должен был говорить первым. Выразив свое удовольствие по поводу вступления в отношения с ними и заверив их в своей поддержке во всех вопросах, касающихся укрепления нашего союза и ведения войны, я продолжал следующими словами:

«В этот торжественный час, когда перед Россией открывается новая эра прогресса и славы, более чем когда-либо необходимо не упускать из виду Германию, ибо победа Германии будет иметь последствием разрушение того прекрасного памятника свободе, который только что воздвиг русский народ. Великобритания протягивает руку Временному Правительству, убежденная, что это последнее, верное обязательствам, принятым его предшественниками, сделает все возможное для доведения войны до победного конца, употребляя особые старания к поддержанию порядка и национального единства, к возобновлению нормальной работы на фабриках и заводах и к обучению и поддержанию дисциплины в армии. Да, господа министры, если сегодня я имею честь приносить вам поздравление дружественной и союзной нации, то это потому, что мое правительство хочет верить, что под вашим высоким водительством новая Россия не отступит ни перед какими жертвами, и что, солидарная со своими союзниками, она не сложит оружие до тех пор, пока те великие принципы права и справедливости, свободы и национальности, защиту которых мы взяли на себя, не получат крепкой опоры и утверждения».

После речей двух остальных послов Милюков от имени своих коллег заверил нас, что Временное Правительство решило поддерживать соглашения и союзы, заключенные с его предшественниками, и продолжать войну до победного конца.

Моя речь была в общем хорошо принята, хотя одна газета предостерегала меня, что я не могу говорить с представителями свободной России тем же языком, каким я говорил с «фаворитами царя».

...Я не могу обойти молчанием... обвинений, взведенных на меня в статьях и заметках, появившихся в печати разных стран. Для моей цели достаточно будет привести в качестве образца одну из последних таких статей, которая благодаря мировой известности журнала, в котором она появилась, привлекла к себе особенно сильное внимание.

В июне прошлого года журнал *«Revue de Paris»* поместил первую из ряда статей княгини Палей, вдовы великого князя Павла Александровича, под заглавием «Мои воспоминания о России». В ней она делает следующее заявление:

«Английское посольство по приказу Ллойд Джорджа сделалось очагом пропаганды. Либералы, князь Львов, Милюков, Родзянко, Маклаков, Гучков и т. д., постоянно его посещали. Именно в английском посольстве было решено отказаться от легальных путей и вступить на путь революции. Надо сказать, что при этом сэр Джордж Бьюкенен, английский посол в Петрограде, действовал из чувства личной злобы. Император его не любил и становился все более холодным к нему, особенно с тех пор, как английский посол связался с его личными врагами. В последний раз, когда сэр Джордж просил аудиенции, император принял его стоя, не попросив сесть. Бьюкенен поклялся отомстить, и так как он был очень тесно связан с одной великокняжеской четой, то у него одно время была мысль произвести дворцовый переворот. Но события превзошли его ожидания, и он вместе с леди Джорджиной без малейшего стыда отвернулись от своих друзей, потерпевших крушение. В Петербурге в начале революции рассказывали, что Ллойд Джордж, узнав о падении царизма в России, потирал руки, говоря: «Одна из английских целей войны достигнута».

Что княгиня Палей одарена живым воображением, — для меня не тайна, и я могу только благодарить ее за это образцовое произведение искусства. Пересматривая некоторые старые письма несколько месяцев тому назад, я пробежал одно из них, написанное лорду Карнокку в декабре 1914 года, когда он был помощником государственного секретаря по иностранным делам; письмо это касается военного положения русского фронта. В нем я говорил о пессимизме, господствующем в некоторых кругах, и приводил в качестве примера рассказ о том, что великий князь Николай Николаевич находится в столь подавленном состоянии, что бóльшую часть времени проводит на коленях перед иконами, заявляя, что бог его оставил. Я прибавлял, что эта история есть чистый вымысел и что она рассказана мне Палеологом, который обедал с графиней Гогенфельзен (так называлась в то время княгиня Палей) в ее дворце в Царском, которая славилась повсюду как обильный источник сплетен. Поэтому я не был удивлен, что она до такой степени извратила мое поведение.

Так как я не имею намерения прикрываться вымышленными инструкциями начальства, то я хотел бы сразу же заявить, что принимаю на себя полную ответственность за отношение Англии к революции. Правительство его величества (английское) всегда действовало по моим советам. Излишне говорить, что я никогда не принимал участия ни в какой революционной пропаганде, и г. Ллойд Джордж принимал слишком близко к сердцу наши национальные интересы для того, чтобы он мог уполномочить меня возбуждать революцию в России в разгар мировой войны. Совершенно верно, что я принимал в посольстве либе-

ральных вождей, названных княгиней Палей, так как моею обязанностью, как посла, было поддерживать связь с вождями всех партий. Кроме того, я симпатизировал их целям и, как я уже упоминал, я советовался с Родзянко по вопросам об этих целях перед своей последней аудиенцией у императора. Они не хотели возбуждать революции в течение войны. Напротив, они выказывали столько терпения и сдержанности, что правительство смотрело на Думу, как на ничтожную величину, и полагало, что оно может с нею совершенно не стесняться. Когда революция пришла, то Дума старалась овладеть ею, дав ей санкцию единственного легально организованного органа в стране. Большинство думских вождей были монархистами. Родзянко до самой последней минуты надеялся спасти императора, составив для его подписи манифест, дарующий конституцию, и Гучков и Милюков поддерживали притязания великого князя Михаила Александровича на престол...

Оставлю на минуту княгиню Палей и вкратце объясню свое поведение во время кризиса. Я заодно с думскими вождями считал, что ходу военных операций нельзя наносить ущерба тяжким внутренним кризисом; и именно в целях предотвращения такой катастрофы я неоднократно предостерегал императора от угрожавшей ему опасности. Кроме того, и независимо от соображений чисто военного характера, я думал, что Россия может найти себе спасение в процессе постепенной эволюции, а не революции.

После того, как революция разрушила все здание императорской власти, не оставив никакой надежды на ее восстановление, после того, как император, покинутый всеми, за исключением нескольких преданных ему лиц, был вынужден отречься, после того, как ни один из его бесчисленных подданных не поднял и пальца в его защиту, — что мог сделать союзный посол, как не поддержать единственное правительство, способное бороться с разрушительными тенденциями Совета и вести войну до конца? Именно Временное Правительство сам император считал единственной надеждой для России, и, воодушевленный чистой и чуждой эгоизма любовью к отечеству, он в последнем приказе по армии призвал войска оказывать ему полное повиновение. И я оказывал этому правительству с самого начала лояльную поддержку; но мое положение было затруднительно, так как общество смотрело на меня с некоторой подозрительностью ввиду моих прежних связей с императорской фамилией. Мое внимание на это обстоятельство обратил Гью Уолпол, глава нашего бюро пропаганды, и просил меня показать теплотой своих выступлений на нескольких публичных митингах, где я должен был говорить, что я всей душой на стороне революции. Я так и делал. Но если я с воодушевлением говорил о вновь добытой Россией свободе, то только допуская поэтическую вольность: это делалось ради того, чтобы подсластить мой дальнейший призыв к поддержанию дисциплины в армии и к борьбе, а не братанью с германцами. Моей единственной мыслью было удержание России в войне...

В следующем номере того же журнала княгиня Палей заявляет следующее

«Английский король, беспокоясь за своего кузена — императора и за его семью, телеграфировал их величествам через посредство Бьюкенена с предложением выехать как можно скорее в Англию, где семья найдет спокойное и безопасное убежище. Он прибавлял далее, что германский император поклялся, что его подводные лодки не будут нападать на судно, на котором будет находиться императорская семья. Что же делает Бьюкенен по получении телеграммы, которая была приказом? Вместо того, чтобы передать ее по назначению, что было его обязанностью, он отправляется советоваться с Милюковым, который советует ему оставить эту телеграмму без последствий. Самая элементарная добросовестность, особенно в «свободной стране», состояла в том, чтобы передать телеграмму по назначению. В своей газете «Последние новости» Милюков признался, что все это верно и что сэр Джордж Бьюкенен сделал это по его просьбе и из уважения к Временному правительству».

Под влиянием чувства личной неприязни княгиня Палей допускает заведомую неправду. Король никогда не поручал мне передать телеграмму императору, предлагающую ему немедленно выехать в Англию. Единственная телеграмма, адресованная его величеством императору после отречения последнего, была послана через генерала Генбери Вильямса, нашего военного представителя в ставке, но в ней не было ни слова о приезде его в Англию. Так как эта телеграмма прибыла в Могилев уже после отъезда императора в Царское, то генерал Генбери Вильямс переслал ее мне с просьбой доставить ее его величеству. Но император был в действительности узником в своем дворце, и я, как и мои коллеги, были отрезаны от всякого сообщения с ним. Поэтому единственной возможностью для меня было просить Милюкова немедленно вручить телеграмму его величеству. Посоветовавшись с князем Львовым, Милюков согласился сделать это. На следующий день (25 марта) он сообщил мне, что, к своему сожалению, он не может исполнить своего обещания. Он сказал, что крайние сильно противятся мысли об отъезде императора из России, и правительство боится, что слова короля могут быть ложно истолкованы во зло и использованы для доказательства необходимости ареста императора. Я возражал, что в те-

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

МАЙ

ного русскими революционными войсками из Ясской тюрьмы.

5—18 — пятница. Пополнение и изменение состава Временного Правительства, согласно постановления Временного Правительства, по совещанию с Исполнительным Комитетом Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Состав второго Временного Правительства: министр-председатель и министр внутренних дел кн. Г. Е. Львов, военный и морской А. Ф. Керенский, юстиции П. Н. Переверзев, иностранных дел М. И. Терещенко, путей сообщения Н. В. Некрасов, почт-телеграфов И. Г. Церетели, народного просвещения А. А. Мануилов, финансов А. И. Шингарев, земледелия В. М. Чернов, труда М. И. Скобелев, продовольствия А. В. Пешехонов, министр торговли А. И. Коновалов, государственного призрения Д. И. Шаховской, обер-прокурор синода В. Н. Львов, государственный контролер И. В. Годнев. — Первое выступление Л. Д. Троцкого в Совете Рабочих Депутатов, закончившего свою речь призывом «помнить три заповеди· 1) недоверие к буржуазии, 2) контроль строжайший над собственными вождями, 3) доверие к собственной революционной силе. Я думаю, — заявил он, — что следующий наш шаг, это будет передача власти всецело в руки Советов Рабочих и Солдатских Депутатов».— Постановление мирового судьи 58 участка о выселении из дворца Кшесинской Петроградского Комитета партии большевиков и Центрального Комитета той же партии и об оставлении без рассмотрения иска в отношении «кандидата прав В. И. Ульянова, литературный псевдоним Н. Ленин» ввиду невручения Ленину повестки

6—19 — суббота. Постановление Украинского войскового съезда в Киеве потребовать от Временного Правительства «провозглашения особым актом национально-территориальной автономии Украйны» о назначении при Временном Правительстве министра по делам Украйны.

7—20 — воскресенье. Съезд офицеров армии и флота в ставке. Речь ген. Алексеева, назвавшего «утопической фразой» программу мира без аннексий и контрибуций.

9—22 — вторник. Приезд по Финляндской ж. д. 257-ми человек эмигрантов· среди них А. В. Луначарский, Н. Рязанов, П. Б. Аксельрод, Л. Мартов, Феликс Кон.

10—23 — среда. Заседание Временного Правительства совместно с представителями промышленности по поводу «непомерных требований, предъявленных рабочими». — Постановление Временного Правительства о созыве особого совещания по выборам в Учредительное Собрание на 25-е мая, в целях ускорения созыва У. С.

12—25 — пятница. Закрытие в Ниж-

леграмме короля нельзя вычитать никакого политического содержания. Вполне естественно желание его величества известить императора, что его мысли с ним, и что постигшие его несчастья ничуть не изменили чувства дружбы и привязанности к нему со стороны короля. Милюков сказал, что он лично вполне с этим согласен, но что так как другие могут понять это иначе, то в настоящее время лучше не передавать телеграммы.

Впоследствии я получил приказание не делать никаких дальнейших шагов по этому вопросу.

Так как помимо княгини Палей и другие указывали на то, что ни я, ни правительство его величества не сделали того, что могли для того, чтобы добиться отъезда императора из России, то я вкратце расскажу, что мы сделали на самом деле.

21 марта, когда его величество еще был в ставке, я спросил Милюкова, правда ли, как это утверждают в прессе, что император был арестован. Он ответил, что это не вполне правильно. Его величество лишен свободы, — превосходный эвфемизм, — и будет доставлен в Царское под эскортом, назначенным генералом Алексеевым. Поэтому я напомнил ему, что император является близким родственником и интимным другом короля, прибавив, что я буду рад получить уверенность в том, что будут приняты всяческие меры для его безопасности. Милюков заверил меня в этом. Он не сочувствует тому, сказал он, чтобы император проследовал в Крым, как первоначально предполагал его величество, и предпочитал бы, чтобы он остался в Царском, пока его дети не оправятся в достаточной степени от кори, для того, чтобы императорская семья могла выбыть в Англию. Затем он спросил, делаем ли мы какие-нибудь приготовления к их приему. Когда я дал отрицательный ответ, то он сказал, что для него было бы крайне желательно, чтобы император выехал из России немедленно. Поэтому он был бы благодарен, если бы правительство его величества предложило ему убежище в Англии, и если бы оно, кроме того, заверило, что императору не будет дозволено выехать из Англии в течение войны. Я немедленно телеграфировал в министерстве иностранных дел, испрашивая необходимых полномочий. 23 марта я уведомил Милюкова, что король и правительство его величества будут счастливы исполнить просьбу Временного Правительства и предложить императору и его семье убежище в Англии, которым, как они надеются, их величества воспользуются на время продолжения войны. В случае, если это предложение будет принято, то русское правительство, прибавил я, конечно, благоволит ассигновать необходимые средства для их содержания. Заверяя меня в том, что императорской семье будет уплачиваться щедрое содержание, Милюков просил не разглашать о том, что Временное Правительство проявило инициативу в этом деле. Затем я выразил надежду, что приготовления к путешествию их величеств в порт Романов будут сделаны без проволочки. Мы полагаемся, сказал я, на то, что Временное Правительство примет необходимые меры к охране императорской семьи, и предупредил его, что если с нею случится какое-нибудь несчастье, то правительство будет дискредитировано в глазах цивилизованного мира. 26 марта Милюков сказал мне, что они еще не сообщали об этом проектируемом путешествии императору, так как необходимо предварительно преодолеть сопротивление Совета, и что их величества ни в каком случае не могут выехать прежде, чем их дети не оправятся.

Я не раз получал заверения в том, что нет никаких оснований беспокоиться за императора, и нам не оставалось ничего более делать. Мы предложили убежище императору, согласно просьбе Временного Правительства, но так как противодействие Совета, которое оно напрасно надеялось преодолеть, становилось все сильнее, то оно не отважилось принять на себя ответственность за отъезд императора и отступило от своей первоначальной позиции. И мы должны были считаться с нашими экстремистами, и для нас было невозможно взять на себя инициативу, не будучи заподозренными в побочных мотивах. Сверх того, нам было бесполезно настаивать на разрешении императору выехать в Англию, когда рабочие угрожали разобрать рельсы впереди его поезда. Мы не могли предпринять никаких мер к его охране по пути в порт Романов. Эта обязанность лежала на Временном Правительстве. Но так как оно не было хозяином в собственном доме, то весь проект в конце концов отпал.

●

нем Новгороде Исполнительным Комитетом С. Р. и С. Д. контрреволюционных газет «Нижегородский Митинг» и «Голос Нижегородца». — Митинги протеста петроградских рабочих против смертного приговора австрийскому социалисту Фридриху Адлеру.

13—26 — суббота. Постановление И. К. Кронштадтского Совета об объявлении Кронштадского Совета Раб. Деп. единственной властью в городе и о вступлении в контакт с Временным Правительством только по общегосударственным вопросам. — Заседание П. С. Р. и С. Д. Отчет министров-социалистов. Речи И. Г. Церетели, М. И. Скобелева, В. М. Чернова. Принята резолюция большинством против голосов с.-д. большевиков и анархистов, подтверждающая полное доверие, как выступавшим в Совете министрам, так и всему коалиционному правительству, в состав которого они входят. Заявление Л. Д. Троцкого о необходимости взять власть в руки Советов и призвать к захвату помещичьих земель, так как «каждая десятина захваченной земли важнее любого проекта социалистического министра».

14—27 — воскресенье. Приказ министра Керенского по армии и флоту с призывом «во имя спасения свободной России идти вперед, куда поведут вожди и правительство». — В ставке решено украинизировать 3 армейских корпуса.

16—29 — вторник. Манифест об амнистии в Финляндии. — Отставка Кронштадтского комиссара Пепеляева. — Прибытие из Англии П. А. Кропоткина.

17—30 — среда. Постановление совещания делегатов фронта по инициативе солдата Белянского о необходимости потребовать от Съезда Советов заключения Николая Романова в Петропавловскую крепость. — Резолюция Н. Ленина по аграрному вопросу на Всер. Съезде крестьянских депутатов.

Печатается с сокращениями по книге В. Максакова и Н. Нелидова «Хроника революции», выпуск 1, 1917 год. Госиздат, М., — Пг., 1923.

РЕДКИЕ КНИГИ ОБ ЭТИХ ДНЯХ:

Иванов-Разумник Р. В. ГОД РЕВОЛЮЦИИ. Статьи 1917 года. Пг., 1918.

Игнатов Е. Н. ВСЕРОССИЙСКИЕ СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В 1917 ГОДУ. Л., 1927.

Коллонтай А. М. В ТЮРЬМЕ КЕРЕНСКОГО. М., 1928.

Эрдэ Д. РЕВОЛЮЦИЯ НА УКРАИНЕ. Харьков, 1927.

Сверчков Д. Ф. КЕРЕНСКИЙ. Л., 1927. ВЛАСТЬ СОВЕТОВ. 1917—1920. Одесса, 1920.

Георгиевский Г. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ КРАСНОЙ ГВАРДИИ. М., 1919

ПИСЬМА

Объявив Год Солженицына и заочную читательскую конференцию по его произведениям, выходящим в нашей стране (см. №№ 1, 2, 1990), редакция продолжила публикацию открытых писем и публичных выступлений писателя (см. № 3, 1990), а также первых откликов на его произведения в мировой печати (см. № 4, 1990). С этого номера редакция предоставляет слово читателям, напоминая, что лучшие читательские микрорецензии будут отмечены книгами А. И. Солженицына.

Предложив читателям поделиться мнениями о книгах А. И. Солженицына, вы совершили очень мужественный шаг, ибо, хотя автор посвятил одну из них тем, «кому не хватило жизни рассказать...», но ведь остались их дети, выросли внуки, и живет, наконец, действует еще система, породившая ГУЛАГ, корежа судьбы уже этих, новых поколений; почта, по сему, предстоит вам тяжелая.

Итак, чем же стал для меня роман «Архипелаг ГУЛАГ»? Прежде всего — встречей...

Оба моих деда были сметены в свое время жестокой косой репрессий. Один — партийный работник (пятнадцатилетним парнишкой ушел из дома в конницу Буденного воевать за власть рабочих и крестьян); другой — священник, нес людям надежду, утешение, что за все страдания, муки воздастся когда-нибудь. Оба честно выполняли свой долг, за что и были взяты.

Увы, я не застала их в живых, хотя, пройдя через все ужасы лагерей, обоим все-таки удалось уцелеть, вернуться к семьям: пользуясь терминологией А. И. Солженицына, они попали в «антипоток» 1939 и 1947 гг. Да, реабилитация была получена... Но будущего моего дядю еще долгое время дразнили «вражонком», не принимали в комсомол; отец, сделав предложение маме, поспешил все же предупредить любимую девушку: «Папа священник. Сидел. Если теперь ты считаешь наш союз возможным...» И вот тогда на молодую пару лег взаимный обет молчания. Расписка «о неразглашении», данная их отцами, легла на плечи детей. Я, внучка, о дедушке Коле и дедушке Васе лишь изредка ловила полуфразы, полунамеки. Когда пыталась расспросить — натыкалась на стену: «Зачем тебе? Они умерли, их нет...» «Их нет!» — и обрывалась связь поколений. «Их нет» — и обрывалась ПАМЯТЬ. А что еще может быть страшнее?..

И вот теперь, словно встав из могилы, они говорят со мной. Да разве только со мной? С миллионами и миллионами людей говорят их погибшие деды, отцы, матери, братья. Говорят, возвращая память. Свидетельствуя, вынося приговор. Именно в этом видится мне главное достоинство книги.

Я считаю, что эта книга — наше общее покаяние, а те часы глубокого, тяжкого молчания, что мы проводим, читая ее, — часы поминовения всех погибших, часы ПАМЯТИ.

Помнится, великий Пушкин так сказал о предназначении поэта, писателя, о его долге:

«Восстань, пророк! И виждь, и внемли!
Исполнись волею моей!
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!»

Несмотря на все трудности, Солженицын выполнил этот долг.

Земной ему поклон!

Н. БАСОВА, КИЕВ.

Сегодняшний читатель с большим интересом знакомится с начавшейся широкой публикацией произведений А. Солженицына, критическими статьями о них, очерками об авторе. Но не следует при этом забывать, что это вторая встреча советского читателя с автором. Люди старшего поколения помнят то ошеломляющее впечатление, которое произвела на них первая публикация повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в ноябрьской книжке журнала «Новый мир» за 1962 год, ответственным редактором которого был в то время А. Т. Твардовский. Это было первое крупномасштабное художественное произведение, приоткрывшее непроницаемую до тех пор завесу над «архипелагом ГУЛАГ». Даже сегодня, когда мы уже многое знаем о масштабах сталинских репрессий, чудовищных пытках и массовых расстрелах в застенках НКВД, ужасах лагерной жизни политзаключенных по многочисленным публикациям документов, воспоминаний и художественных произведений, «Один день Ивана Денисовича» остается одним из наиболее значительных по силе воздействия произведений.

Тогда же, четверть века назад, по стране прошли литературные вечера, диспуты, были опубликованы многочисленные рецензии о повести А. Солженицына. Я в то время жил в Нижнем Тагиле и работал на Уралвагонзаводе: Помню литературный вечер по повести А. Солженицына, проведенный в книжном магазине на Вагонке, на котором присутствовал и выступил местный столяр... Иван Трифонович Твардовский, брат главного редактора «Нового мира». Он рассказывал о злоключениях семьи Твардовских, раскулаченной и высланной из Смоленщины на Урал, историю, которую теперь знают многие читатели по недавно опубликованным воспоминаниям И. Т. Твардовского[1]. Иван Трифонович был очень горд, что именно его брат опубликовал в своем журнале эту первую повесть о ГУЛАГе. Вскоре после этого вечера, в декабре 1962 года, в местной газете «Тагильский рабочий» была опубликована рецензия И. Т. Твардовского[2] «Суровая правда о прошлом» о повести А. Солженицына.

Посылаю эту рецензию, сохранившуюся в моем архиве, в Ваш журнал; думаю, что она представит интерес и для сегодняшнего читателя.

Как мы теперь знаем[3], Александр Трифонович Твардовский тогда же получил из Нижнего Тагила отзыв брата Ивана о повести А. Солженицына и высоко оценил его в своем письме от 15.12.62:

«Дорогой Ваня! Получил твое хорошее письмо, рад, что у тебя все благополучно и что живешь интересами, так сказать, расширенными, много читаешь. Это очень хорошо и, кстати сказать, заметно отражается на том, что называют культурой письменной речи. Так что ты напрасно говоришь, что затрудняешься мне писать, опасаясь будто бы каких-то погрешностей в самом письме, в выражениях, — все у тебя вполне грамотно и ловко.

Мне приятно было прочесть твой отзыв, как, впрочем, и только что полученный отзыв Кости[4], на повесть Солженицына в «Н.М.». Оба вы имеете, так сказать, особые права на суждения об этой замечательной вещи, но дело не в тех правах, а в том, что вы правильно поняли и почувствовали силу этого произведения.

Благодарю тебя за приглашение побывать в Нижнем Тагиле, — конечно буду рад завернуть, когда соберусь снова в большую дорогу... Если ты не подписался на «Н.М.» на 1963 г., то сообщи — устрою. Между прочим, в № 1 там будут новые рассказы А. Солженицына... Будь здоров, обнимаю тебя. Твой А. Т.»

А. ВАЛЮЖЕВИЧ, г. ЦЕЛИНОГРАД

---

[1] Воспоминания И. Т. Твардовского опубликованы в книге «На хуторе Загорье» («Современник», 1983 г.), журнале «Юность» № 3/1988 г., №№ 10, 11/1989 г. — «Страницы пережитого».

[2] В номере газеты «Тагильский рабочий» допущена ошибка в имени автора рецензии — «Л.» вместо «И.» — Твардовский.

[3] Журнал «В мире книг» № 10/1988 г. — «Александр Твардовский. Десять писем к брату».

[4] Костя — Константин Трифонович, — брат А. Т. и И. Т. Твардовских.

О СОЛЖЕНИЦЫНЕ

У читателя одиннадцатый номер «Нового мира за 1962 год. Это новая, только недавно вышедшая из печати книжка. Ей немногим больше полумесяца, а корочки уже потерты. Журнал идет из рук в руки. О нем говорят, спорят, его ищут, спрашивают, читают, часто вслух, даже в трамваях. В ней напечатана повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Автор повествует об одном дне жизни заключенного в особом лагере, о жизни людей, оказавшихся в условиях жестокой несправедливости, которая имела место в период теперь уже развенчанного нашей партией культа личности.

В очень доступной форме автор рукой настоящего художника рисует трагедию человеческих судеб. Он показывает картину, от которой читатель не может оторваться до последней страницы. Здесь глубокая правда, правда суровая, но правда. И это как-то роднит, сближает читателя с героями повести, и радостно, что настало такое время, когда уже нечего бояться, нечего скрывать это прошлое, как бы ни было оно горько. Читатель не может остаться равнодушным и молчаливым, он хочет выразить свою признательность автору за столь щедрый и своевременный подарок.

Велика впечатляющая сила этого произведения, и ты до глубины тронут его суровой правдой. Несмотря на то, что в повести рассказывается об одном дне, всего лишь об одном «обычном» дне лагерной жизни, мы видим, чувствуем, понимаем, что это не один день и не месяц, а долгие, мучительные годы нечеловеческих испытаний, через которые прошли люди, такие же люди, как большинство из нас.

Очень хорошо сказал К. Симонов в статье «О прошлом во имя будущего» («Известия», № 274): «Это такие же люди, как ты, как твои близкие, рабочие, друзья, соседи, сослуживцы». Жизнь этих людей показана от подъема до отбоя. Им, этим людям, нужно выдержать лютый мороз, недоедания, оскорбления, угнетающее сознание своей бесправности и нужно верить и надеяться: «Переживем! Переживем все!».

Лаконично, с поразительной тонкостью и пристрастием автор находит тончайшие психологические штрихи. Он показывает, как постепенно утрачивает человек то, что отличает его от всех прочих живых существ, — чувство достоинства, стыда, долга, власть интеллекта. Находясь в условиях, где властвует звериный закон сильного, он в конце концов перестает думать о сущности своего положения, и ему уже не страшен ни срок, ни жизнь за проволокой, ни одежда с намалеванными на ней номерами — лишь бы быть сытым, лишь бы еще кусок хлеба.

Автор не старается показать лишь особо жуткие моменты жизни заключенных в то тяжелое время. Читатель сам хорошо понимает, что и как чувствует каждый, находящийся в подобных условиях. И тем яснее, тем шире представляется эта картина правды. Читатель чувствует щемящую боль за судьбу героев повести. Автор говорит именно о той правде, о которой сказал Н. С. Хрущев на XXII съезде КПСС: «Пройдет время, мы умрем, все мы смертны, но, пока мы работаем, мы можем и должны много выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Главного героя повести Ивана Денисовича Шухова, этого человека-труженика, человека с золотыми руками, который живым представляется нам и сегодня, мы видим в колонне заключенных измученным, опустившим голову, с заложенными руками назад, с пришитым номером на лагерной одежде. И все же этот Шухов еще может работать и даже любить работу, заботиться о ней, делает ее добросовестно, сознательно. Велики же душевные силы, стойкость простого советского человека!

Годы жестоких репрессий и произвола не могли не сказаться на ходе нашего движения по пути к коммунизму. Болели цингой шуховы и кавторанги, тюрины — «сыновья Гулага» и клавшины, ежились от холода и обиды гопчики. Тысячи, тысячи людей были выключены из активной созидательной жизни общества.

О многом еще не сказано. Но хорошо ответили наши советские писатели на один из вопросов в беседе с итальянскими коммунистами: «...Не так-то просто. Ведь речь идет не о трагедии одного, двух, трех, десяти, ста, ну, даже тысячи человек — речь идет о трагедии всенародной. И если литература наша до сих пор еще по-настоящему не заговорила, то это дело только времени... В искусстве, в литературе, как и в любви, можно лгать лишь до поры — раньше или позже настанет время сказать всю правду».

Будет сказано все и о «Колыме», и о «Тайшете», и о многих других местах, куда уходили люди, чтобы никогда уже не вернуться. Но победа-то осталась за ними.

И. ТВАРДОВСКИЙ, столяр горпромторга
(«Тагильский рабочий»,
декабрь 1962 г.)

МИНИИНТЕРВЬЮ

Что вы читаете? Какими книгами в последнее время пополнилась ваша домашняя библиотека?

В. Н. МИНИН — художественный руководитель Московского камерного хора, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор.

Начну с того, что в этом году выписал ваш журнал, недавно преобразившийся и ставший очень содержательным. С большим интересом читаю в нем документальные, ранее практически недоступные материалы, посвященные, например, таким российским деятелям, как Милюков, Родзянко, Корнилов.

Отрадно, что к нам начинает возвращаться и занимать подобающее ей в общественном сознании место великая русская философия, оказавшая огромное воздействие на современную мировую мысль. Стараюсь читать все, что публикуется сейчас из произведений Бердяева, с которым прежде был знаком довольно поверхностно. Постоянно возвращаюсь к трудам русских историков — Карамзина, Ключевского, Соловьева. Мое искусство зиждится, если можно так сказать, на обобщенном образе русской истории, на понимании глубинной взаимосвязи веков, событий, поколений. Мне нужно не просто хорошо знать, но зримо видеть время. Поэтому чтение книг по истории для меня насущная и профессиональная необходимость.

Что же касается моих привязанностей в области литературы художественной, то они неизменны на протяжении многих лет. Это Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Лев Толстой. Только теперь, освобождаясь от сковывавших мысль идеологизированных штампов, мы начинаем проникаться величием и значительностью такого произведения, как гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями». Всегда читаю их с чувством светлым и радостным. А как изумительно написаны им «Размышления о Божественной литургии» или «О средних веках»! «Дисгармонический» же Достоевский вызывал у меня всегда внутреннюю дрожь. Наверное, это понятно. Ведь мое искусство устремлено к поискам и обретению гармонии.

В последнее время читаю много литературы духовной. На отпуск отложил чтение мятежного протопопа Аввакума. Моя библиотека постоянно пополняется прежде всего специальной музыковедческой литературой, а также теми произведениями русских и зарубежных классиков, которых раньше не имел. Появилась у меня трехтомная «Толковая Библия» — чтение на всю жизнь. Приобретаю и книги современных авторов, среди которых безусловно выделяю Валентина Распутина, Василия Белова, Федора Абрамова. Очень глубокое впечатление произвел на меня и роман Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» — серьезностью авторского отношения к проблеме исторической памяти. С интересом читаю Солженицына.

НАША АФИША

Учитывая, что в нынешних условиях ваш выбор, уважаемые читатели, литературно-художественных периодических изданий может стать весьма ограниченным в связи с новыми ценами, советуем обратить внимание на наш журнал.
В последний год редакция «Слова» вместе с подписчиками, — полемизируя и обсуждая, — искала новый образ и тип литературно-художественного, иллюстрированного «тонкого» журнала, отвечающего высоким духовным потребностям читателей. Однако подобные издания — редкость не только у нас, но и в мировой практике. И все же, нам кажется, мы приближаемся к желаемой модели.
Широкое представительство авторов, книжных новинок, разнообразие и неожиданность литературных произведений, в том числе мало или совсем недоступных, возвращаемых из зарубежья и спецхранов, из-под идеологических пломб — вот наш принцип. Мы не всегда имеем возможность печатать целиком большие произведения. Потому наше правило — представлять авторов и указывать верный адрес в выборе литературных, исторических, философских первоисточников. Это делает наше издание единственным, уникальным, своеобразным литературно-художественным «дайджестом», журналом журналов — путеводителем в современном отечественном и мировом книжном мире. «Слово» может заменить вам многие литературно-художественные издания и все более недоступные по цене книги.

Руководствуясь этим принципом, мы уже познакомили вас с творчеством Леонида Леонова и Альфреда Хичкока, Валентина Пикуля и Дж. Родари, Лиона Фейхтвангера, народных артистов СССР Георгия Жженова и Александра Ведерникова;
— с воспоминаниями Лили Брик, Александры Толстой, Эльзы Триоле, Анны Гумилевой, адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, Б. Спорова, Г. Вагнера;
— с литературным наследием А. Ахматовой, И. Северянина, С. Писахова, В. Хлебникова, Д. Мережковского, Б. Шергина, Л. Мартынова, Н. Рубцова;
— с художниками и скульпторами В. Мухиной, Ю. Ракша, В. Клыковым;
— с представителями «Русского зарубежья» А. Солженицыным, Б. Филипповым, А. Авторхановым, З. Шаховской, И. Шмелевым, Б. Зайцевым, А. Ремизовым, В. Набоковым, М. Алдановым, Е. Замятиным;
— с жизнью, мыслями и деяниями протопопа Аввакума, П. Флоренского, Н. Бердяева, В. Вернадского, Н. Лосского, патриарха Тихона, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), епископа И. Брянчанинова;
— с отрывками из воспоминаний Антуана де Сент-Экзюпери, У. Черчилля, Р. Гелена, с эссе А. Мальро о Шарле де Голле, с работами М. Джиласа и К. Чапека, с очерками и рассказами К. Гамсуна;
— с фрагментами из книг М. Родзянко, А. Шляпникова, П. Милюкова, С. Мстиславского, А. Деникина, М. Палеолога, Г. Зиновьева, Л. Троцкого, А. Гучкова, В. Воейкова, П. Жильяра;
— с искусством Рафаэля, Рокуэлла Кента, Андрея Рублева.

В ОСТАВШИХСЯ ДО КОНЦА ГОДА НОМЕРАХ читатели познакомятся:
— с главами из воспоминаний Айседоры Дункан и «Параллельной истории СССР» Луи Арагона;
— с продолжениями романа А. Дюма (отца) «Последний платеж», повести Д. Жукова «Встречи с ясновидцами», исторического произведения Д. Мордовцева «Великий раскол»;
— с окончаниями воспоминаний фрейлины ее величества Анны Вырубовой и личного секретаря Григория Распутина Арона Симановича.

«СЛОВО»-91 ПРЕДСТАВЛЯЕТ

постоянных авторов,

которые выразили согласие и впредь сотрудничать с редакцией:

писателей-современников

— Виктора Астафьева, Леонида Бежина, Василия Белова, Виктора Бокова, Юрия Бондарева, Леонида Бородина, Владимира Бушина, Ивана Васильева, Бронтоя Бедюрова, Михаила Воздвиженского, Сергея Воронина, Михаила Вострышева, Юрия Галкина, Глеба Горбовского, Павла Горелова, Глеба Горышина, Владимира Гусева, Николая Дорошенко, Бориса Екимова, Анатолия Жукова, Дмитрия Жукова, Станислава Золотцева, Владимира Крупина, Юрия Кузнецова, Валентина Курбатова, Виктора Лихоносова, Юрия Лощица, Вячеслава Марченко, Олега Михайлова, Михаила Юхму, Гария Немченко, Бориса Олейника, Петра Паламарчука, Михаила Петрова, Сергея Плеханова, Виктора Плотникова, Юрия Прокушева, Валентина Распутина, Всеволода Сахарова, Сергея Семанова, Михаила Синельникова, Эдуарда Скобелева, Валентина Сорокина, Бориса Спорова, Николая Старшинова, Анатолия Ткаченко, Ивана Уханова, Леонида Фролова, Евгения Чернова;

писателей Русского зарубежья

— Зинаиду Шаховскую, Александра Солженицына, Владимира Максимова, Абдурахмана Авторханова, Андрея Тарасьева, Валентину Синкевич, Александра Зиновьева, Алексея Киселева, Михаила Соловьева,

ученых

— академиков Б. Рыбакова, Н. Толстого, Е. Челышева, членов-корреспондентов АН СССР О. Трубачева, И. Шафаревича, члена-корреспондента АН БССР Н. Гойко, известного пушкиноведа Героя Социалистического Труда С. Гейченко, докторов наук Г. Вагнера, Н. Дмитриеву, Н. Скатова, А. Швиденко;

деятелей культуры

— Ирину Архипову, Веру Брюсову, Валерия Гаврилина, Анатолия Заболоцкого, Вячеслава Клыкова, Бориса Кочкина, Владимира Минина, Валерия Сергеева, Сергея Сюхина, Сергея Харламова, Виктора Харлова, Савелия Ямщикова,

— **ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ,**
которые вызвали наибольший интерес читателей: «Духовники», «Русская мысль», «Исповедь», «История», «Народные мемуары», «Планета», «Жития святых», «Вечные спутники», «Таинства магии», «Истоки».

«СЛОВО»-91 ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ

— «Террор и гражданская война» (продолжение рубрики «От Февраля до Октября») — свидетельства очевидцев и участников (вождей красного и белого движений) по материалам редчайших изданий 20-х годов, таких как «Архив русской революции» Гессена (Берлин), «Архив Гражданской войны» (Берлин), «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев» (сост. С. А. Алексеев, М.-Л., Госиздат). Журнал предоставит свои страницы Центральному государственному архиву Октябрьской

революции, который откроет постоянный раздел — не публиковавшиеся в нашей стране материалы зарубежных архивов русской эмиграции;

— «Народная жизнь» — своеобразный «Домострой XX века», сведения, как строить, как созидать свой дом, свою семью, свою жизнь, основываясь на вековых традициях, на философских и нравственных идеалах народа, причем часть публикаций составят материалы из готовящейся «Русской энциклопедии»;

— «Популярные издательские серии», где читатель познакомится с наиболее интересными актуальными книгами, готовящимися к печати.

«СЛОВО»-91 ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ

рубрику «Русское зарубежье» — посредством прямых контактов с рядом эмигрантских журналов и издательств.

«СЛОВО»-91 ВЕДЕТ ПОИСК

— доступной для всех, популярной публикации, которая продолжила бы тему, начатую «Жизнью Иисуса» Э. Ренана — в непременном сопровождении на цветной вкладке редких икон;

— исторического романа, долгое время недоступного советскому читателю, который можно было бы печатать из номер в номер целый год.

Ждем ваших предложений.

«СЛОВО»-91 ТРАДИЦИОННО ПОСВЯЩАЕТ

№ 6 — Александру Сергеевичу Пушкину,
№ 9 — Льву Николаевичу Толстому,
№ 12 — Федору Михайловичу Достоевскому.
А в № 5 отметит 100-летие Михаила Булгакова публикацией оригинальных материалов о жизни и творчестве писателя.

В «СЛОВЕ»-91 БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ

— заинтересованный разговор о Слове, о живой речи, о языке литературном и языке нашего общения;

— вернисажи художников и фотомастеров, книжных графиков и иллюстраторов, которым в каждом номере отводится цветная вкладка;

— викторины, игры, конкурсы, связанные с выдающимися книгами, известными писателями, их творчеством и судьбой. По традиции победителей ждут призы.

Таковы лишь некоторые аспекты нашей программы на 1991 год. Большинство из них основано на предложениях подписчиков. Информацию о книгах, рекламу изданий, характеристику литературного процесса, сведения о новинках, библиографию, тематические подборки — все это читатель также найдет на страницах «Слова».

Судя по редакционной почте, среди многих других категорий читателей, журнал «Слово» вызывает интерес у школьных учителей и преподавателей вузов, у библиотечных работников и книголюбов, которые, мы надеемся, станут нашими постоянными пропагандистами и помогут еще шире раздвинуть круг наших подписчиков. Напоминаем, что отсутствие журнала в розничной продаже, вызванное общей нехваткой бумаги, позволяет редакции рассчитывать лишь на рекламу да на энтузиастов, наших доброжелателей, которые не забудут напомнить о журнале «Слово» своим знакомым, друзьям, коллегам по работе и т. д.

Особенно важна эта поддержка сегодня, когда многие издания могут перестать существовать в привычно-традиционной форме. Подобных трудностей можем не избежать и мы, учитывая, что на журнал «Слово» также устанавливается новая, более высокая, цена. Сохранить старую возможно только при принципиальном изменении полиграфических компонентов — изъятие цветной вкладки, замена бумаги на газетную и т. д., что совершенно меняет издание. Считаете ли вы, уважаемые читатели, что это нужно сделать?

В старом каталоге «Союзпечати» в разделе центральных журналов ищите нас под прежним названием «В мире книг», индекс 70110.

Не откладывайте свой выбор до конца подписной кампании.

Сегодня мы публикуем Абонемент на первую книгу нашей репринтной библиотечки-приложения.
В ближайшем номере планируем поместить Абонемент на «Воспоминания» фрейлины ее величества Анны Вырубовой.
В 1991-м серия «Библиотечка журнала «Слово» будет продолжена ([illegible] книг в год).



Уважаемые подписчики!

Для того чтобы стать обладателем этой книги, надо вырезать Абонемент, заполнить его, вложить в обычный почтовый конверт и отправить по адресу: 117168, Москва, ул. Кржижановского, 14, магазин № 93 «Книга — почтой».

Книга будет выпущена в октябре-ноябре с. г.; Абонемент высылать в магазин не позднее 1 ноября 1990 г.

Деньги ПОСЫЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ. Стоимость книги (ориентировочная цена экз. 3 руб. 50 коп.) и тариф за ее пересылку оплачиваются в почтовом отделении по месту вашего жительства при получении бандероли.

Литературно-художественный
журнал Госкомпечати
СССР и РСФСР
Издается с сентября 1936 года
№ 7. 1990



Сдано в набор 24.04.90.
Подписано в печать 05.06.90.
А01350. Формат $84\times108^1/_{16}$.
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная.
Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 14,50+1,27.
Тираж 237 889.
Заказ 1102.
Цена 90 коп.
Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98
Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Калининский полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.
Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи.

В НОМЕРЕ:



На граничных утесах лес островерхих елей. Над ними золотится крестик скита Всех Святых. Вот и вольная Ладога играет. Пролив — за нами. Виден весь Валаам, весь в солнце, зубья его утесов. Где-то на высоте, за соснами — деревянная церковка-игрушка: дальний скит Александра Свирского. Снежно сияет светило Валаама — великолепный собор с великой свечою-колокольней. Дремлет. Лазоревые его главы начинают вливаться в небо, лазоревое тоже. Белеют стены в зеленой кайме лесов. Снежная колокольня долго горит свечой — блистающим золотом креста. Мерцает. Гаснет.

Иван Шмелев. «Старый Валаам» (главы из повести, стр. 2)

Фото
ПАВЛА КРИВЦОВА